Илья Салов

УМЧАВШИЕСЯ ГОДЫ



Илья САЛОВ

УМЧАВШИЕСЯ ГОДЫ



И. Салов

Илья САЛОВ

УМЧАВШИЕСЯ ГОДЫ

РАССКАЗЫ
ПОВЕСТЬ
ВОСПОМИНАНИЯ



Саратов
Приволжское книжное издательство
1990

ББК 84Р1
С16

Составление и комментарии *Т. Н. Танаковой*,
вступительная статья
В. В. Танакова и *Т. Н. Танаковой*.

Салов И. А.

С16 Умчавшиеся годы: Рассказы. Повесть. Воспоминания.— Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1990.— 368 с.
ISBN 5—7633—0223—0

Жизнь и творчество талантливого русского писателя-реалиста Ильи Александровича Салова неразрывно связаны с Поволжьем. Современники высоко ценили его творчество за демократизм, за превосходное знание провинциального быта, за великолепное художественное мастерство.

В книгу вошли три крупных произведения И. А. Салова, связанных с саратовским краем. Впервые в советское время публикуются воспоминания писателя.

С $\frac{4702010101—63}{153(01)—90}$ 32—90 ББК 84Р1

ISBN 5—7633—0223—0

«Ходатай мужицких интересов»

Правда, и только она одна поражает человека — и достижения этой-то правды должен добиваться каждый художник.

И. А. Салов

«Один из самых талантливых беллетристов нашего времени»[1] — так характеризовал И. А. Салова видный демократический критик и историк литературы А. М. Скабичевский. Крупнейший русский ученый, литературовед и критик А. Н. Пыпин ставил И. А. Салова в один ряд с Г. И. Успенским, Ф. М. Решетниковым и даже Л. Н. Толстым, отмечая, что «некоторые из его деревенских героев могут считаться в ряду лучших народных типов, какие есть в нашей литературе...»[2]. Талант И. А. Салова отмечали И. С. Тургенев и Д. В. Григорович. Критики видели в нем последователя И. С. Тургенева, сравнивали с Ф. М. Достоевским, а А. П. Чехов в шутливой «литературной табели о рангах» (1886) ставил Салова вслед за любимым своим В. Г. Короленко, за Г. П. Данилевским и Н. Г. Гариным-Михайловским. М. Е. Салтыков-Щедрин постоянно приглашал И. А. Салова публиковаться в «Отечественных записках», а когда журнал был закрыт, настоятельно рекомендовал редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу привлечь писателя к сотрудничеству: «По крайней мере, я в своей практике всегда приглашал и по временам напоминал»[3].

Для читателей и критиков прошлого века творчество Салова было прочно связано с острыми и болезненными проблемами пореформенной России, порожденными капитализацией страны, когда «патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску», когда «старые устои крестьянского хо-

---

[1] Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы. 1848—1892 гг. Спб., 1897, с. 326.

[2] Пыпин А. Н. И. А. Салов. Суета мирская: Очерки и рассказы.— Вестник Европы, 1894, № 8, с. 882.

[3] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т. М., 1977, т. 20, с. 119.

зяйства и крестьянской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой»[1].

И. А. Салов вошел в сознание современников как знаток деревни и провинциального быта, обличитель буржуазного хищничества, защитник крестьянской бедноты — «ходатай мужицких интересов», по удачному выражению одного из тогдашних критиков,— как великолепный живописец и певец русской природы.

Сегодняшний читатель по достоинству оценит в художнике тонкий дар наблюдательности, высокую языковую культуру, колоритность портретов и речевых характеристик, пафос гуманизма и народности, патриотизм, духовное здоровье и цельность.

Однако, несмотря на несомненную талантливость, несмотря на остроту и злободневность затрагивавшихся в его произведениях вопросов, И. А. Салов не стал достаточно крупной фигурой в русской литературе второй половины XIX века, и имя его, в отличие от упомянутых писателей и многих других его современников (Н. С. Лескова, А. Ф. Писемского, П. И. Мельникова-Печерского, В. М. Гаршина, Н. Г. Помяловского, В. А. Слепцова и других), практически неизвестно современному читателю.

В литературной судьбе Салова прежде всего сказался, видимо, сам характер его дарования: внешняя беспристрастность повествования, ослабленность аналитического элемента, отсутствие открыто пропагандистского, публицистического начала снижали значимость творчества писателя в эпоху острых идейных битв 60-х — начала 80-х годов, в эпоху страстных социальных и нравственных исканий передовой русской интеллигенции, подъема крестьянских волнений, самоотверженной практической деятельности революционно настроенной молодежи по подготовке близких, как казалось многим, коренных общественных перемен.

Глубоко знавший народную жизнь, сильные и слабые стороны русского крестьянства, Салов не разделил иллюзии, ошибки и разочарования революционных народников. Но его художественные произведения, вскрывавшие больные язвы пореформенной российской действительности: обнищание крестьянства, резкое социальное расслоение в деревне и бурное развитие «сельской буржуазии» — кулачества и купцов-мироедов, разложение крестьянской общины, распад нравов, выявляя демократические, близкие к народным идеалы автора, не несли, однако, в себе четкой положительной программы и звучали несколько приглушенно по сравнению с резкими выступлениями Салтыкова-Щедрина, со страстными, пусть

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 210.

и не всегда художественно равноценными, произведениями писателей-народников. Салов остался по преимуществу художником в годы, когда крупнейшие писатели России — Толстой и Достоевский обратились к публицистике, чтобы словом своим прямо, непосредственно воздействовать на общество.

В характере литературной деятельности Салова, безусловно, сказались также особенности его личной биографии, знакомство с которой важно и потому, что вся она, прямо или косвенно, отразилась в творчестве писателя.

I

Илья Александрович Салов родился 6 (18) апреля 1834 года в Пензе, в родовитой, но небогатой дворянской семье. «Имение в смысле доходности отличалось,— вспоминал он,— так как состояло из песчаного грунта, дававшего плохие урожаи» [1].

Когда мальчику было шесть лет, умер его отец, и они с маленьким братом остались с матерью, молодой, очень мягкой и доброй женщиной. Детство будущего писателя прошло в родовом поместье Никольском, живописные окрестности которого развили в мальчике тонкое чувство прекрасного, глубокую любовь к природе и великолепное знание ее, воспитали в нем сохранившуюся на всю жизнь тягу ко всему здоровому, естественному, жизнеспособному, во многом определив характер его будущего творчества.

После смерти отца опекуном маленького Илюши стал А. А. Тучков, будущий тесть поэта-революционера Н. П. Огарева, с которым Салов ребенком и подростком часто встречался в доме своего опекуна. Нередко заезжали Саловы и к самим Огаревым, своим соседям по имению. Позднее писатель отмечал, что хотя по возрасту он еще «не мог достаточно оценить Огарева как поэта, но все-таки почему-то чувствовал к нему симпатию, несмотря на то, что отзывы о нем были крайне для него неблагоприятные...».

Мальчик рос на воле, рядом с крестьянскими детьми, в обстановке гуманных, патриархальных отношений в семье и поместье, не стесненный усиленным воспитанием и опекой. «Нас не держали в хлопках (т. е. вате. — *Авт.*), — писал позднее он, — и выросли мы не тепличными растениями, а... такими же неизнеженными, ка-

---

[1] Здесь и далее воспоминания И. А. Салова цитируются по следующим публикациям: Салов И. А. Умчавшиеся годы. (Из моих воспоминаний).— Русская мысль, 1897. № 7-10; Салов И. А. Из воспоминаний.— Исторический вестник, 1906, № 10-11.

кими растут крестьянские дети. Помню, что зимой нас одевали в заячьи шубки, крытые зеленым атласом, на ноги надевали валенки, а на голову ваточные шапки... В таких-то неприхотливых костюмах мы в трескучие морозы лазали по снежным сугробам, катались с ледяных гор и даже не чувствовали холода», разделяя «житье-бытье дворовых мальчишек, с которыми у нас существовала великая дружба».

Через много лет, уже старым, писатель точно, до мельчайших деталей воссоздал в воспоминаниях обстановку своего детства. Детские впечатления глубоко запали в его душу и отразились во всем его творчестве. Проникновенные и великолепные пейзажи, увлекательные картины охоты и рыбной ловли, покоряющие глубоким знанием природы, реалистические типы крестьян и дворовых, колоритные образы представителей духовенства и помещиков — истоки всего этого лежали в детских впечатлениях и наблюдениях будущего писателя. Салов признавался: «Описывая какую-нибудь местность, я непременно мысленно переносился в село Никольское, вспоминал тамошние ландшафты, которые и переносил на бумагу».

Мирная жизнь в патриархальной семье, «во глубине России», в окружении прекрасной природы, в непосредственной близости к народу способствовала формированию у Салова основ мировоззрения и идеалов простого, трудового, доброго, здорового жизнеустройства, которые он сохранил навсегда и воплотил в своем творчестве, остро воспринимая всякое проявление социального зла, безошибочно улавливая любое отклонение от нравственной и эстетической нормы.

Безмятежное детство с играми, шалостями, учением грамоте у сельского священника, ужением рыбы и ловлей певчих птиц с добродушным учителем-немцем продолжалось до десяти лет, пока мать не объявила: «Ну, голубчик, будет тебе щеглов-то ловить. Поедем-ка в Пензу, я тебя определю в гимназию».

Пензенская гимназия, куда поступил Салов, была весьма демократическим учебным заведением, в отличие от Дворянского института, где учились дети дворян и который выглядел «как бы дворцом» по сравнению с «деревянным одноэтажным домиком гимназии... Мы с завистью смотрели и на здание института, и на воспитанников его»,— вспоминал Салов. То, что представлялось обидным мальчику, на самом деле было удачей: воспитанные в детстве демократические начала закреплялись, а интерес к поэзии, к литературе развивался на уроках молодого учителя словесности, знакомившего учеников, помимо программы, с лучшими произведениями русских писателей, старых и современных, с творчеством М. Н. Загоскина, Н. В. Гоголя, еще только начинавшего печа-

таться И. С. Тургенева. «Он первый, — писал Салов, — внушил нам любовь к русской литературе и научил отличать хорошее от дурного». Мальчик читал запоем.

В эти же годы сердце будущего писателя и драматурга покорил театр. Илья проводил там целые дни во время каникул, и однажды, в классе втором или третьем, даже «дебютировал» в роли... русалки, «плавая» по парусинной «реке».

Однако беззаботное отрочество было недолгим. Саловых постигла участь, уготованная в те годы многим дворянам средней руки: развал прогнившего крепостнического уклада России ускорялся развитием буржуазных отношений, «дворянские гнезда» оскудевали. Беднела и семья Саловых; после женитьбы брата, переехавшего с частью усадьбы в «дальнее поле», дом, где они жили, «сделался каким-то кургузым, а двор принял вид каких-то жалких развалин. ...Имение... на треть уменьшилось, а беспокойство матери увеличилось». В дом часто наведывался «квартальный, привешанный к шпаге», с угрозами аукциона. Вскоре пришлось продать лес, и вот «явился какой-то толстобрюхий купец в засаленной поддевке, которого мать и пригласила в кабинет... когда разговор их был покончен и мать вышла из кабинета в сопровождении купца, то глаза ее были заплаканы, а лицо последнего, красное как сафьян, сияло довольною улыбкой». Так произошла первая встреча Салова с одним из прототипов его многочисленных будущих персонажей.

Жизнь постепенно открывалась уже не празднично-безмятежной, а горькой своей стороной.

Воспоминание писателя о том, каким потрясением была для него вырубка любимого леса, удивительно напоминает эпизод из некрасовской «Саши», где пробуждение самосознания героини тоже как бы подталкивается, стимулируется картиной разрушенной природной гармонии — вырубленного леса.

Горькие жизненные впечатления послужили толчком к пробуждению самосознания подростка, а любовь к литературе, помноженная на тонкую наблюдательность, стала импульсом к самостоятельному творчеству. В четырнадцать лет Салов пишет первые свои произведения — повесть «Дядюшка и племянник» (не сохранившуюся) и рассказ «Забытая усадьба».

Рассказ этот весьма примечателен во всех отношениях: и мировоззренческом, и художественном. Особенности таланта и пафос творчества будущего писателя вполне сказались в нем. Позднее во многих произведениях писатель будет разрабатывать темы и мотивы, которые впервые прозвучали в «Забытой усадьбе»: с одной стороны, умиротворяющая красота природы, разрушение

«дворянских гнезд», грустная романтика уходящих в прошлое «темных аллей», а с другой — развращающее влияние крепостничества.

В первом рассказе Салова проявились многие сильные стороны его дарования: наблюдательность, реализм, прекрасное знание материала, тонкое чувство природы, умение показать явление объективно, выразить гуманистическую идею не просто декларацией, а средствами художественной пластики. Более того, этот рассказ, пожалуй, даже меньше страдает описательностью, чем некоторые более поздние произведения Салова; здесь не только изображается явление, но и художественно раскрываются его истоки.

Через восемь лет рассказ этот, после незначительной авторской доработки, был опубликован в «Русском вестнике».

Первое произведение Салова убедительно свидетельствовало о несомненном, рано проснувшемся литературном даровании будущего писателя. Только разбросанностью его жизнелюбивой натуры и еще отдаленностью от центров идейной и художественной жизни (это не раз скажется в творческой судьбе писателя) можно объяснить, что после первых удачнейших опытов он не стал писать постоянно, а обратился вновь к литературной деятельности лишь через шесть лет, и то на поприще драматического переводчика.

В августе 1850 года Саловых «постигло страшное горе, послужившее началом... полнейшего разорения»: пожар уничтожил село Никольское и все гумна с хлебом. «Черный, как сажа, дым застилал всю окрестность,— вспоминал писатель.— ...Никаких пожарных инструментов, конечно, не было. ...Сердце мое облилось кровью: все крестьянские гумна, плотно заставленные одоньями хлеба, словно слились с горевшим селом».

Эта страшная картина пожара навеяла, вероятно, горькие рассуждения в повести «Николай Суетной»: «Прежде бы, ваше степенство, колотили, чтобы у всякого струмент нужный был, да и себя-то самого за то, что нет у вас ни трубы, ни багров... а теперь уж колотить поздно!»

Со сгоревшим хлебом исчезла последняя возможность заплатить проценты в опекунский совет, где было заложено имение Саловых, и «наше родное село Никольское,— рассказывал писатель,— в ту же зиму (по другим сведениям, через два года.— *Авт.*) было продано с аукционного торга, и мы остались, как говорится, «крыты небом и обнесены светом».

Не было средств даже на то, чтобы выехать в Пензу, снимать жилье и платить за учебу. Юноше пришлось бросить гимназию, и семья, после безуспешных попыток матери найти денег в долг у состоятельных родственников, переехала в Москву, сняв

«крошечную квартирку... из трех маленьких комнат, считая в том числе и переднюю».

В Москве Салов определился на службу с мизерным пятирублевым жалованьем в канцелярию генерал-губернатора. Но чиновничья карьера не прельщала будущего писателя. На его счастье, среди молодых сослуживцев оказались завзятые, как и он, театралы, и к тому же литераторы-дилетанты, переводившие на русский язык модные французские мелодрамы и водевили.

Салов попробовал свои силы в драматургии: написал драматическое представление в стихах «Битва под Ахалцихом» (о сражении русской армии с турецкими войсками у крепости Ахалцих. Тема пьесы была навеяна начавшейся в 1853 году Восточной войной) и драму в четырех действиях «Каритан». Обе пьесы, довольно слабые, были напечатаны в 1854 году и вызвали столь низкую оценку в «Современнике», что, по словам биографа Салова, известного в конце XIX — начале XX века критика и журналиста П. В. Быкова, автор «затем стал всячески открещиваться от этих неудачных детищ своих»[1]. Зато переведенные совместно с сослуживцем В. И. Родиславским (уже имевшим и некоторый опыт, и связи) французские мелодрамы «Нищая» и «Слепой» были поставлены в Москве, на Императорской сцене, и не только имели успех, но и принесли переводчикам неплохое денежное вознаграждение.

Как ни малоудовлетворительна была эта драматургическая деятельность, в ней все же частично осуществилась тяга к литературному творчеству, которую теперь уже ясно осознавал в себе Салов. Переводческая работа ввела его в круг драматических писателей, в том числе А. Н. Островского, встречи с которым, хотя и краткие, помогли молодому писателю утвердиться в мнении о несоответствии тогдашнего театрального репертуара, заполненного переводными пьесами, потребностям русского общества. И. А. Салов восхищался игрой М. С. Щепкина, С. В. Шумского, И. В. Самарина, П. М. Садовского — могучих талантов из народа. Позднее, рассказывая о постановке своей пьесы «Лесной богатырь», он как особое достоинство подчеркивал умение режиссера реалистически, правдиво показывать народ на сцене — так, чтобы «народ... действительно вышел народом, а не манекенами в зипунах и лаптях».

«Однако заниматься переводами французских мелодрам мне скоро надоело...», — вспоминал писатель. Трудно сказать, насколько

[1] Быков П. В. И. А. Салов: Биографический очерк. — В кн.: Салов И. А. Полн. собр. соч. Спб., 1909, т. 1, с. 9.

сознавал он тогда подлинную причину своей неудовлетворенности, но вызвана она была, конечно, прежде всего совершенным несоответствием переводческой деятельности его таланту реалиста и бытописателя, уже тогда хорошо знавшего многие стороны российской действительности.

А такие писатели очень нужны были в тот момент русскому обществу. Завершались 50-е годы. Народ пережил трагическое поражение в Крымской войне, обнаружившее «гнилость и бессилие крепостной России» [1], острую необходимость немедленных и коренных социальных перемен.

Ожиданием этих перемен были затронуты все слои общества. Росло самосознание народа, усиливались крестьянские волнения. Демократическая передовая интеллигенция жила «накануне», в надежде на близкую народную революцию и готова была возглавить ее.

Либералы боролись с откровенными крепостниками, требуя отмены крепостного права (но с сохранением помещичьего землевладения) и введения буржуазных свобод (свободы общественного мнения, печати, публичности действий правительства, создания представительных учреждений, гласности судопроизводства и др.). В столицах и провинции бурно обсуждались пути и перспективы дальнейшего развития России. Острую полемику по этим вопросам вели западники и славянофилы: первые видели для нее образец в буржуазной демократии капиталистических стран Европы, а вторые считали залогом самобытного, небуржуазного развития страны крестьянскую общину — основу и прообраз, по их мнению, будущей России.

Крестьянский вопрос был вопросом эпохи, и знание народа было первым условием для писателя. Жизненный и творческий опыт Салова, а еще больше сам характер, направленность его дарования соответствовали этому требованию. Но в обстановке острой идейной борьбы он чувствовал себя одиноким. Его либерально-демократическое умонастроение еще не сформировалось в четкие убеждения, которые позволили бы ему примкнуть к какому-либо лагерю или группе (позднее писатель вспоминал, что, например, в «Москвитянин» ему не удалось попасть, так как «журнал был чисто славянофильский»). Чувство одиночества усиливалось и отсутствием в то время в Москве начинающих писателей-сверстников. «...Потому... я и не мог завязать в литературной среде дружеских связей... — писал Салов, — иной раз и хотелось бы по душе поговорить с кем-нибудь, посоветоваться, помечтать да-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 173.

же, а кругом меня все были старики, которые на меня смотрели как на мальчишку».

В 1856 году в Москве появился новый журнал либерального направления «Русский вестник». Возглавил его М. Н. Катков, публицист, бывший участник кружка Станкевича (наряду с Белинским, Бакуниным, Боткиным и другими), пока еще либерал, англоман. До 60-х годов, когда он переродился в консерватора и реакционера, оставалось еще несколько лет.

Первоначальные позиции нового журнала привлекли туда лучших писателей: М. Е. Салтыков-Щедрин своими «Губернскими очерками» (1856—1857) положил начало обличительной литературе, И. С. Тургенев опубликовал в «Русском вестнике» «Накануне», «Отцов и детей» (позднее — «Дым»), Л. Н. Толстой в 50-е годы отдал туда «Семейное счастье», «Казаков», «Поликушку»; участвовали в журнале А. Н. Островский, А. К. Толстой, Д. В. Григорович, И. И. Лажечников, А. Н. Плещеев, А. А. Фет, Н. Ф. Щербина, А. Н. Майков, Я. П. Полонский и другие.

Конечно, начинающий писатель мог только мечтать о том, чтобы его имя появилось на страницах этого журнала. Много раз отправлялся Салов в переулок, где располагался «Русский вестник», с твердым намерением передать в редакцию свои рассказы. «Но стоило только подойти к дому...— вспоминал он,— как вся моя храбрость пропадала... Несколько раз я даже всходил на крыльцо, брался за звонок, но рука моя не поднималась, и я снова уходили ни с чем». Наконец на робкого писателя наткнулся секретарь редакции.

Через два месяца, в январе 1858 года, в журнале появился рассказ Салова «Пушиловский регент», а в мартовском номере — уже знакомая нам «Забытая усадьба».

В воспоминаниях писатель указывал, что «Пушиловский регент» был создан еще до переезда в Москву. Однако это настолько зрелое и характерное для него произведение, что трудно поверить, будто автором был семнадцати-восемнадцатилетний юноша. В рассказе заметно основательное знание жизни различных социальных кругов, зрелость чувств и мыслей. Этому, несомненно, способствовало участие Салова в X народной переписи с осени 1856-го по весну 1857 года, когда ему довелось детально ознакомиться с материальной стороной народной жизни, с настроениями крестьян, подолгу общаться с волостным чиновничеством и сельским духовенством.

Передать содержание «Пушиловского регента» трудно, как вообще трудно пересказывать истинно поэтическое произведение. Здесь есть значительный элемент социальной критики, который на

аналогичном материале будет потом развит в «Мертвом теле» (полная зависимость беднейшего духовенства от церковных иерархов и их чиновников, продажность «духовных отцов», социальное неравенство), но главное здесь — тонкий психологизм, прекрасно разработанные и реалистически выписанные характеры, проникновенные пейзажи России.

Первые публикации молодого писателя, доброжелательно встреченные, вдохновили его на продолжение литературных трудов, и вскоре рассказы Салова печатаются в «Современнике» («Лесник», 1858), «Отечественных записках» (Мертвое тело», 1859), в газетах «Московский вестник» («Барин») и «Современность» («Трактир»).

В этих произведениях проявились те качества художника, которые и тогда, и позднее позволяли критикам (впрочем, справедливо только отчасти) относить его к «школе беллетристов сороковых годов»: прекрасное знание жизненного материала и вкус к обрисовке деталей, тонкая наблюдательность при некотором внешнем объективизме, мастерство пейзажа, напоминавшее читателям и критикам тургеневские «Записки охотника».

Но на этом сходство и кончалось, потому что Салов (как и Тургенев) прежде всего не просто наблюдатель, а художник; душа человека, его судьба, динамика сюжета и движущие его силы интересуют писателя больше, чем собственно детали быта и характерные типажи.

В новых рассказах Салова усиливается демократическое идейное звучание и социальная заостренность коллизий и характеристик. Первый же эпизод рассказа «Мертвое тело» (встреча мужичка со становым) вводит нас в мир уже привычного неблагополучия, где человеческое унижение, страдание и даже гибель воспринимаются не как трагедия, а как естественное положение вещей. Трогательная история любви бывшего бурсака Калистова и дочери бедного священника Лизы, закончившаяся трагической смертью героя и душевной драмой героини, зримо показала читателю хрупкость счастья бедного человека в мире социальной несправедливости. Достаточно легкого недовольства влиятельного чиновника — «благомыслящего человека», которого автор рисует с нескрываемым сарказмом,— чтобы разрушились все надежды героев и непоправимо сломались их судьбы.

Трагический сюжет заключен Саловым, как это будет характерно для многих его рассказов, в рамку мастерских пейзажных зарисовок. Критики по-разному оценивали этот прием художника. А. М. Скабичевский считал его недостатком писательской манеры Салова: «Там где-нибудь за горою человека душат, и он бьется в предсмертных судорогах, а автор ведет читателя на рыбную лов-

лю и показывает, как кротко луна смотрится в тихое, зеркальное озеро, как купаются в нем плакучие вербы, застывшие в безмолвном сне, как радостно сверкает разведенный костер... Салов в этом отношении в своем роде жестокий талант»[1].

Иначе трактовал эту особенность писателя критик К. П. Медведский: Салов «много места уделяет описаниям природы, которую... знает превосходно. ...Вы все время чувствуете себя на вольном воздухе, на просторе». Это помогает «глубже понимать смысл наблюдаемых явлений...». «Свободная река, свободный лес, ясное небо, неоглядные поля — все это стоит на страже человеческого духа и помогает в известную минуту»[2].

Думается, что критик «Исторического вестника» ближе к истине, чем Скабичевский.

В произведениях Салова нередко отмечали недостаток философичности, отсутствие четких выводов. «Вы видите ряд снимков с конкретной действительности, несомненно верных и живых; они возмущают вас до последней крайности, но тщетно ждете вы, чтобы автор осветил их философским анализом, чтобы вы могли видеть как причины раскрывающихся перед вами явлений, так и исход из них,— какой бы ни было, но непременно исход»[3],— писал тот же Скабичевский.

Саловские пейзажи как раз и несут в себе не только эстетический, но и философский смысл, не декларативно, а художественно рисуя «исход», противопоставляя «возмутительной неурядице людских отношений» естественное, здоровое, гармоничное жизнеустройство. Пейзаж позволяет Салову уйти от узкого социологизма, расширить рамки конкретного сюжета и соотнести события с широкой картиной жизни, придав им таким образом общечеловеческое звучание.

Произведения Салова, конечно, не указывают путей разрешения социальных проблем, но они четко обозначают сами проблемы, выявляя социальные болезни, рождают сознание необходимости их разрешения.

В «Мертвом теле» сделаны наброски отдельных типов, которые позднее Салов будет детально разрабатывать: это новоиспеченный купец Свистунов, обокравший хозяина в бытность свою приказчиком и таким образом разбогатевший; распоясавшийся

---

[1] Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы. 1848—1892 гг., с. 326.

[2] Медведский К. П. Современные литературные деятели.— Исторический вестник, 1893, т. 54, с. 170, 172.

[3] Скабичевский А. М. История новейшей русской литературы. 1848—1892 гг., с. 326.

хам и взяточник становой; юродствующий циник письмоводитель. Яркими мазками нарисован светлый, праздничный, но таящий в себе трагическую глубину характер Лизы.

Салову было свойственно целостное восприятие мира, и уже в первых его рассказах жизнь предстает во всех своих аспектах — социальном, нравственном, эстетическом. Даже небольшие, порой непритязательные, зарисовки («Барин», «Лесник», «Трактир»), отражающие характерные явления предреформенного быта, непременно затрагивают и нравственную сторону этих явлений. Салов с горечью констатирует факты экономического упадка, разложения нравов, рождение новых, все более жестких форм эксплуатации, рисует картины дворянского оскудения, дает портреты представителей новых «хозяев жизни» — кулаков и купцов-мироедов.

Так, в рассказе «Барин» в тихую, затерянную в непроходимом лесу деревушку, где, благодаря ее отдаленности и богатому лесу, крестьянам живется вольно и безбедно, должен приехать давным-давно не навещавший ее барин. Мужики с радостью готовятся встретить дорогого гостя, ремонтируют дорогу, оборудуют и украшают дом, где он должен остановиться. Но появление помещика, который, вопреки наивным ожиданиям крестьян, безразличен и к ним, и к родным местам, приносит в деревню только горе. Барин продает купцу на сруб лес, служивший крестьянам источником жизни, и весь свой хлеб. «Как же нам без лесу-то жить... ваше сиятельство!..» — в отчаянии восклицают мужики.

Салов указал здесь на характерное для предреформенного периода явление, когда многие помещики, в предвидении скорого освобождения крестьян (первые реальные проекты которого, как известно, были разработаны еще в 1857 году) и не рассчитывая сохранить за собой все принадлежавшие им земли, старались извлечь из уплывающей собственности наибольшую выгоду: продавали земли, леса и хлеб, освобождали крестьян за выкуп (а иногда и без такового), чтобы предупредить наделение их землей и т. д. Это было одной из причин тяжелого положения, в котором оказался народ после и без того грабительской крестьянской реформы. Начиналось обезземеливание и обнищание крестьян, распадалась крестьянская община, разваливалось помещичье хозяйство — главная основа экономики дореформенной России, и над всем этим воцарялись новые хозяева — кулак и купец — алчные, как всякие временщики.

Вот эти-то болезненные процессы капитализации деревни и сопровождающие их драмы — общественные и личные — станут основным предметом художественного исследования Салова в 70—90-е годы.

II

Между первым периодом активной творческой деятельности писателя, завершившимся в 1863 году публикацией романа «Бутузка» в журнале братьев Достоевских «Время», и новым обращением Салова к литературе прошло почти пятнадцать лет, заполненных важными переменами в его судьбе, накоплением обширных знаний о жизни всех общественных слоев России, где, по меткому выражению Л. Толстого, «все переворотилось и еще только укладывалось».

В начале 60-х годов (точная дата не установлена) Саловы получают наследство после смерти богатого родственника. Подарок судьбы явился совсем неожиданно: материальное положение семьи хотя несколько и улучшилось, но оставалось весьма трудным; во всяком случае, когда Илье Александровичу надо было ехать в Петербург на похороны дяди и для раздела наследства, в доме нашлось только три рубля.

Став неожиданно совладельцем имения в четыре тысячи десятин, Салов оставил службу и с женой — племянницей бывшего опекуна А. А. Тучкова — уехал за границу, где провел с небольшим перерывом два года, объехав многие культурные центры Европы: Берлин, Париж, Рим, Неаполь, Ниццу.

Вернувшись в Россию (очевидно, в 1863—1864 гг.), Салов застает не только сложную общественную обстановку, связанную с проведением ущербной крестьянской реформы, но и раскол и полемику, порой очень острую, в рядах передовой русской демократии, перенесшей ряд тяжелых потерь: в ноябре 1861 года умер Добролюбов, через полгода был надолго приостановлен «Современник», еще через месяц арестованы Чернышевский и Писарев. Новая редакция «Современника», возобновленного в январе 1863 года и по-прежнему возглавлявщегося Некрасовым, уже не отличалась единством. Возникли разногласия между М. Е. Салтыковым-Щедриным, с одной стороны, и М. А. Антоновичем с Г. З. Елисеевым — с другой, в результате чего сатирик ушел из журнала. Шла резкая дискуссия «Современника» с «Русским словом» (где вновь публиковались статьи Писарева), вызванная разногласиями по вопросу о тактике общественной борьбы в новых условиях.

, Такая обстановка — и общественная, и литературная — не благоприятствовала продолжению творческой деятельности Салова. Здесь сказывались отсутствие четких политических взглядов и особенности самого таланта писателя; ему, как, скажем, и Гончарову, ближе были явления относительно сложившиеся, поддающиеся пластическому художественному воспроизведению.

Думается, что именно этими причинами, а не внезапным охлаждением к литературному творчеству вызван был длительный отход Салова от писательской деятельности.

Поселившись в селе Ивановка Балашовского уезда Саратовской губернии, он вскоре был избран мировым судьей[1] и прослужил в этой должности девять лет. Служба, непосредственно столкнувшая его с самыми разными социальными слоями России, с самыми насущными общественными (в их частном преломлении) проблемами и конфликтами, дала писателю огромный материал для будущих произведений. Она позволила ему «близко наблюдать... типы кулаков, купцов, мещан, крестьян... Стоило мне, бывало, посмотреть на человека, поговорить с ним некоторое время, и я уже как будто читал у него в душе», — вспоминал Салов.

«Переворотившаяся» жизнь постепенно «укладывалась», приобретая хотя и вопиюще неудовлетворительные, но достаточно четкие формы, и в 1877 году, после пятнадцатилетнего перерыва, Салов возвращается в литературу. Очевидно, способствовали этому и личные обстоятельства: переезд писателя из деревни в Саратов и служба в течение трех лет в Саратовском Мариинском институте, где он, «очутившись среди детей и подрастающего юного поколения... воспрянул духом». Накопленные в деревне наблюдения здесь, на некотором отдалении от объекта, легче складывались в художественные образы.

Общественные язвы, симптомы которых были уловлены писателем еще в ранних рассказах, стали повсеместной реальностью. Страна встала на путь капиталистического развития. «Россия сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка стала быстро превращаться в Россию плуга и молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого станка»[2]. Капиталистическая экспансия в деревне сопровождалась мучительными процессами социального расслоения крестьянства; обделенная землей беднота разорялась и вливалась в растущую и еще слабо организованную массу пролетариата; с утратой «власти земли» распадались и веками складывавшиеся нравственные устои и традиции; сельская община разрывалась от противоречий; помещики, привыкшие к даровому

---

[1] Институт мировых судей, представлявший в целом шаг к демократизации и упрощению суда, был учрежден в России судебной реформой 1864 г. Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями, а в городах — городскими управами сроком на три года. Они рассматривали несложные гражданские и мелкие уголовные дела.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 597—598.

крестьянскому труду, не могли организовать хозяйство на основе труда наемного, продавали земли и леса.

Развитие капиталистических отношений в России вывело на авансцену в деревне кулачество и купцов-мироедов.

Этот тип не был для Салова новым; писатель, как мы помним, изобразил его, правда бегло, еще в рассказе «Барин». В рассказе «Мельница купца Чесалкина», опубликованном «Отечественными записками» М. Е. Салтыкова-Щедрина в августе 1877 года, новый «столп общества» — кулак становится главным предметом художественного исследования.

Прекрасно изучивший российскую провинцию, знавший ее, что называется, из первых рук, Салов совершенно самостоятельно обратился к освещению важнейших и самых драматических сторон народной жизни 1870—1880-х годов.

Поэтому нельзя согласиться с утверждением, что «в выборе темы «чумазого» Саловым «сказалось влияние щедринской сатиры»[1]. Писатель сам подчеркивал, что, описывая кулаков, никому не подражал; он и не нуждался в этом, так как «срисовывал то, что происходило перед глазами чуть ли не ежедневно. Все мои кулаки,— писал Салов,— как-то: Обертышевы, Облапошевы — были списаны с натуры. В некоторых из типов я изменял только фамилии, но все мои читатели, проживающие в одной со мной местности, тотчас же узнавали моих героев и потом уже называли их не по собственным их фамилиям, а по именам, мною вымышленным».

Вместе с тем, конечно, художественная публицистика М. Е. Салтыкова-Щедрина, первым заклеймившего в образах Дерунова («Благонамеренные речи», 1872—1876), Колупаева и Разуваева («Убежище Монрепо», 1878—1879) хищническую сущность буржуазного предпринимательства в деревне, помогала писателям в анализе жизни пореформенного крестьянства, разоблачении бурной деятельности кулаков и мироедов. Писатели-демократы образовали мощный противовес буржуазной литературе, пытавшейся прославить ум, энергию и предприимчивость новых «хозяев жизни».

В «Мельнице купца Чесалкина» Салов точными штрихами запечатлел этот тип, с его показной простотой, ханжеством, алчностью и глубокой безнравственностью. Чесалкин не брезгует ничем: он спекулирует скотом и мукой, скупает землю, нагло обма-

---

[1] Покусаев Е. И. А. Салов.— В кн.: Салов И. А. Повести и рассказы. Саратов, 1956, с. 7. Е. И. Покусаеву принадлежит заслуга первого ознакомления современного читателя с творчеством И. А. Салова.

нывает крестьян, приобретая капитал, а следовательно, и уважение властей, духовенства и своих конкурентов.

Салов сумел показать в своем персонаже типические черты, не схематизируя его, выписав сочно и детально. В рассказе проявилось мастерство Салова-портретиста, умение его выразительно передать речь действующих лиц. Эти достоинства свойственны и другим произведениям писателя, и они находятся в несомненной связи с его опытом драматурга. Большое место занимают в рассказе любовно выписанные картины природы, несколько, правда, растянутые.

Рассказ понравился Салтыкову-Щедрину, имел успех и у читателей; о нем, вспоминал Салов, «в свое время довольно много говорилось в газетах; отзывы были все лестные, что немало поощрило меня к дальнейшим занятиям литературным трудом».

Вскоре в «Отечественных записках» появляются еще два рассказа Салова: «Грызуны» (1878, № 6) и «Аспид» (1879, № 2). Творчество писателя заинтересовало М. Е. Салтыкова-Щедрина, и редактор «Отечественных записок» предложил ему стать постоянным сотрудником журнала. «Милостивый государь Илья Александрович,— писал он Салову в декабре 1878 года.— Рассказ Ваш «Аспид» будет помещен в одной из ближайших книг «Отеч<ественных> зап<исок>» 1879 г. на предложенных Вами условиях. Редакция надеется, что Вы и впредь не оставите ее своим сотрудничеством» [1].

Из опубликованных в 70-е годы в «Отечественных записках» произведений Салова «Аспид» [2] особенно выделяется — как по идейной значимости, так и по художественным достоинствам.

Салов неподражаемо умеет воссоздать живое течение жизни, не обходя острых проблем и конфликтов, естественно подводя к ним читателя и не вычленяя их из цельного жизненного потока. Рассказ, как и большинство произведений писателя, открывается мастерским пейзажем — точным, динамичным, живым. И затем, постепенно, по мере встреч рассказчика — охотника и рыболова — с другими персонажами, читатель входит в мир мучительных социальных и нравственных проблем, в мир, где представления о справедливости и общественном благе, совести и добре с горечью определяются автором как «утопия».

Один из героев рассказа, Савелий Касьяныч Смагин, простой, честный и добрый человек, с болью наблюдает разорение и нравственное разложение народа. Среди причин и проявлений народ-

---

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т. М., 1976, т. 19(1), с. 93.

[2] См. в сб.: Салов И. А. Повести и рассказы. Саратов, 1956.

ного бедствия его особенно тревожит пьянство — страшное социальное зло, захватившее Россию в 70—80-е годы прошлого столетия и порожденное лихорадочной активизацией частного капитала. Это явление глубоко волновало крупнейших писателей, в том числе Достоевского и Толстого, и отражалось в их творчестве.

Герой Салова проводит целое исследование, убеждающее, что кабатчики (кулаки, мироеды и помещики, захваченные борьбой за выживание и не брезгующие самыми безнравственными методами) и заводчики сознательно спаивают крестьян ради получения больших доходов и заключения выгодных сделок.

И хотя персонаж Салова не идет дальше предложения законодательных мер, автор, а с ним и читатель видят за нарисованной героем картиной социальные корни зла.

Точность постановки социальных и нравственных проблем, динамичность и драматизм сюжета, мастерство словесного портрета и диалогов, живые картины природы, органичность и естественность рассказа определили его идейную и художественную ценность.

После «Аспида» все значительные произведения Салова (кроме «Грачевского крокодила», о нем речь чуть ниже) печатались в «Отечественных записках» вплоть до закрытия журнала. Период сотрудничества в передовом журнале русской демократии был самым плодотворным в творческой деятельности Салова. Это отмечал и сам писатель: «...больше всего нравятся мне небольшие рассказы, печатавшиеся при Салтыкове в «Отечественных записках»[1]. Творческой активности писателя немало содействовал Салтыков-Щедрин, который, по признанию Салова, не давал ему «залениваться». Действительно, практически все письма к нему редактора «Отечественных записок» содержат приглашение печатать в журнале новые вещи: «...весьма обязали бы присылкою» (от 11 февраля 1880 г.), «...будьте так добры уведомить меня, когда Вы приблизительно можете сделать Ваш вклад в наш журнал...» (от 15 мая 1880 г.), «Ежели у Вас есть что-нибудь готовое для «Отеч<ественных> зап<исок>», то весьма обязали бы, приславши...» (от 29 ноября 1880 г.), «если у Вас есть еще повесть, то пришлите» (от 6 апреля 1881 г.), «...позволяю себе напомнить о Вашем любезном обещании» (от 1 марта 1882 г.) и т. п.

За довольно короткий период, с 1877 по 1883 год, Салов опубликовал в «Отечественных записках» четырнадцать рассказов и повестей, среди которых такие значительные вещи, как «Аренда-

---

[1] Цит. по кн.: Салов И. А. Повести и рассказы, с. 8.

тор», «Несобравшиеся дрожжи», «Крапивники», «Паук», «Соловьятники», «Ольшанский молодой барин», «Николай Суетной». Все они были посвящены современности и всесторонне раскрывали перед читателем драматическую картину жизни пореформенного крестьянства. «Г-н Салов хорошо знает жизнь деревни, вернее, одну сторону этой жизни, но сторону в высшей степени существенную и современную,— писал критик журнала «Дело».— Он рассказывает нам о хищнической деятельности Разуваевых и Колупаевых...»[1].

Однако этим, конечно, не ограничивался писательский диапазон Салова. Тематика его рассказов была значительно шире обозначенной в отзыве «Дела». Как и прежде, Салов рисовал жизнь во всех ее проявлениях — светлых и темных, злободневных и вечных,— но постоянно имея в виду главные, определяющие ее факторы, каковыми и были тогда в деревне развитие буржуазии, обнищание крестьянства, распад крестьянского «мира», упадок помещичьего хозяйства и т. д.

Если попытаться воссоздать по произведениям писателя его идейные позиции, то точнее всего, видимо, было бы назвать его крестьянским демократом. Он не разделял упований славянофилов и народников на крестьянскую общину, хотя был горячо убежден в ее принципиальной ценности и целесообразности. Он слишком близко видел и хорошо знал народ, чтобы поддержать, на том этапе становления самосознания крестьянства, идею крестьянской революции. Он, разумеется, не мог примкнуть к апологетам буржуазии, несущей неисчислимые бедствия народу на пути своего развития. Прекрасно понимая глубину назревших социальных проблем, не принимал он и либерально-народническую теорию «малых дел».

Взгляды Салова носили общедемократический характер, однако не были достаточно разработаны, чтобы стать идейным основанием для цельного, широкого и последовательного мировоззрения»[2]. Но многие ли в то сложное время стояли на политически безупречно верных позициях! Трудно требовать от писателя из глубокой провинции выверенных и зрелых идейных взглядов, когда крупнейшие умы России не видели четкой перспективы развития страны и движущих сил этого развития. Для своего времени идейные взгляды Салова были безусловно прогрессивными, хотя иногда и не вполне последовательными.

В частности, это проявилось в творческой истории одной из лучших его повестей — «Грачевский крокодил»», первый вариант

---

[1] Дело, 1884, № 2, Современное обозрение, с. 47.
[2] Покусаев Е. И. А. Салов, с. 7.

которой, в карикатурном виде изображавший «нигилиста» 70-х годов и названный демократической критикой — «пасквилем»[1], был отвергнут М. Е. Салтыковым-Щедриным и возвращен автору. Редактор «Отечественных записок» в резкой форме выразил «свое неудовольствие по поводу этой повести»,— вспоминал Салов,— и не без язвительности высказывал предположение, что автор, «вероятно, ошибся, адресуя эту повесть в «Отечественные записки», тогда как ее следовало адресовать в «Русский вестник» (носивший к тому времени откровенно реакционный характер).

Обиженный отказом, Салов действительно отправил повесть в этот журнал, где она вскоре была напечатана. Идейные разногласия подобного же характера возникли между Саловым и Салтыковым и по поводу повести «Несобравшиеся дрожжи». Однако Салтыков-Щедрин понимал, что идейно-художественные просчеты в этих произведениях не были проявлением сознательной позиции писателя. Уже через несколько дней после публикации «Грачевского крокодила» в «Русском вестнике» он пишет Салову, прося прислать «чего-нибудь нового и тем покончить... недоразумение» и подчеркивая, что «редакция весьма ценит его участие в журнале».

Идейные ошибки в этих произведениях Салова носили действительно не принципиальный характер, а были вызваны прежде всего особенностями творческого метода писателя, его склонностью к фотографизму. Тип «нигилиста», представителя передовой молодежи 70-х годов, и без того неоднозначный, да к тому же оклеветанный рептильной прессой, был новым и мало знакомым для Салова, и случайные черты он легко принял за характерные, изобразив «нигилиста» в своем Асклипиодоте Психологове первой редакции повести пьяницей, развратником, вором и бездельником. Салов чисто фотографически воспроизвел здесь личность одного из виденных им молодых людей: «Нигилист этот был мною списан с натуры, так как жил в одном со мной селе».

Вот так случайно замеченные черты, может быть не самые характерные даже и для данной личности, писатель попытался сложить в образ и в результате, конечно, потерпел творческую неудачу. Он и сам признавался: «Чтобы изобразить какой-нибудь *тип*, мне необходимо было видеть его, говорить с ним, словом, изучить до тонкости все его малейшие детали» (выделено нами.— *Авт.*).

О несвойственности Салову антинигилистических настроений убедительно говорит и тот факт, что вторая представительница

---

[1] Дело, 1884, № 2, с. 46.

молодого поколения, Мелитина Петровна, революционерка-народница, пропагандистка, уже в первом варианте была нарисована с глубокой симпатией и перешла в новую редакцию без изменений. Это молодая девушка, с первого же знакомства привлекающая к себе людей. Ее сразу полюбила патриархальная старушка помещица Анфиса Ивановна, у которой героиня останавливается под видом племянницы, «полюбили Мелитину Петровну не только вся дворня, но даже и окрестные крестьяне. Она умела со всеми поладить».

Подлинное имя героини остается читателю неизвестным. Она приезжает в деревню с целью изучения жизни народа и революционной пропаганды: без устали ходит по деревням, беседуя с крестьянами, разъясняя им причины их тяжелой жизни, помогая больным; ведет большую и таинственную переписку; пытается распространять политические брошюры и воззвания, изучает труд и жизнь рабочих на ближайших заводах. Это человек политически зрелый, видимо, знакомый с основными идеями марксизма. «Мелитина Петровна объяснила, что на заводах и фабриках народ гораздо развитее, что хлебопашество развивает в человеке мечтательность и идиллию, тогда как машины, перерабатывая пеньку, шерсть, бумагу, шелк и т. п., вместе с тем незаметно перерабатывают и человеческий мозг... как-то случилось ей быть в Шуе, и... она пришла в восторг от народа».

Девушка-революционерка выступает за всеобщее, обязательное образование, за освобождение женщин, резко критикует такие компромиссные формы облегчения жизни народа, как барский филантропизм и земство.

Ее богатый революционный опыт подтверждается не только прекрасным умением вести работу в любых условиях (что Салов показал очень живо и убедительно), но и сведениями жандармерии, согласно которым она «обвиняется во многих преступлениях». Когда возникает реальная угроза разоблачения и ареста, героиня опережает жандармов и исчезает, оставив лишь пепел от сожженных бумаг и записку Анфисе Ивановне с извинениями за обман: «Я... решилась... приехать к Вам для достижения известных мне целей. Но расчеты мои оказались неверными, и я принуждена была перенести свою деятельность на почву более благодарную».

Очевидно, по цензурным соображениям или, может быть, следуя логике характера (Мелитина Петровна бедна, собственности она не ценит и «святости» ее, безусловно, не признает), Салов вводит в повесть эпизод присвоения героиней чужих вещей, но, в отличие от авторов антинигилистических романов, не только не осуждает ее, объясняя, что деньги необходимы были для бегства («на издержки по проезду»), но и показывает это как совершенно

незначительный факт: прочитав письмо Мелитины Петровны с разъяснением причины пропажи и с сообщением, что в ее имении крокодилы не водятся, Анфиса Ивановна говорит: «Слава тебе, господи!.. Крокодилов у нас нет», — и сожалеет об отъезде «племянницы»: «...умница была, веселая, разбитная...»

Салов сумел смело, живо, полнокровно и с несомненной симпатией нарисовать образ представительницы передовой молодежи 1870-х годов.

Гораздо меньше удались ему в первой редакции остальные персонажи, художественное несовершенство которых (в частности, отца Ивана) признавал и сам писатель. Готовя повесть для отдельного издания 1884 года, он в корне переработал образ Асклипиодота, совершенно заново написал попа Ивана, значительно изменил характеристики власть предержащих.

Критика первого варианта повести М. Е. Салтыковым-Щедриным, дальнейшее общение (в основном, к сожалению, заочное) с лучшими представителями передовых демократических кругов, сотрудниками «Отечественных записок»», помогли Салову разобраться в причинах идейной и художественной несостоятельности ранней редакции и создать новое произведение, по справедливости признанное одним из лучших (по мнению некоторых — лучшим) в наследии писателя.

Передовая демократическая критика того времени отмечала сразу после выхода отдельным изданием «Грачевского крокодила» и ряда других произведений Салова: «Характеристическая черта симпатичного дарования г. Салова состоит в полнейшей искренности и правдивости. Все повести и рассказы его... свидетельствуют, во-первых, о знакомстве автора с предметом, во-вторых, о его добросовестном желании осветить перед читателем явления в их настоящем свете...». «Беллетристический талант г. Салова не подлежит никакому сомнению» [1].

В «Грачевском крокодиле» во всю силу свою развернулся дар Салова — социолога, бытописателя, мастера увлекательного сюжета, пейзажиста, знатока русской речи, портретиста; здесь мы встретим самые разные виды и уровни смеха — от добродушного юмора до острой сатиры.

Главный герой повести Салова — жизнь в разнообразных своих проявлениях. В размеренный, патриархальный, внешне благополучный, почти не затронутый общественными потрясениями мир старушки помещицы Анфисы Ивановны Столбиковой вторгаются новые веяния и тревоги. Салов показывает, насколько иллюзорна

---

[1] Дело, 1884, № 2, с. 46.

устойчивость этого по-своему привлекательного, нарисованного местами буквально с гоголевским мастерством мира.

Потрясает жизнь и благоустроенный быт попа Ивана: рушится его построенное неусыпными трудами материальное благополучие, надламывается здоровье, навсегда исчезает душевное равновесие и покой.

У стариков раскрываются глаза на страшное общественное неустройство, социальное неблагополучие. Салов находит для характеристики современной ему жизни точный обобщающий образ «спершейся воды». «Видал ли ты когда-нибудь, — говорит отцу Асклипиодот,— как зимой к проруби. мелкая рыба сплывается... Сплывается она и жадно глотает воздух. Мужики говорят: «Вода сперлась, душно рыбе!» Этот глубокий образ напоминает нам о мире «бедных людей» Достоевского, задыхающихся в «домах без форточек», на «пятачке пространства». С героями его романов перекликается и образ подлинной Мелитины Петровны, которую отыскивают в Петербурге уже после исчезновения девушки-революционерки.

Но самым удачным образом в повести оказался отец Иван, нарисованный Саловым сочно, метко, динамично. Поп Иван ничем не напоминает правоверного служителя культа. Салов подчеркивает, что «это был мужик (именно мужик)», умный, деятельный, трудолюбивый и предприимчивый. Картины жизни героя нарисованы писателем поистине с замечательным мастерством (особенно выделяются главы 24, 27, 28, 34). Этот характер близок к крестьянскому идеалу Салова, и не случайно именно ему отданы самые, пожалуй, вдохновенные страницы повести — сцена езды на тройке. вызывающая в памяти Гоголя: «...кровь закипела в нем, он выхватил вожжи... стал стоймя в тележке, ахнул, гикнул, и не прошло пяти минут, как вылетел из-за тарантаса и, поравнявшись с ним, полетел рядом. Он стоял, немного запрокинувшись назад, выставив вперед правую ногу, вытянув обе руки... волосы и борода развевались по ветру, фалды полукафтанья тоже, а лошади летели все шибче и шибче, закусив удила, разметав гривы, приложив уши...»

Но и эту русскую удаль и силу сокрушает жизнь. В конце повести больной, обедневший, надломленный несчастьями преследуемого полицией сына отец Иван бросает хозяйство, теряет службу и пытается помогать Асклипиодоту в организации обучения крестьянских ребятишек. Новая, глубокая мудрость и человечность приходит к герою. Писатель раскрывает неисчерпаемые возможности этого характера.

Резко сатирически изображены Саловым представители власти (особенно бесноватый становой) и аристократии; с глубоким со-

чувствием, но и с критикой пассивности, косности, пьянства нарисованы крестьяне; затрагивает писатель и жизнь городской бедноты (подлинная Мелитина Петровна) и молодежи (Асклипиодот и гувернантка князя); разнообразными типажами представлено мещанство; встречается читатель повести и с представителями духовенства, чиновниками, предпринимателями, банкирами и т. д. «Грачевский крокодил» стал широкой картиной жизни русской провинции 70—80-х годов XIX века.

К образам передовой молодежи Салов неоднократно обращался и в других произведениях («Несобравшиеся дрожжи», «Паук», «Ольшанский молодой барин»), вплоть до закрытия «Отечественных записок» и наступления жесточайшей реакции, но создать такой полнокровный, смелый и яркий характер, как революционерка в «Грачевском крокодиле», ему больше не удалось.

Большинство произведений Салова начала 1880-х годов посвящено деревне, но теперь писатель уже не только констатирует ее разорение и упадок, а, наряду с разнообразными мастерскими типажами «аспидов» и «пауков», все чаще рисует наиболее интересных и ярких представителей народа. В этом, видимо, сказалась активизация крестьянского движения начала 1880-х годов, когда в результате русско-турецкой войны 1877—1878 годов и неурожаев 1879 и 1880 годов еще более обострились бедствия крестьян, и назревала революционная ситуация.

Рассказы и повести Салова этого периода примыкают к народнической литературе, с той, однако, разницей, что в них отсутствует элемент прямой пропаганды. Это было связано не только с умеренной идейной позицией автора, но прежде всего с особенностями его художественной манеры и с тем, что для Салова не было новизны в явлениях, которые народники изучали, заглядывая, по словам Н. Н. Златовратского, «к мужику в горшок, в чашку, в рюмку, в карман... считая скотину... отбирая данные у кабатчиков... топчась по полям и лугам, меряя полосы шагами» [1] и т. д. Он глубоко знал все это и воплощал уже не в публицистике, а в художественных образах.

Большое место в произведениях Салова 80-х годов занимает исключительно актуальная тогда проблема сельской общины, раскрываемая им, в отличие от многих писателей-народников, с исторически верных позиций. Утверждая ценность крестьянского самоуправления, художник в то же время с глубокой горечью, но беспощадно правдиво показывает, как трещат и разрушаются устои деревенского «мира» под напором капитализации села и развития буржуазного хищничества. Община, во главе которой ока-

---

[1] Отечественные записки, 1879, № 10, с. 451.

зываются бесчестные и алчные или просто нравственно разложившиеся люди, косной силой встает против смелых идей Ивана Огородникова, холодно и безучастно смотрит, как погибают бедняки-крестьяне, ничем не отвечая на мольбы о помощи. «Не пустите по миру, не дайте умереть с голоду», — в отчаянии взывает Николай Суетной, падая в ноги «обчеству». Но оно молчит, «да так молча, один по одному» и расходится.

Герои произведений Салова 1880-х годов — Николай Суетной, Иван Огородников, Лукьян из «Шуклинского Пирогова», старик Дроныч из «Леса» и другие — умные, работящие, талантливые, предприимчивые люди. Они воплощают в себе лучшие черты народного характера.

Но в условиях мучительных социальных противоречий пореформенной России погибают даже эти сильные личности: мастер на все руки и «превеликий хлопотун» Николай Суетной повесился, сокрушенный несчастьями; могучий Иван Огородников, бунтарь, правдоискатель и изобретатель, погиб в непосильной борьбе с кулаками, власть которых он пытается подорвать, и с окружающей его темнотой и косностью; «патриарх» старик Дроныч, едва не погибнув от руки собственного сына, покинул деревню, где распадается и крестьянский «мир», и его частица — семья, поселился отшельником в лесу и т. д.

Все упомянутые герои имеют много общего, так как воплощают крестьянский идеал Салова, но в то же время каждый наделен сугубо индивидуальным характером, обликом, судьбой. Персонажи писателя — всегда живые люди, а не схемы или рупоры идей автора.

Рисуя трагические судьбы даже самых сильных людей из народа, Салов показывал, что бедствия крестьянства вызваны объективными социальными условиями, а не частными, субъективными обстоятельствами. Горестное повествование о безысходной судьбе народа после «освобождения» — повесть «Николай Суетной», опубликованная в «Отечественных записках» в 1881 году, стала честным ответом художника на хвалебную шумиху, которой отмечалось двадцатилетие крестьянской реформы в реакционной и либеральной прессе.

Писатель открыто говорил о жгучих проблемах общественной жизни в период, когда, по словам Г. Успенского, нельзя было «написать «отрывка» из деревенского дневника и затронуть в нем хоть каплю из бесчисленных и настоятельных деревенских нужд, чтобы какой-нибудь литературный сышик не указал на тебя как на человека, которого следовало бы истребить» [1].

---

[1] Успенский Г. Полн. собр. соч. Л., 1949, т. 8, с. 430.

В конце 70-х и в 80-е годы писатель возвращается и к театральной деятельности: талант драматурга никогда не угасал в Салове, и реалистические, колоритные, насыщенные диалогами рассказы и повести его буквально просились на сцену. Он переделывает в пьесы ряд своих произведений: «Аспид» (пьеса «Благодетель»), «Гусь лапчатый», «Ольшанский молодой барин» (пьеса «Степь-матушка»), «Мамзель», «Практика жизни» и др. — и пишет оригинальные пьесы («Степной богатырь», «Дармоедка», «Золотая рыбка», «Ошибка», «Солдатка Проська» и др.), активно выступает на страницах прессы с театральными рецензиями и статьями.

Пьесы Салова с успехом шли на сценах саратовского и московских театров, привлекая зрителей правдивостью, национальным колоритом, мастерским языком и особенно актуальностью проблематики, выгодно отличавшими их от мелодрам и «осколочных» водевилей тогдашних псевдокоролей драматургии Шпажинского и В. Крылова. Сам автор нередко выступал и в качестве режиссера-постановщика своих пьес.

К театральной деятельности Салов подходил как писатель-гражданин, как последовательный приверженец реалистического направления в искусстве. «Прадва, и только она одна поражает человека — и достижения этой-то правды должен добиваться каждый художник» [1], — писал он. Театр, с его прямым, непосредственным воздействием на зрителя, открывал перед Саловым возможности, которых он не видел или не мог осуществить в собственно писательской деятельности. В воспоминаниях он признавался, что своими рассказами и повестями о кулаках-живоглотах «думал... обратить внимание тех, которым надлежало бы принять меры для обуздания их аппетитов, но, увы, их-то именно внимания обратить мне и не удалось».

Писатель, вслед за В. Г. Белинским и Н. В. Гоголем, считал: «Сцена есть та же школа — та же кафедра, с которой должна возвещаться истина» [2]. Он надеялся, что хотя словом сатиры со сцены и не сразу «пробьешь медный лоб и каменное сердце, но зато им возможно наложить такое клеймо, которое не скоро смывается» [3]. Конечно, в надеждах этих была немалая доля просветительских и либеральных иллюзий, но была в них и глубокая, в традициях русской культуры, гражданская вера в мощную воспитательную и созидательную силу искусства, силу слова.

Писатель отмечал бедность театрального репертуара, низкий

---

[1] Саратовский справочный листок, 1879, 7 сентября.
[2] Саратовский справочный листок, 1879, 14 сентября.
[3] Там же.

уровень популярных у обывателя пьес и рекомендовал ставить на сцене лучшие произведения русской и зарубежной классики — драмы и комедии Островского, Фонвизина, Гоголя, Грибоедова, Мольера.

В своих театральных рецензиях Салов порой прямо связывал искусство со злобой дня, указывал на социальные язвы окружающей действительности. Так, по поводу драмы «Злая яма» он писал: «...не встречаются ли таковые... по соседству с нами? Конечно — сколько угодно... на одну из таких злых ям, которых вероятно, немало, могу указать и я. Вот ее адрес: Мало-Царицынская улица, подвал в доме Бударинной. В подвале этом проживает семейство О. Ф. Ч., совершенно в беспомощном состоянии. Семейство это состоит из старухи матери и пяти человек детей, в том числе двух дочерей... Вникните посерьезнее в участь этих двух несчастных девушек, подумайте, что ждет их, и удастся ли когда-нибудь выкарабкаться из этой злой ямы и не попасть в другую, еще злейшую. Ведь это очень потрясающая драма»[1].

Приведенный отрывок взят из поздней, 1898 года, театральной рецензии Салова, но и здесь, наряду с либеральными надеждами на возможность исправления положения «сверху», слышится откровенный социальный протест. В театральных рецензиях голос писателя обретал публицистическое звучание.

III

Талант И. А. Салова был в расцвете. Его рассказы и повести публиковались в «Отечественных записках» рядом с произведениями М. Е. Салтыкова-Щедрина, порой как бы предваряя конкретными и живыми образами широкие обобщения великого сатирика[2], ему прочили большое «литературное будущее»[3], ждали от него дальнейшего идейного и художественного роста: «...талант г. Салова... вполне достаточен, чтобы дать нам нечто большее и высшее, нежели простые фотографии, и автору не хватает этого только теоретического развития, которое, при доброй воле, приобрести нетрудно»[4].

Для возлагаемых на писателя надежд были основания: росло не только художественное мастерство Салова, но и идейное зву-

---

[1] Саратовский листок, 1898, 31 января.

[2] Например, рассказ Салова «Аспид» (Отечественные записки, 1879, № 2) непосредственно предшествует в номере журнала главе «Тревоги и радости в Монрепо» из «Убежища Монрепо» Салтыкова-Щедрина, где говорится о приходе в русскую жизнь Колупаевых и Разуваевых.

[3] Дело, 1884, № 2, с. 46.

[4] Там же, с. 48.

чание его произведений. Писатель пробует свои силы в публицистике: печатает в «Саратовском листке» цикл очерков «Деревенская «колгота» (письма из деревни)», где с глубоким знанием дела, хотя и не без либеральных упований на введение более совершенных и разумных законов, рисует бедственное положение пореформенной деревни, нищенскую жизнь крестьянства.

В сознании современников имя Салова вставало рядом с именами любимейших писателей:

«...Мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Решетникова Федора
Успенских двух, Левитова,
. . . .
Засодимского, Салова,
А главное — Некрасова,
Всего без исключения
С базара понесет»[1],—

писал, перефразируя Некрасова, поэт-демократ Н. А. Панов[2]. В 1884 году вышло первое двухтомное собрание сочинений Салова, имевшее большой успех у читателей и получившее положительные отзывы передовой критики.

Но творческий взлет писателя был прерван. После убийства народовольцами 1 марта 1881 года Александра II началась новая волна репрессий. Последовали аресты, ссылки и казни. В январе — апреле 1884 года был арестован ряд сотрудников «Отечественных записок» (Н. К. Михайловский, С. Н. Кривенко, М. А. Протопопов, А. И. Эртель и другие), и 20 апреля царское правительство запретило издание «Отечественных записок» — органа передовой русской демократии.

Салов, по его собственным словам, оказался «бесприютным». «Я привык писать в «Отечественные записки», как будто сроднился с ними, привык изредка переписываться с редакцией»,— вспоминал он. Писатель лишился не только «пристанища», но и идейной поддержки, лишился доброжелательного, строгого редактора. Для него, жителя глубокой провинции, все это было особенно сильным ударом.

---

[1] Цит. по: Некрасовский сборник. М.—Л., 1956, т. 2, с. 496—497.

[2] См. о нем: Яцимирский А. И. Памяти поэта из народа.— Исторический вестник, 1906, № 10, с. 290—297. Также: Евгеньев-Максимов В. Е. Невышедшая книга о Н. А. Некрасове.— Некрасовский сборник, т. 2, с. 487—500.

Писатель скитается по разным редакциям: публикует свои произведения в журналах «Новь», «Северный вестник», «Нива», «Север», «Артист», «Всемирная иллюстрация», в газетах Неделя», «Саратовский справочный листок», а с 1886 года — в либеральном журнале «Русская мысль». Отсутствие идейного руководства и постоянного «пристанища», а также ухудшение политической обстановки в стране, наступление эпохи «безвременья» отразились, конечно, на творчестве Салова. Ослабевает критическая направленность его произведений, их социальная заостренность, хотя они по-прежнему проникнуты любовью к простому народу и сочувствием ему. Убедительное свидетельство демократизма позднего творчества Салова — роман «Практика жизни», рассказы «Старый поезжачий», «Босоножка», «Медоломы», «Голодовка», «Филемон и Бавкида», «Тернистый путь» и др.

Сюжет рассказа «Филемон и Бавкида» слегка напоминает «Тупейного художника» Лескова, хотя и уступает ему в социальной заостренности, в драматизме. История саловских героев печальна, но завершается в конце концов благополучно, да и сама тональность повествования у Салова лишена трагической напряженности лесковского рассказа. Драматические события здесь отнесены в прошлое, а к моменту встречи героев — любящих друг друга крепостных — с автором-рассказчиком они получают наконец свободу и поселяются в собственном доме.

Однако внимательный, не поверхностный читатель сразу уловит глубокую демократическую направленность произведения. Простые крепостные, дворовые люди оказываются подлинными наследниками всего лучшего, утонченного и романтического в прошлом. Они несут в себе целомудрие, способность к возвышенному, глубокому чувству, к верной, нестареющей любви. Под внешней примиренностью с судьбой кроется неугасающее стремление к свободе. Это люди глубоко независимые, самостоятельно, вопреки господской воле строящие свою судьбу.

Резким, хотя и не подчеркнутым контрастом героям выглядит безобразная помещичья супружеская пара, с ее деспотизмом и распущенностью.

Нелегкую жизнь крестьянской семьи рисует Салов и в одном из последних своих рассказов — «Тернистый путь», хотя здесь либеральные позиции писателя проявляются, пожалуй, еще отчетливее. Однако рассказ этот интересен как свидетельство верности художника принципам критического реализма в эпоху распространившихся идейных и эстетических шатаний в литературе. Как и в прежних произведениях Салова, в рассказе привлекает его демократическая и патриотическая направленность, психологизм, художественная убедительность образов.

После закрытия «Отечественных записок» Салов продолжал писать прозу, выступал и как драматург. В 1897 году он опубликовал в журнале «Русская мысль» свои воспоминания «Умчавшиеся годы», над которыми продолжал работать до конца жизни (завершение воспоминаний было опубликовано уже после смерти писателя, в 1906 году, в «Историческом вестнике».

«Воспоминания» охватывают целую историческую эпоху, шестьдесят лет, с конца 30-х до середины 90-х годов прошлого века. Сколько событий — от детских радостей и огорчений до огромных социальных катаклизмов: распада общественного порядка, войн! Сколько лиц — от друзей детства, провинциальных помещиков, молодых чиновников-литераторов до крупных исторических и культурных деятелей: Н. П. Огарева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. Н. Майкова, Ап. Григорьева, И. И. Лажечникова, А. Н. Островского, генерала А. П. Ермолова, Шамиля!.. Сколько реалий — достоверных, как и все у И. А. Салова, и тем более интересных и ценных для нас! — жизнь разорившейся помещичьей семьи и новые «хозяева жизни», русская провинция и столицы, служба, театр, литературная жизнь и т. д. и т. п.— и все это через каждодневный быт, через глубоко личные переживания.

Особенный интерес представляют воспоминания И. А. Салова, конечно, для его земляков. Пенза и Саратов прошлого века так живо, непосредственно, с таким обилием деталей предстают со страниц «Умчавшихся годов»!

Но вернемся к событиям последних лет жизни И. А. Салова. Конечно, период творческого расцвета миновал. Закрыты «Отечественные записки», усложняется общественная ситуация, все меньше остается надежд на улучшение ее «сверху». Слабеет просветительская вера в действенную силу художественного слова. Массу сил и времени отнимает у писателя служба, которая, правда, дает жизненный материал, но оставляет мало возможностей для его воплощения в творчестве. Спасает она и от полного разорения, угроза которого постоянно висела над писателем: не раз публиковались объявления о продаже с аукциона заложенного саловского имения.

Весной 1895 года писатель тяжело заболел. Он уже не мог сам записывать свои произведения, приходилось их диктовать. Больной, парализованный, И. А. Салов не оставил работы, не утратил мужества, любви к жизни, веры в народ. Именно в эти годы были написаны рассказы «Филемон и Бавкида» (1897), «Тернистый путь» (1900).

В декабре 1902 года Салова не стало. Русская литература лишилась талантливого писателя-реалиста, демократа и патриота, защитника народных интересов, тонкого художника. Талант Са-

2 Заказ 1201

лова реализовался не полностью, при других, более благоприятных более весомым, но и того, что он сумел сделать, достаточно для благодарной памяти о нем. «Мы, русские,— писал в свое время Д. Н. Мамин-Сибиряк,— можем справедливо гордиться такими именами, как Глеб Успенский, Златовратский, Салов и т. д. Они отринули все лохмотья и декорации старинной выдохшейся эстетики и служат боевую службу, которая им в свое время зачтется»[1].

Вслед за другими русскими писателями время это наступило и для И. А. Салова.

На саратовской земле, где столько лет трудился писатель, о которой рассказал с такой любовью и болью, возрождается память о нем. Усилиями энтузиастов в селе Ивановке Аркадакского района, где было имение И. А. Салова, создана музейная экспозиция, посвященная жизни и творчеству писателя; там же намечено установить памятник ему (может быть, и самому Саратову стоит последовать этому примеру? Не так уж богаты мы памятниками, место найдется!). Недавно жители Ивановки решили присвоить имя земляка одной из новых улиц, и тут опередив областной центр. И уж, конечно, давно пора выполнить завещание писателя, защитника народного, нарушенное в 1930-е годы, когда другие «энтузиасты» разгромили церковь, возле которой был похоронен Салов, и осквернили могилы.

«Прошу похоронить меня в простом сосновом гробу, без блях и украшений, в белой русской рубашке и таких же панталонах, между могилами жены и матери, то есть возле часовни»,— писал И. А. Салов в завещании*.

Надо восстановить могилу писателя. Потомки, отдадим еще одну, хотя бы малую часть своего долга!

Т. Н. Танакова, В. В. Танаков

---

[1] Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1955, т. 8, с. 634.

* ЦГАЛИ, ф. 326, оп. 1, ед. хр. 173.



РАССКАЗЫ

Соловьятники

I

Как-то весной, в первых числах мая, зашел ко мне приятель-соловьятник, Флегонт Гаврилыч Павильонов.

— Я к вам-с! — проговорил он, расшаркиваясь и подавая мне руку.— Вы как-то желали на соловьиную ловлю посмотреть, так вот, не угодно ли? Соловьиный пролет начался, дело в самом разгаре.

— С удовольствием. Вы как будете ловить?

— Сетками-с. Ловят еще западками на яйца, да я той охоты не люблю... не сто́ит-с.

— А куда мы поедем?

— Чтобы далеко не забиваться, поедемте на Зеленый остров.

— Отлично.

— Так часиков в шесть, вечерком, вы пожалуйте на «Пешку» * в Красненький трактир, а я там буду поджидать.

— Идет.

— Смотрите, не забудьте только захватить с собою коврик и подушечку, потому на открытом воздухе ночевать придется; даже одеяльце советую взять. Днем-то жарко, а зорьки-то все-таки свеженькие бывают...

— Хорошо, захвачу.

— Захватите-с. А пока до свидания: надо еще Павлу Осиповичу соловья занести. Просил бог знает как.

И, пожав мне руку, соловьятник сделал грациозный поворот, заглянул мимоходом в зеркало и, поправив височки, вышел из комнаты.

Однако прежде всего позвольте познакомить вас с этим соловьятником.

---

* «Пешкой» в Саратове называют пеший базар. (*Прим. И. А. Салова*).

Флегонт Гаврилыч Павильонов был старик лет шестидесяти, худой, среднего роста, немного сутуловатый и поэтому всячески старавшийся держать себя как можно прямее. Когда-то Флегонт Гаврилыч состоял на службе в каком-то земском суде, затем служил писцом в дворянском депутатском собрании, получил чин коллежского регистратора, но по «слабости зрения» вышел в отставку и предался исключительно соловьиному промыслу. Насколько промысел этот был выгоден, я не знаю, но думаю, что больших капиталов Флегонт Гаврилыч не имел, ибо всю жизнь колотился, как рыба об лед, часто недоедал и недопивал и еще чаще прибегал к займам, которые, по «знакомству», редко оплачивал. Туалет Флегонта Гаврилыча состоял из какого-то длинного пальто с черным плисовым воротником и таковыми же отворотами, весьма похожего на халат, из однобортной жилетки с шалью и бронзовыми пуговками, из полосатых коротеньких панталон, вытянутых на коленках, и сапогов, покрытых заплатами, которые Флегонт Гаврилыч всегда тщательно старался как можно лучше начистить ваксой. Галстуков Флегонт Гаврилыч не носил, по крайней мере, мне никогда не приводилось видеть его в галстуке, зато белые воротнички ненакрахмаленной ночной сорочки, завязанной у горла тесемкой, он так живописно раскладывал по плисовому воротнику пальто, что в галстуках, право, не было никакой надобности. Несмотря, однако, на этот видимый недостаток в костюме, Флегонт Гаврилыч все-таки был кокет. Он никогда не проходил мимо зеркала, чтобы украдкой не заглянуть в него, и как бы мимолетен ни был этот взгляд, Флегонт Гаврилыч сразу замечал все погрешности своего костюма и немедленно же исправлял их: то у панталон пуговичку застегнет, причем слегка нагнется и непременно замаскирует это движение кашлем или каким-нибудь особенным движением головы и рук; то поправит височки и хохол; то закрутит усы. Височками Флегонт Гаврилыч занимался особенно тщательно и весьма оригинально зачесывал их. Несмотря на то что волос на голове его было довольно много, но все-таки для височков он брал волосы с затылка и, накрыв ими волосы, растущие спереди, загибал какими-то валиками вроде двух сосисок. Вследствие таковой манеры зачесываться, серые волосы Флегонта Гаврилыча (седыми назвать их нель-

зя, а именно серыми) были всегда густо намазаны фиксатуаром, издававшим сильный запах цедры. Ходил Флегонт Гаврилыч быстро, с припрыжкой, и выделывал ногами какие-то глиссады, словно танцевал соло в пятой фигуре кадрили; он и руки держал так же закругленно, как держат их обыкновенно танцоры. Столь же быстры были и движения лица Флегонта Гаврилыча, а в особенности движения его маленьких серых глаз. Глаза эти ни на минуту не оставались в покое и, перебегая с одного предмета на другой, делались положительно неуловимыми. Что именно способствовало развитию этой неуловимости — служба ли (чиновники того времени обладали замечательно быстрыми взглядами), постоянное ли выслеживание соловьиного бега и полета — я не знаю, но думаю, что последнее играло немаловажную роль в этой необыкновенной беготне глаз. Флегонт Гаврилыч настолько был предан своему делу, что, кроме соловьев, ни о чем не говорил. Он знал всех любителей соловьиного пения, не только живущих в Саратове, но даже и в губернии, знал их по имени и по отчеству, знал всех соловьев в городе и в губернии, качества и недостатки в их пении, возраст соловья, кем именно и когда был пойман, за сколько, когда и где продан и проч. и проч.; словом, в мире соловьятников Флегонт Гаврилыч был настолько необходимым человеком, что обойтись без него не было возможности. Его приглашали даже лечить соловьев, и хотя, в сущности, он редко помогал больному и, напротив, гораздо чаще только ускорял смерть пациента, тем не менее, как настоящий доктор, делал вид, что жизнь соловья в его руках и что только он один может спасти его от смерти. Он вспрыскивал больного водой, водкой (водку он предпочитал более, ибо в то же самое время возбуждал тем же медикаментом и собственные силы), дул соловью под хвост, совал в рот живых тараканов, и, когда, несмотря на это, соловей околевал, он опускал его в карман своего коричневого пальто, поправлял височки и объявлял, что против «предела» никакой врач ничего сделать не может.

Такое постоянное вращение в мире соловьином превратило и самого Флегонта Гаврилыча в какого-то соловья. Как только наступала весна и соловьи прилетали к нам с «теплых вод», так и Флегонт Гаврилыч

принимал совершенно соловьиный образ жизни. Он забывал все: дом, семью, жену, детей, покидал, так сказать, свои «теплые воды» и переселялся в лес. Ночь для него превращалась в день; утренние и вечерние зори были самыми торжественными моментами его жизни. Он даже днем спал весьма мало, ибо в это время занимался обделываньем своих соловьиных делишек, то есть продажею пойманных по зорям соловьев. Продажу эту Флегонт Гаврилыч облекал всегда какою-то особенною таинственностью: входил в дом с заднего крыльца, секретно вызывал хозяина, отворачивал полу пальто и, подмигнув на холстинный мешок с соловьиными клетками, объявлял шепотом: «Ночничок-с! Только для вас и берег!» Торг совершался; Флегонта Гаврилыча угощали водочкой, чайком, и хотя «ночничок» оказывался весьма часто самым обыкновенным соловьем, а иногда даже не самцом, а самкой, тем не менее, однако, никто на Флегонта Гаврилыча за это не претендовал по той простой причине, что все это было так мелко и так незначительно и вместе с тем так необходимо для поддержания существования целого семейства, что совестно было и претендовать. Соловьев Флегонт Гаврилыч ловил большею частью сам, для чего держал даже двоих рабочих, но, сверх того, он и покупал соловьев, если находил это выгодным. Он торговал клетками, которые делал сам в зимнее время, муравьиными яйцами, дудочками, свистками, западками, сетками и от всего этого получал небольшие барыши, на которые и содержал свою семью. Флегонт Гаврилыч был женат на второй жене и имел четырех детей, то есть был в семействе сам-шесть, но когда спрашивали его о численности его семейства, то он всегда отвечал: «сам-семь», ибо и квартиру тоже причислял к членам семьи, как требующую содержания. Вторую жену свою Флегонт Гаврилыч любил, но о первой вспоминал и до сих пор с особенным восторгом. «Ах, что это была за дама! — говорил он. — Что это была за понятливая дама! Бывало, разбудит утром, поцелует и скажет: «Ну, супруг, пожалуйте чай кушать, все готово!» И действительно: клетки, бывало, все вычищены, корм насыпан, вода налита! А вторая — баба, положим, добрая, хлопотунья, но уж понятия не спрашивай. Соловью овса насыплет, овсянке — яиц муравьиных... того и гляди, всех птиц переморит!..»

Вот этот-то Флегонт Гаврилыч и пригласил меня на соловьиную ловлю.

II

Часов в шесть вечера я с «ковриком, подушечкой и одеяльцем» прибыл на место свиданья. Красненький трактирчик был битком набит народом и представлял собою нечто весьма оригинальное. Это был клуб птицеловов и охотников до птичьего пения. Никогда ничего подобного не встречал я в жизни. Тут были и чиновники, и купцы, и немцы, и русские, и армяне, и весь этот люд, сидя за чаем или за кружкой пива, только и толковал о птицах. Грязный до невозможности, пропитанный запахом водки, табачного дыма, пива и солдатских сапогов, трактирчик был весь увешан клетками, и в клетках этих метались птички всевозможных пород, оглашая залу всевозможными трелями. Тут заливались и жаворонки, и щеглы, и чижи, и канарейки; тут «мамакали» перепела, свистали снегири и скворцы, и все это смешивалось с криком посетителей (просто говорить было нельзя, а надо было непременно кричать, так как обыкновенный говор заглушался птицами), с беготней половых и стуком чашек и тарелок. То же самое происходило и перед трактиром — в небольшом переулке, выходящем на Валовую улицу. Переулок этот пестрел двигавшимися толпами народа, теснившимися перед дощатым забором, буквально увешанным клетками. Словом, это был птичий рынок со всеми его атрибутами и характерными особенностями. Тут суетились дети, почтенные старцы, попы, дьячки с заплетенными косичками, солидные купцы с окладистыми бородами и молодые франты в цилиндрах и шляпах. Здесь продавались и клетки и птичий корм; здесь обделывались все птичьи «гешефты»[1], здесь была птичья биржа со своими специальными членами, старшинами и маклерами.

Когда я вошел в трактир, я был просто ошеломлен этим хаосом; я не знал, что делать, но голос Флегонта Гаврилыча вывел меня из недоумения.

— Пожалуйте-с... Я здесь! — кричал он, привстав с места.— Пожалуйте-с, мое почтение-с!

Я поспешил на зов.

— Ну, что же, едем? — спросил я.

— Непременно-с, сию же минуту-с. Пожалуйте, присядьте... Кружечку пивца не прикажете ли? А я покамест кликну своих молодцов и прикажу им собираться.

Проговорив это, Флегонт Гаврилович засуетился, поправил височки, подбежал к растворенному окну, высунулся по пояс и крикнул на весь переулок:

— Эй ты, Ванятка! Убирай клетки, зови Василия: сейчас на охоту поедем! Мотри, не забудь чего, как намедни! Ни одного свистка не взяли... Да спроси жену, нет ли каленых яиц, да пирога не осталось ли? Коли осталось, так захвати... Ну, живо! Одна нога здесь, другая там! — сострил Флегонт Гаврилыч.

И потом, подавая мне стул, прибавил:

— Сейчас они придут-с... Пива не прикажете ли-с?

— Пожалуй, кружечку выпью.

— Отлично-с.

И, обратясь к буфету, Флегонт Гаврилыч крикнул:

— Эй! Макарыч! Вот барину пивца бутылочку подай... Или, может, парочку желаете?..

Сообразив, что Флегонт Гаврилыч хлопочет собственно о себе и что угощать пивом приходится мне, я согласился на «парочку».

— Превосходно-с! — подхватил Флегонт Гаврилыч.— И я с вами кстати выпью. Вы какое больше уважаете: Калинкинское или Баварию?

— Баварию.

— И я того же мнения-с,— снова подхватил Флегонт Гаврилыч и мгновенно распорядился насчет пива.

За столом, кроме нас с Флегонтом Гаврилычем, сидел еще какой-то мрачного вида господин, опрятно одетый, в черном сюртуке, высоких белых воротничках, подпиравших уши, и с лимонного цвета волосами, жиденьким хохлом возвышавшимися на лбу. Господин этот левой рукой поглаживал пустую кружку, а правой перекидывал карандаш, ловко подхватывая его на лету.

Мы сидели с ним визави[2], посреди же нас, как раз против зеркала, висевшего в простенке, помещался Флегонт Гаврилыч. Зеркало это было причиною того, что Флегонт Гаврилыч ни минуты не просидел спокойно... Он то и дело поправлялся, приглаживался, обчищался, и только принесенные половым бутылки пива отвлекли его от этого занятия.

— Как на ваш вкус? — спросил он, разлив по кружкам пиво и неторопливо сделав довольно основательный глоток.

— Пиво хорошее...

— Дельное пиво-с! — подхватил Флегонт Гаврилыч. — Нового привоза, из склада Дюбуа.

— Гóрнит чуточку! — глубокомысленно заметил господин с лимонным хохлом.

— Есть немножко-с! — вскрикнул Флегонт Гаврилыч. — Есть-с, горчит точно-с, точно-с...

— А вчерашний соловей-то ваш, милочка, околел! — проговорил мрачный господин.

— Ой! — вскрикнул Флегонт Гаврилыч, привскочив с места, словно его кто иголкой кольнул.

И в ту же минуту на подвижном лице его изобразились ужас, и отчаяние, и вместе с тем надежда сбыть другого соловья.

— Околел...

— Давно ли?

— Вчера вечером. Должно быть, самки хватил...

Флегонт Гаврилыч даже отшатнулся как-то.

— Пал Осипыч, — проговорил он, приложив руку к сердцу. — Как вам не грешно-с? Да теперь и самки-то еще не прилетели-с!.. Ни одной, как есть, не слыхал еще-с. Помилуйте! Разве я посмел бы сделать это-с? Нет-с, а просто его в платке несли, туго связали — он и сопрел-с... Что вы станете с этими мерзавцами делать! Сколько раз говорил им: в платке не носить соловьев... Чего лучше в бичайке... не в пример спокойнее! Так вот нет-с, лень бичайку-то таскать... Эхма! Жаль, жаль, соловей-то уж больно хороший был... «ночничок!..» Сам выслушивал!

И потом, вдруг переменив тон, спросил:

— Может, прикажете другого подарить-с?

— А есть?

— Есть-с.

— Хороший?

— Горластый соловей.

— Утренничек или ночничок?

— Ночник. Всю ночь на весь Зеленый остров так и орал... даже спать не дал, проклятый.

— А дорог?

— Помилуйте, лишнего не возьму-с.

— Нет, однако?

— Сочтемся, чего тут... сочтемся, будьте спокойны-с... Мне с вас лишнего не надо-с.

— Хорош ли только?

Флегонт Гаврилыч даже обиделся.

— Пал Осипыч! — проговорил он, заглянув в зеркало и потом мгновенно перенеся взор на Павла Осипыча. — Неужто я могу что-нибудь такое говорить перед вами... низость какую-нибудь-с! Мне, собственно, соловья-то жалко, потому попадет к какому-нибудь курицыну сыну, который и толку-то в них не понимает, а соловей-то богатый...

— Ну, ладно, милочка, приносите; буду ждать.

— Слушаю-с, принесу-с.

И, снова посмотрев в зеркало и поправив ворот сорочки, спросил:

— А как тот-то, другой-ат, поет?

— Петь-то поет, только трещит очень...

— Ах, Пал Осипыч, без треску невозможно-с! Без треску-то тысячи две рублей заплатить надо-с; да у нас здесь и нет таких... За таким-то надо в Курск аль в Бердичев ехать... да и там, слышь, немного их. А что, яичками-то запаслись?

— Купил вчера немного.

— Вы бы вот сейчас купили-с, а то Поповы так и рвут-с. Намедни купили этих самых яиц муравьиных на восемьдесят копеек, а продали потом за четыре рубля... Вот ведь как деньги-то наживают-с, не то что мы... Право, запаситесь... Теперь бабы подгородние очень много их натащили, нипочем отдают... Вот бы еще овсяночку у меня купили-с... Она полезна будет и для кенара, и для соловья...

— Что ж? Ничего, можно...

— Прикажете принести?

— Приносите, милочка, ничего, я возьму...

— Слушаю-с! — проговорил Флегонт Гаврилыч и, кивнув головой, поправил височки.

В эту самую минуту в залу трактирчика вошел мальчуган лет шестнадцати, смуглый, кудрявый, с плутовскими бегающими черными глазами, с улыбающимся веселым лицом. Он был в изодранной нанковой поддевке, в суконной фуражке, надетой на затылок, и с холстинным мешком, перевешенным через плечо. За поясом у мальчугана торчала сухая вобла, небольшая связка баранок и две бичайки (лубочные круглые клет-

ки с холстинным колпачком, нечто вроде ридикюля), В руках у него был небольшой узелок и какая-то старая разодранная поддевка, вся в грязи и пятнах. Это был тот самый Ванятка, которому Флегонт Гаврилыч отдал приказание собраться на охоту и позвать Василия. Окинув залу быстрым взглядом и сразу разыскав Флегонта Гаврилыча, Ванятка крикнул:

— Готово, идемте!

Флегонт Гаврилыч вздрогнул, поспешно допил кружку и, обратясь к Ванятке, спросил:

— А Василий где?

— Он там на берегу ждет.

— Ладно. Все взял?

— Все.

— И свистки и дудочки?

— Все, и яиц, и пирога кусок.

И потом, подавая поддевку, Ванятка добавил:

— А вот это вам хозяйка прислала. Приказала пальто снять, а поддевку надеть. А то, говорит, последнее пальтишко издерет, по кустам-то всяким лазимши...

Флегонт Гаврилыч даже вспыхнул.

— Ну, ну! — вскрикнул он.— Ты у меня не забывайся. Мне и в пальто хорошо будет. Я и сам знаю, меня учить поздно. Брось поддевку, отдай хозяину, пусть спрячет.

Ванятка ухмыльнулся, но все-таки поспешил исполнить приказание хозяина.

— Ну-с, пожалуйте-с! — проговорил Флегонт Гаврилыч, сконфуженный приказанием жены.— Пожалуйте-с... Так соловушка принести-с? — спросил он, обращаясь к мрачному господину.

— Да, милочка, принесите.

— И овсяночку-с?

— И овсянку.

— Слушаю-с. А затем до свиданья!

И, поправив свой туалет, он, как-то подпрыгивая и словно танцуя, направился к двери, на все стороны раскланиваясь своим знакомым.

Я расплатился за пиво; Ванятка подхватил мой сверток с «ковриком, подушечкой и одеяльцем», и немного погодя мы были уже на берегу Волги, где и встретили ожидавшего нас Василия. Он успел уже на-

нять лодку, которую и причалил к исадам*. Я сел в середину, Флегонт Гаврилыч на корму с рулевым веслом, а Ванятка с Василием поместились спереди и, взяв две пары весел, отчалили от исад. Волга была в разливе, шла камская пена, и течение было так быстро, что мы с трудом подвигались против, направляя лодку к Зеленому острову.

III

Весной, когда Волга разливается, словно море, на далекое пространство затопляя луговую сторону; когда слобода Покровская со своими церквами, высокими раскидистыми ветлами кажется словно плавающим городком; когда заходящее солнце уходит не за материк, а тонет в море разлива, обагряя запад пурпуром, Зеленый остров представляет собою одну из самых великолепнейших картин. Молодые зеленые перелески, обширные луга, пестреющие цветами, запах ландышей и фиалок, несколько рыбачьих землянок, в которых можно достать и самовар, и рыбу, и молоко, сотни соловьев, оглашающих воздух трелями,— все это, вместе взятое, манит на Зеленый остров, превращая его в волшебный уголок любви и поэзии.

На северной стороне острова, параллельно берегу, возвышается так называемая «Сухая грива» — песчаный вал, образовавшийся от прибоев воды. То возвышаясь, то понижаясь, грива эта тянется на далекое пространство и, покрытая деревцами осокори, дикорастущими вишнями, кустами черемухи, калины, шиповника, клена, представляет собою самый роскошный притон для соловьев и других пернатых певунов. Вечерними и утренними зорями перелески эти оглашаются тысячами голосов, покрываемых могучими и звучными трелями соловья. Можно подумать, что птицы всего мира собрались сюда и, собравшись, порешили воспеть красоту весны. Вы стоите на этой «гриве», на одном из самых возвышенных ее курганов, внимаете концерту пернатых, а между тем перед вами, кругом вас и повсюду раскидываются картины одна другой грандиознее, одна другой живописнее. Прямо — целое море во-

---

* Исадами называются садки с живой рыбой. (*Прим. И. А. Салова.*)

ды, со стоном плещущей о нагорный берег. Это море освещено закатом солнца, и в огне его чернеют чуть заметными линиями лодочки, шлюпки, душегубки; белеют паруса, снуют пароходы и, оглашая воздух стоном колес, кажутся гигантами среди лодок и косулей [3]. Звучные песни, иногда даже целые хоры долетают до нас с этого огненного моря, и вы слушаете не наслушаетесь их. Но вот солнце утонуло, огонь потух, море подернулось легкой рябью; вы смотрите направо — и перед вами амфитеатром возвышаются гряды своеобразных гор, одна другой живописнее. Горы эти, пестреющие обвалами, садами, зеленью, перелесками, непрерывной цепью тянутся на юго-восток и кончаются так называемой Увекской горой, чуть синеющей на прозрачном горизонте. Гора эта, спускающаяся острым мысом, далеко врезавшимся в зеркало воды, невольно восхищает вас своею причудливостью и вместе с тем легкостью своего контура. Что-то весьма похожее на эту гору видел я в Ницце, на берегу Средиземного моря, в стороне к каналу. Так же, как и здесь, горы расположены там амфитеатром и кончаются горой, похожею на Увекскую; только нет здесь того маяка, который возвышается там, на той горе, и горит яркой звездой во мраке ночи.

С наступлением ночи картина изменяется. В одном из углублений горы вы видите тысячи огней — это Саратов. Перед ним возвышаются целые леса мачт, и на мачтах этих дрожат сигнальные огоньки. Черные трубы пароходов грохочут, выбрасывая фонтаны искр. Зеленый остров словно окутан мраком, но он еще не заснул, ибо разложенные костры пылают здесь и там, и от костров этих долетают до вас и шумный говор и веселые песни приехавших на остров саратовцев. Толпы гуляющих рассыпаются по острову, и далеко за полночь слышатся еще и говор, и песни, и треск костров, и шепот влюбленных, и звук поцелуя...

Мы подчалили к острову часов в семь вечера. Передав на сохранение рыбаку свои вещи, мы с Флегонтом Гаврилычем пошли в глубь острова. Миновав землянку рыбака, перерезав наискось обширную поляну, покрытую молодою, сочною зеленью, и достигнув наконец «Сухой гривы», мы пошли по ее опушке, поминутно останавливаясь и прислушиваясь к пению соловьев. Так как мы с Флегонтом Гаврилычем были

только вдвоем и так как все наши сетки, свистки и дудочки находились у Ванятки и Василия, оставшихся при лодке, то я положительно не мог понять, для чего именно выслушиваем мы всех этих соловьев, не имея возможности ловить их. Флегонт Гаврилыч шел «передом», а я следовал за ним. Забыв на этот раз про свои височки и не обращая даже ни малейшего внимания на то, что одна панталона была у него за голенищем сапога, а другая наружи, он весь как бы обратился в слух и сосредоточенность. Он едва переводил дыхание, словно замирал, сгибался, ступал неслышно, останавливался, что-то высматривал в кустах; когда приходилось кашлять, то поспешно накрывал рот полою пальто и сердито махал мне рукою, когда мне случалось чем-либо нарушать тишину. Мне было даже страшно как-то обратиться к нему с вопросом: что мы делаем? Так прошли мы версты две. Наконец Флегонт Гаврилыч остановился, снял с себя фуражку, отер пот со лба, поправил височки и, вынув из кармана окурок «цигарки», проговорил с улыбкой:

— Слава богу-с!

— Что? — спросил я.

— Ничего, слава богу... есть-таки!

И, чиркнув по штанам спичкой, закурил «цигарку».

— Послушайте,— проговорил я,— объясните мне, пожалуйста, для чего мы пришли сюда?

— Как для чего-с?

— Да так, я не понимаю. Как же будем мы ловить соловьев, когда сетки наши остались на берегу?

— Мы будем ловить их утром-с.

— А теперь что мы делали?

— Теперь мы выслушивали-с и выбирали-с, которые получше поют. А завтра придем и возьмем их-с. Нельзя же ловить, не послушавши соловья; этак такого хлама наловишь, что стыдно людям показаться. Однако давайте присядем, отдохнем...

Мы присели.

— Слышите вон того соловья, который сейчас в той черемухе поет? — проговорил он, указывая на большой куст черемухи, возвышавшийся среди кустов калины.

— Почему же вы знаете, что он именно в черемухе?.. Тут много и других кустов.

— Я слышу-с, я знаю-с... Ну-с, так вот этого соловья и ловить-то не стóит-с, потому трещит слишком

и вдобавок старых песен. Любой дьячок приятнее его пропоет.

— Это что значит «старых песен»?

— Очень просто-с! — проговорил Флегонт Гаврилыч, снимая фуражку и бросая ее на землю.— Есть соловьи старых песен, которые по-старому поют, и есть новых песен, которые поют по-новому...

— Неужели и соловьи тоже совершенствуются?..

— А как же-с! — поспешно перебил меня Флегонт Гаврилыч.— Соловьи новых песен и поют лучше, и ценятся дороже. Мало ли какие есть соловьи! Есть «ночники», которые поют по ночам, есть «утренники», которые поют по утренним зорям. Ночники тоже ценятся дороже утренников. Как можно-с! Есть соловьи пролетные, которые только пролетом попадают сюда; нынче осыплет, а завтра пропадет, а есть «местовалые», которые по нескольку лет кряду прилетают на одно место и детей выводят. Вот, к примеру, возле той землянки, к которой мы причалили, есть соловей в орешнике, уж он лет семь подряд сюда прилетает и сейчас опять здесь... За это самое мы его и не тревожим даже. Пущай себе поет!

— Почему же вы знаете, что это тот же самый?

— По пению-с.

— Мне кажется, они все на один лад поют.

Флегонт Гаврилыч даже расхохотался над моим невежеством.

— Как это возможно, помилуйте-с, господь с вами! У всякого соловья есть в пении какое-нибудь особенное колено, своя ухватка. Иной соловей весь «в дудках»-с, а иной «на свистах стоит»! И дудки и свисты опять-таки разные. У одного, к примеру, есть «кукушкин перелет», — это самое лучшее колено считается, у другого «юлиная стукотня», этак: тью-тью-тью, как птичка юла свистит; иной «пленькает», иной «дробит», а другой, наоборот, «раскатом» берет. Как пустит этак: трррррр... да вдруг: тью-тью и в «лешеву дудку» потом. Вот у соловьев-то новых песен все эти колена есть, и выходят они у них чисто, аккуратно, отчетливо-с...— И, вздохнув, он прибавил:— Только очень мало их было.

— Кого это?

— Да самых этих соловьев новых песен. За всю весну только троих господь и привел поймать!

— Может быть, еще поймаете.

— Нет уж, поздно-с. Теперь пошел соловей старых песен, значит, пролет кончился, шабаш!..

— Как это вы все замечаете!

Флегонт Гаврилыч даже улыбнулся от удовольствия.

— Пора научиться! — проговорил он.— Тоже годков пятьдесят — побольше занимаемся этим делом.

— Ах, в прошлом году пролет был хорош! — продолжал он с каким-то упоением.— Ах, как был хорош! Особливо один соловей уж больно хороший попался. Так выделывал «кукушкин перелет», что заслушаться надо... Соловей был во всей форме: плечистый, нос толстый, глаз навыкате и большущий, на высоких ногах. Прозимовал у меня, а весной один купец отбил. «Ну, говорит, снимай с меня все, только крест оставь, соловья отдай». Не поверите, даже слеза прошибла, когда самый этот купец приехал за ним! Словно осиротел я, словно детища родного лишился. Кабы не нужда, кажется, ни за что бы не расстался. А тут пасха подошла, деньги нужны были, у детишек обувь поистрепалась, жене надо было обновочку сшить... так и продал!

— И дорого взяли?

— Что там! Полусотку всего!

— Неужели пятьдесят рублей? — почти вскрикнул я.

— Гм! Так разве за такого соловья столько бы следовало?! Будь это в Москве аль в Питере... Ну-ка, подите-ка, попытайте-ка теперь у купца перекупить. Разве пьяным напоите, да и то меньше пятисот не отдаст. Ох и помучил же меня только этот самый соловей! Целых пять ночей подряд сидел под ним. И западками и сетью ловил. А держался он, надо вам доложить, на самом краю крутого-прекрутого оврага... Осыплешь, бывало, куст сетью, начнешь загонять — вершинит тебе, да и шабаш.

— Это что значит — «вершинит»?

— Это называется, когда соловей не по земле бежит, а по вершинкам перелетывает; сеть-то ведь внизу расставляется, по этому самому вершинника и трудно изловить. Уж чего я ни делал: и самкой-то свистал, и палочками-то старался его на землю согнать, и приваду-то сыпал — нет, не опускается, да и на́-поди. Заберется на самую макушку да там, подлец, и заливает-

ся. Лихорадка даже сделалась. Бывало, он там поет, а я внизу валяюсь, зуб на зуб не попаду, даже подрался из-за него с одним портным, который тоже было под него подбираться вздумал; да спасибо, ястреб помог... Хоть и расшибся я, а все-таки изловил...

— Как же вы расшиблись-то?

— А вот как-с! Кобёл[4] черемухи рос на самой-то круче, кобёл отличный, раскидистый, и местечко сплошное такое, «убивистое» было, а рядом с черемухой осинка, да такая тонкая, высокая и прямая, как конопля... И заметил я, что с самой этой осинки соловей слетает на верхушку черемухи и, не падая на землю, перелетает на другой берег кручи. Вот я взял и осыпал черемуху-то сеткой, залег у сетки, а Ванятку с Василием загонять послал. Пригнали живо, вижу, сел на самую макушку осинки и затопился... Я лежу, а самого лихорадка так и треплет, зубами щелкаю, весь ходенем хожу, а он-то, подлец, сидит да разливается! Что тут делать? Палочкой в него бросить — боюсь, спугнешь... уж сколько раз так-то спугивал. Лежу да терзаюсь, плачу даже... Вдруг откуда ни возьмись ястреб! Соловей встряхнул крылышками, да с осинки-то шмыг на кобёл, а с кобла на землю, прыг, прыг, да в сетке и запутался!.. Я так со всех ног и бросился, схватил его, да как вдруг с кручины-то сорвался, да вниз и загрёмел... Всю рожу ободрал... Лечу это, а сам только руку кверху держу, чтобы как ни на есть соловья-то не убить,— о себе-то не думаю! И точно. Соловья сберег, а сам расшибся, как нельзя лучше! Целых три недели вздохнуть не мог, в постели лежал, повернуться нельзя было. Спасибо, уж пиявками оттянули!

— Помню, помню! Как не помнить! — раздался вдруг чей-то голос позади нас.— Все за меня бог наказал!..

Мы обернулись и увидали молодого человека с испитым зеленоватым лицом, в коротеньком пиджаке и палевых панталонах, засученных за голенища сапог.

— И поделом! — продолжал он.— Не дерись вперед! Шуточное ли дело, как меня избил тогда!

— А! Владимир, здравствуй,— вскрикнул Флегонт Гаврилыч.— Что, аль тоже за соловьями?

— Нет, перепелятничать вздумал!

— Будет тебе врать-то!

— Чего мне врать!

— Уж беспременно выслушивать ходил.

— Ей-богу, нет... У меня и снасти-то перепелиные. На, смотри...— и он вытащил из мешочка сети и перепелиную дудку.— Да что! Перепелов-то нет. Мамакнул один, и шабаш. Подманивал-подманивал — так и не отозвался, словно в землю ушел. Что-то и дудка-то хрипит.

— Ну-ка, покажи!

Молодой человек подал дудку.

— И то хрипит! — заметил Флегонт Гаврилыч, ударив раз десять дудкой.— Засорилась — вот и все. У тебя иголки нет?

— Нет, кажись,— проговорил молодой человек, осмотрев лацкан пиджака.

— А еще портной! Иголки при себе не имеешь!

— Постой, может, в игольнике нет ли...

И молодой человек принялся шарить в карманах, причем выронил какую-то косточку, при виде которой Флегонт Гаврилыч вскрикнул:

— Стой! А это что?

— Что такое?

— Нешто с этим за перепелами ходят?

Портной расхохотался.

— Что же ты врешь-то? Чего глаза-то отводишь! — кричал Флегонт Гаврилыч, держа в руках косточку.— И где за перепелами с соловьиными дудками ходят! Эх ты, сволочь!

— Да это я так только...

— Заговаривай, заговаривай зубы-то!

— Ей-богу же!

— Будет, будет грешить-то!.. Ну, чего лжешь-то!

— Да право же, лопни мои глаза...

— Зачем же дудочка соловьиная?

— Да так, в кармане завалялась. Чудак-голова! Да она и не свистит даже.

Флегонт Гаврилыч приложил дудочку к губам и, убедившись, что она не издавала никаких звуков, успокоился совершенно.

— И то правда! — проговорил он не без удовольствия.— Не свистит...

— То-то и дело. Говорю, за перепелами. Я бы нешто не сказал... Чего скрываться? Я уж учен тобой...

— Ну-ну. Кто старое помянет, тому глаз вон!

— Да я так, к слову. Только счастье твое, что я в те поры сам-друг был, а то бы я тебя изуродовал...— И, подав Флегонту Гаврилычу иголку, он добавил:— На-ка! Нашел...

— Далеко ходил? — спросил Флегонт Гаврилыч, прочищая перепелиную дудку.

— Да так, к ольхам прошел. Устал, смерть. Хочу домой в Саратов ехать.

— Соловушки-то есть?

— Есть, да плохи: трещат, подлецы!..

Флегонт Гаврилыч ударил в дудку и, передавая ее молодому человеку, проговорил:

— На, бери... теперь не хрипит.

Молодой человек поблагодарил Флегонта Гаврилыча, а немного погодя встал, распростился и, объявив, что сейчас едет домой в Саратов, скрылся за кустами.

— Это кто такой? — спросил я.

— А тот самый портняжка, которого я в прошлом году побил. Так, сволочь, шушера. Однако сидеть-то нечего, довольно отдохнули... пойдемте-ка дальше. Портняжка и говорит, положим, что ни одного путного соловья не слыхал, да ведь ему верить-то тоже с опаской надо. Как раз обманет, подлец.

— А это разве случается у вас?

— Обманы-то?

— Да.

— Еще бы! Мы друг другу ни за что правды не скажем.

Мы встали.

— Папиросочки не одолжите-с?

— С удовольствием.

Я подал Флегонту Гаврилычу портсигар, из которого он и вынул штук пять папирос и, положив их в свой собственный, который, по словам его, он забыл дома, предложил идти дальше.

Не было, кажется, ни одного куста, ни одного дерева, ни одного кобла, из которого не вылетали бы соловьиные трели. Словно весь лес обратился в звуки и звучал каждой веткой, каждым листком. Мне никогда не удавалось слышать такого изобилия соловьев. Я слушал и восхищался, тогда как Флегонт Гаврилыч, наоборот, шел и ругался: «Ишь трещит, подлец! Хоть бы один путный попался. Ну, чего трещишь-то! Чего трещишь!..»

Мы вышли на полянку, окруженную лесом, и вдруг увидали прогуливавшуюся парочку; молодого человека в шелковом летнем костюме и в соломенной шляпе и молодую же дамочку в малороссийском наряде, со множеством бус на шее и с изящно повязанным платочком на голове. Они шли, чуть не обнявшись. Молодой человек что-то нашептывал своей даме, а дама слушала его, опустя голову. Мы шли сзади и потому долго оставались незамеченными.

— Ишь как рассыпается, подлец! — шепнул Флегонт Гаврилыч, подмигнув глазом.

Мне сделалось неловко, и, чтобы дать знать им о присутствии посторонних, я громко кашлянул. Дама вздрогнула, отскочила в сторону; молодой человек оглянулся и, увидав нас, быстро выхватил из-под мышки книгу и громко прочел:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья..

— Соловьятники тоже! — сострил Флегонт Гаврилыч, толкнув меня локтем.

Мы обогнали гулявших и вскоре скрылись от них за кустами черемухи. Но я шел и мысленно доканчивал начатое молодым человеком стихотворение:

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы —
И заря, заря!..[5]

Вдруг Флегонт Гаврилыч подпрыгнул, вздрогнул, остановился, махнул мне рукой и, упав на землю, словно замер. Глядя на него, прилег и я. Перед нами возвышалась группа ольховых деревьев с серыми, грязными стволами, с кочкарником и высокой прошлогодней осокой, а из ольх разлетались во все стороны роскошные, могучие трели соловья. Здесь пел только один соловей; здесь, кроме него, не было ни единой птицы; но, прислушиваясь к соловью этому, я понял, чего именно добивается Флегонт Гаврилыч. Я не мог отличить ни «юлиной стукотни», ни «кукушкина перелета», но понимал, что соловей этот не похож на тех, которых слышал я прежде. Старик даже шапку снял и так без шапки пролежал все время.

— Слышали-с? — спросил он наконец, вставая и подойдя ко мне.

— Слышал.

— Вот этот — настоящий-с!

IV

Совершенно уже стемнело, когда возвратились мы к землянке рыбака. Первое, что бросилось мне в глаза,— это небольшой стол, вокруг которого сидела компания, состоявшая из трех лиц, а именно: лысого господина, довольно тучного, одетого в парусинное пальто, и знакомых нам молодого человека в соломенной шляпе и молодой женщины в малороссийском костюме. На столике, освещенном грязной керосиновой лампой, стоял самовар, и вся компания пила чай.

— Хорошо, чудесно, превосходно! — кричал лысый толстяк, размахивая руками.— Что за ночь! что за воздух! что за ароматы! Что может сравниться с этой ночью? В каком клубе будет так вкусен чай? Только здесь и можно дышать! Только здесь и чувствуешь, что живешь... А соловьи-то! Ну, жена! — прибавил он, обращаясь к интересной малороссиянке.— Спасибо, что подняла меня, что вытащила меня сюда... Сам я никогда бы не собрался! Спасибо и тебе, племянничек, что поехал с нами... Ну, что, нагулялись ли?

— Отлично! — проговорил молодой человек.

— А я все сидел и удил рыбу. Однако вы долгонько-таки гуляли.

— Мы заплутались! — заметила молодая дамочка.— Зашли бог знает как далеко. Ну, что, господа, будете еще пить чай?

— Нет, спасибо, я сытехонек.

— А вы, Валериан Иваныч?

— Merci, ma tante *, я больше не стану.

— Пей еще! — вскрикнул толстяк.

— Не хочу, дядюшка, благодарю. Больше двух стаканов я никогда не пью.

— Ну, как хочешь; после не пеняй!

И потом, вскочив со стула, он вдруг заговорил, размахивая руками:

— Ну-с, а теперь в лодку! В Покровское! Там поужинаем, переночуем, а завтра утром опять сюда! Я буду удить рыбу...

* Спасибо, тетя (франц.).

И потом, вдруг как будто вспомнив что-то, он поспешно проговорил, ударив себя по голове:

— Ах да! Ведь я и забыл сообщить вам, что осетры утащили у меня удочки...

— Как это? — вскрикнули почти одновременно и тетушка и племянник.

— После, после, расскажу доро́гой, а теперь в лодку!.. Эй вы, гондольеры, гребцы! Где вы?

— Здесь! — послышались с берега голоса гребцов.

— Ну, идемте же! Я опять буду рулем править, а вы по-прежнему можете сидеть сложа ручки и любоваться луной. Ах, что за ночь! Как легко и просторно!.. Эй, гребцы, гондольеры, давай лодку!

И затем на берегу реки послышалось сопение, потом стук сапогов в лодке, всплеск воды и напоследок голос толстяка:

— Ну, уселся, слава богу... Ну, племянничек, сажай тетушку!

Все уселись, и толстяк запел:

Вниз по матушке по Волге...

— По широкому раздо-о-лью! — подхватили молодые люди.

И лодка, всплескивая веслами, полетела по разливу.

Между тем Флегонт Гаврилыч, Василий и Ванятка успели развести костер, приладить котелок и купить рыбы. Рыбу, конечно, они купили на мой счет. В ожидании ухи я закурил сигару, разостлал ковер и прилег неподалеку от костра. Ночь была действительно чудная; ни малейшего ветра; воздух дышал ароматами и звучал таинственными звуками, присущими лесу и воде. То слышался какой-то грохот, то шелест, то вдруг все замирало, застывало, умолкало. Плеснет где-нибудь весло, зазвучит песня; набежит волна, загремит серебром, зажурчит и снова замрет; а там опять грохот, опять шелест. Небо, усеянное звездами, сыпало лучи фосфорического блеска. Плыла луна и, освещая окрестность, серебрила струйки воды. Словно блестящей чешуей покрывала она эту воду; а соловьи все не умолкали и по-прежнему стонали и рокотали в соседних кустах! Чудная, волшебная ночь! В землянке светился огонек. Там старуха убирала самовар и чашки. Кудластая собачонка вертелась возле стола, подбира-

ла упавший хлеб, ворчала и огрызалась на другую желтенькую собачонку, стоявшую поодаль. Подобрав всё, что только можно было подобрать, и ни единой крошкой не поделившись с желтенькой, кудластая наконец облизалась, фыркнула и, как ни в чем не бывало, принялась заигрывать с желтенькой. «Собачья дружба!» — подумал я. Вдоль берега острова и на противоположном берегу горели костры, доносился говор, слышались песни. Изредка взлетали ракеты, огненным змеем поднимались кверху, лопались и рассыпались разноцветным дождем. Вспыхивали бенгальские огни и разливали вокруг себя то зеленый, то багровый, то белый свет. Лодки приплывали и отплывали. Все это были маленькие пикнички, маленькие кружки людей, приехавших на остров пожить, повеселиться. «Елизавета Яковлевна! Елизавета Яковлевна! — кричал кто-то.— Где вы? Идите сюда, давайте щекотать друг друга!» И вслед за тем — визг, хохот и крики...

Но все это нисколько не занимало моих соловьятников. Напротив, Флегонт Гаврилыч даже слегка обругал Елизавету Яковлевну, осудил, что люди даже «под воскресенье (дело было в субботу) не брезгуют такими делами», и, сурово нахмурив брови, стоял себе на коленях перед котелком, снимал накипавшую пену и изредка пробовал свою стряпню. Смотря по надобности, он подсыпал в уху то перцу, то соли, то бросал лавровый лист. Василий и Ванятка торчали на корточках и, ломая набранные сучья, подбрасывали их под котелок. Огонек то замирал, то вспыхивал и, вспыхнув, охватывал черный котелок огненными языками. Освещенные огнем лица их ярко рисовались на темном фоне. Попахивало дымком и ухой.

Разговор у них, как и следовало ожидать, шел о том соловье, которого мы только что слышали в ольхах.

— Неужто лучше прошлогоднего? — любопытствовал Василий.

— Куда! Далеко не родня!

— Лучше?

— Аккуратнее. Тот все-таки торопился маленько: колена не окончит как следует и сейчас, бывало, за другое... а этот нет. Мы прямо за него и примемся.

— А мой совет — прежде Сухую гриву взять.

— Ну! Я знаю тебя! — вскрикнул Флегонт Гаврилыч.— Уж ты завсегда по-своему. А я говорю, в Ольхи.

— Да куда торопиться-то? Нешто он от нас уйдет? Небось рук наших не минует. А я вам вот еще что скажу: рано-то вы его и не возьмете даже! Это верно-с!

— Почему так?

— А потому, что соловей по зорям «вершинит» завсегда. Взойдет солнышко, он на половине дерева поет, а как обогреет, как пойдет муравей и козявка, так он сейчас на землю падает, кормиться начинает. Вот тут и бери его.

— А как опередит кто?

— Кому же опередить! Сами же говорили, что, окромя портняжки, никого не встретили, да и тот, говорите, в Саратов уехал.

— Так-то так. Ну, а все-таки «заломов» * много видел.

— Заломы — наплевать. Заломы — дело поконченное. Нет, по-моему, так: завтра встанем и — господи благослови! — прямо на Гриву. Захватим там «утренничков», которые нам понравятся, да так этим самым трактом и к Ольхам. В Ольхи придем мы, значит, часам к пяти... самое время и будет...

— Ну, смотри, подлец! — вскрикнул Флегонт Гаврилыч.— Коли по твоей милости да прозеваем соловья этого, я тебе в те поры вихры-то выдеру.

Василий снисходительно улыбнулся, а Ванятка залился хохотом.

— Подстричь, значит, хотите! — проговорил он.— Это не мешает, а то больно уж длинны стали.

И, помолчав немного, Флегонт Гаврилыч заговорил:

— А у Павла Осипыча соловей-ат наш околел. Самки, говорит, хватил, верно!..

— Ну, да, самки! — подхватил Василий.— Попал пальцем в небо. От мух он околел, а не оттого, что самки хватил. Яиц у них не было, они и насыпь в клетку мух сухих, да еще вдобавок воды забыли поставить. А то самки!

— Ну?

— Верно говорю, ведь я был, видел...— И потом, весело засмеявшись, Василий добавил, покачав кудрявою головой:— И потешные только!

* Когда куст осыпается сеткой, то ветви, более выдающиеся, заламывают, чтобы не мешали,— это и называется «заломами». (*Прим. И. А. Салова.*)

— А что?

— Да как же! Захворал соловей, пришла барыня и давай его в воде да в водке купать. Купает, а сама плачет да приговаривает: «Что с тобой, соловушек? Что с тобой, голубчик мой, что сидишь не весел, что крылышки повесил?». Я говорю: «Запор с ним, сударыня, тараканами бы его живыми покормить, прочистило бы, может!..» Послали за тараканами, всех соседей обегали — нет нигде... Вот барыня и давай из него мух выдавливать. «Я, говорит, раз так-то одного спасла!» Давила-давила да до смерти и задавила...

— Чудаки! — подхватил Ванятка.

И хохот всех трех соловьятников огласил окрестность.

Мы поужинали. Я постлал себе ковер в лодке и улегся, но Флегонт Гаврилыч не скоро еще заснул. Увернувшись в свое пальто (теперь, по всей вероятности, он пожалел, что не взял присланной ему ваточной поддевки) и подложив под голову мешок с сетками, он долго еще толковал про соловья в Ольхах, пересыпая свою речь «пленьканьем, пульканьем, гусачком, стукотней, перелетом» и другими коленами соловьиного пения. Он рассказал даже про встреченную нами парочку, а шустрый Ванятка, все время находившийся при лодке,—про лысого господина, так восторженно восхищавшегося красотою ночи.

— Чего же он тут делал-то? — спросил Флегонт Гаврилыч.

— Все удил! — ответил Ванятка, заливаясь смехом.— Ох и чудак же только!..

— А что?

— Сел это удить... удочки щегольские, дорогие... сел, а рядом бутылку поставил.

— Ну?

— Ей-богу. Сидит да пьет прямо из горлышка. Выпил всю бутылку, захмелел, видно, и заснул. Я вижу, что спит барин, подкрался, собрал удочки, да там вон, в те кусты, и припрятал.

— Ну?

— Проспал он этак с час, должно быть, потом проснулся и давай глаза протирать. Меня крикнул. «Ты, говорит, не видал моих удочек?» — «Нет, говорю».— «Что, говорит, за оказия! Куда ж они девались?» — «Не знаю, мол, тут, кажись, никого не было. Разве осетры,

говорю, не утащили ли?» Мой барин даже глаза вытаращил. «Нешто, говорит, это бывает?» — «Даже, говорю, очень часто случается!» Потом слышу, рассказывает барин рыбаку: «Вообрази, говорит, любезный, какой случай! Осетры у меня удочки утащили!»

— А удочки-то хороши, говоришь? — спросил Василий.

— Первый сорт! Удилища камышовые, лаком покрыты, поплавки пестренькие...

Но Флегонт Гаврилыч остановил их и, прислушиваясь к соловью, певшему за землянкой, к тому самому, который семь лет кряду прилетает сюда, проговорил:

— Однако и у старика кукушкин-то перелет ловко выходит!

— Еще бы! — заметил Василий.

— Ишь как высвистывает, вишь как!.. А вот и застукал... Слышь, как выбивает?

«Тю, тю, тю, тю, тю, чау, чау, чау, чау!» — раздавалось в воздухе.

— Чаво, чаво! — передразнил его Ванятка.— Изловить тебя — вот ты узна́ешь тогда, чаво нам надоть!..

Но в ушах у меня начинало путаться, веки закрывались. Где-то взвилась ракета, откуда-то доносилось хоровое пение. Какая-то компания подъехала на лодке: дамы, мужчины. Один из мужчин, высокий, плечистый, в черной шляпе с громадными крыльями, стоял на носу лодки и, подняв руку, приветствовал остров монологом из «Капитана Гаттераса»[6].

Мне послышался хохот, женские голоса. Флегонт Гаврилыч опять что-то проворчал о «кануне праздника, дня воскресного». Кто-то крикнул: «Самовар, молока!» — пахнуло сигарой, зашумели дамские платья. Но что именно происходило около нас — я не сознавал. Какая-то истома овладела мною, зрачки словно дрожали. Я укрылся «одеяльцем» и, укачиваемый лодкой, вскоре заснул.

V

— Сударь, а сударь! Вставайте, пора! — говорил Флегонт Гаврилыч, нагнувшись надо мной, слегка толкая меня в плечо.— Пора, вставайте.

Я открыл глаза и увидал над собою голову Флегон

та Гаврилыча, рисовавшуюся на сером фоне утреннего неба. Заря чуть занималась.

— Вставайте, сударь, пожалуйста, вставайте,— время упустим.

Я зажег спичку, посмотрел на часы,— было четверть третьего.

Как ни трудно было расставаться с нагретым ложем, однако делать было нечего. Я вскочил с постели, поспешно свернул ее, подошел к берегу, умылся, намочил голову и только тогда почувствовал, что я проснулся. Василий, Ванятка и даже сам Флегонт Гаврилыч были уже в полном вооружении. У каждого из них висели за спиной мешочки с сетками, а за поясом заткнуто по одной бичайке. Флегонта Гаврилыча нельзя было узнать. Проникнутый важностью наступающей минуты, он сделался суетливым и раздражительным. Он сердился на Ванятку, что тот ни свет ни заря грызет сухую воблу; на Василия — за его сонные глаза, даже на меня, находя, что я недостаточно скоро встаю и умываюсь.

Наконец все было готово. Флегонт Гаврилыч снял фуражку, перекрестился на восход и проговорил:

— Ну благослови, господи, в час добрый!

Василий и Ванятка сделали то же, а глядя на них и я. Мне очень хорошо известно, что, раз попавши в компанию каких бы то ни было охотников, необходимо проделывать все то, что проделывают они сами: иначе всякая неудача будет приписана вашему присутствию — и ничему другому. Справившись еще раз, все ли взято, Флегонт Гаврилыч во главе зашагал по направлению к Сухой гриве. Пройдя землянку, я увидал целую компанию мужчин и дам, спавших на разостланных коврах.

— Ведь мы всю ночь не спали! — проговорил Флегонт Гаврилыч.

— Почему?

— Да вот по милости этих! — вскрикнул он, указывая на спящих.— Неужто вы ничего не слыхали?

— Ничего.

— А ведь что проделывали-то! И пьянствовали, и кричали, и песни пели, и через костер прыгали, а под конец начали фейерверки пускать, как есть возле нас. Я кричу им: «Помилуйте, господа, тут люди спят, благородный человек имеется, что вы делаете, ведь вы

спалите нас!..» А они только хохочут! Это под праздник-то! Как вам понравится! А теперь вон валяются!"

Когда мы достигли Сухой гривы, начинало уже светать. Флегонт Гаврилыч с Ваняткой и Василием пошли выслушивать соловьев, а мне посоветовали остаться здесь и ожидать их возвращения. Я опустился на траву и прилег. Утро было прелестное, теплое, так что я, одетый в легонький пиджак, не чувствовал ни малейшей свежести. Вокруг меня задорились сочные ландыши, белые, словно восковые, колокольчики которых наполняли воздух запахом горького миндаля. Пахло еще тополем от распускавшихся почек осокори. Я сорвал одну почку, растер ее пальцами... от нее так и пахло душистым тополем. Молодая, зеленая трава, успевшие отцвесть подснежники и фиалки, словно ковром, укрывали рыхлую лесную почву. Маленькие муравьи суетливо кишели вокруг, перелезали через листочки, копошились, хлопотали, взбирались на меня и, взобравшись, словно удивлялись и не могли сообразить, куда они попали и что именно лежит под их крохотными ножками. Словно распростертый сказочный богатырь, был я между ними и наводил на них ужас. Как раз надо мною черемуха раскидывала свои ветки. Она вся была покрыта только что распустившимися листочками, не успевшими еще достигнуть нормальной величины. Прошло минут десять, как вдруг что-то хрустнуло, зашумело, послышался веселый говор, раздались чьи-то шаги, шелест платья. Я приподнял голову и опять увидал знакомую нам парочку, так удачно прозванную «соловьятниками». Лысого толстяка с ними не было. Они прошли мимо, не заметив меня, и вскоре скрылись из виду. «Скоро же возвратились они из Покровского!» — подумал я. Соловьи так и заливались надо мной. Один пел как раз на той черемухе, под которой я лежал. Я глядел на соловья и убеждался, что, действительно, на заре они поют по вершинам, а по мере приближения солнечного восхода спускаются ниже и ниже. Мой соловей начал петь с макушки черемухи, а теперь спустился настолько низко, что я, кажется, мог бы достать его рукой.

Но я лежал неподвижно и, притаив дыхание, слушал и восхищался.

— А ведь соловушек-то добрый! — послышался в кустах чей-то шепот.

— Добрый.
— Вишь как заливается!
— Давайте-ка его маленько потревожим.
— Не поймаешь, пожалуй, рано еще.
— Вона! Трое таких лодырей, да не поймают!..

Шепот замолк, послышался треск... соловей перепорхнул, исчез и замолк.

— Кто там? — спросил я.

Но треск раздался еще ближе, и вместо ответа я увидал перед собою Флегонта Гаврилыча, Василия и Ванятку.

— Пятерых выслушали и облюбовали-с! — проговорил Флегонт Гаврилыч и, сняв фуражку, поправил височки.— Ничего и этот, что над вами пел! Торопится маленько, а все-таки ничего-с...

— Неужели вы будете ловить его?

— А как же-с! Если такими соловьями брезгать, так кусакать нечего будет-с,— сострил Флегонт Гаврилыч и остротой этой возбудил общий хохот.

— Ну, заржали,— вскрикнул он.— Что, аль хотите совсем напугать соловья-то?

Василий с Ваняткой развязали мешочки, вынули две сети, связанные из тонких суровых ниток, «осыпали» ими ту самую черемуху, под которой я лежал и на ветках которой только что распевал свободный певец лесов.

Мне стало как-то жутко, как-то жаль певца. С какою-то злобой смотрел я на эти сети, висевшие на черемухе, и молил судьбу о спасении соловья.

— Этот шиповник проклятый! — бормотал между тем Василий, развешивая сеть и пролезая через кусты шиповника.— Они, сволочь, хуже всего.

— Ну, ну, скорей, скорей! — торопил их Флегонт Гаврилыч.

Умолкнувший было соловей снова «защелкал, засвистал»[7] на возвышавшейся неподалеку березке, и чувствовалось мне, что песнь эта была последней его свободной песнью.

Сеть была развешана.

— Ну,— проговорил Флегонт Гаврилыч шепотом,— ты, Ванятка, стой здесь возле сети и посвистывай, а мы с тобой, Василий, загонять пойдем.

— Куда же мне-то деваться? — спросил я.

— А вы пожалуйте вот сюда, за этот куст спрячь-

тесь... Вам будет все видно-с... И сеть, и соловья, и как он побежит-с... Ну, идем, Вася!

Я стал на указанное место и — странное дело — был сам не свой. Сердце сжималось, дрожь пробегала по телу. Мне было нехорошо, жутко, тяжело... Раздался чуть слышный свист Ванятки. «Сю-сю, сю-сю, сю-сю!» — свистал он, подражая самке; раздался легкий треск под ногами загонщиков; соловей замолк, и тишина водворилась крутом, да такая тишина, как будто все замерло и притаилось.

Я слышал, как стучало мое сердце, как дрожал надо мною прошлогодний сухой лист на ветке дуба. Я притаил дыхание... «Сю-сю! Сю-сю! — подсвистывал Ванятка.— Сю-сю, сю-сю!» Вдруг что-то порхнуло... я оглянулся и увидал знакомого мне соловья. Он сел на верхушку молодого клена.

— Вершинит! — раздался где-то чуть слышно шепот Василия.

— Спусти его, брось палочкой! — шепнул где-то Флегонт Гаврилыч.

Палочка взлетела, упала над соловьем, и соловей спустился вниз.

— Сю-сю! сю-сю! — продолжал Ванятка.

Заслышав этот свист, соловей мгновенно упал на землю и, словно мышонок, побежал по направлению к нему.

— Тут! — загремел Ванятка.

И вдруг — откуда взялись соловьятники. Все трое бросились они в черемуху, и целых шесть рук протянулось к трепетавшему в сетях соловью.

— Где бичайка, где? — кричал Флегонт Гаврилыч.

— Здесь, здесь...

— Надо заметить! Соловей важный... вишь, какой плечистый.

— Известно, заметить!

И, проговорив это, Флегонт Гаврилыч распустил соловью правое крылышко и задрал крайнее перо. Немного погодя несчастный соловей бился уже в бичайке, приподнимая собою ее холстинный колпачок.

Флегонт Гаврилыч был в восторге; в не менее восторженном состоянии находились и Ванятка с Василием. Снимая сеть, они громко острили и раз по пяти рассказали друг другу подробности этой ловли. Флегонт Гаврилыч выпросил у меня папиросу, зажег дро-

жавшими от волнения руками спичку и, закурив, крикнул:

— Ну, ну, скорей, скорей, ребята! Добрый час на худой не меняют! Нам еще много дела-то. Здесь, на Гриве, надо пятерых взять... да ентого, что в Ольхах заливается! Шутка, сколько дела-то. Не опоздать бы.

— Небось не опоздаем! — отозвался Василий, свертывая сеть.

— А все-таки мешкать нечего. Уж больно мне того-то хочется заполучить... Соловей-то горласт... Ну, все готово?

— Готово.

— Ну, господи, благослови; идем.

И мы пошли дальше.

Часа два пробыли мы на Сухой гриве, и все пять соловьев, выслушанные и одобренные Флегонтом Гаврилычем, были пойманы точно таким же способом, как был пойман и первый. Только последний долго не давался, — вершинил и всякий раз перелетывал выше сети. Флегонт Гаврилыч выходил из себя. Он осыпал соловья бранью; называл его подлецом, окаянным, лешим, и, как ни уговаривали его Василий с Ваняткой бросить этого соловья «к черту» и идти в Ольхи за «горластым», Флегонт Гаврилыч и слушать не хотел. «Не расстанусь! — кричал он. — Умру, подохну, а не расстанусь!» Сети переносились с одного кобла на другой, а соловей продолжал вершинить и не давался в руки. Флегонт Гаврилыч разгневался еще пуще. Он раз пять облаял Василия, не умевшего будто спустить соловья на землю; чуть не оттаскал за волосы Ванятку, свиставшего будто бы не соловьихой, а сорокой; садился сам с дудочкой, и все-таки дело не ладилось. Наконец, все вышли из терпения и, обругав коллективно соловья, решились бросить его или, как выразился Василий, «наплевать на подлеца» и идти в Ольхи. Стали снимать сеть, как вдруг случилось нечто совершенно неожиданное: откуда-то взялась самка, полетела по низам, за ней, как сумасшедший, бросился соловей, и не прошло минуты, как и самец и самка на наших глазах случайно попали в сеть. Восторг был общий.

— Это он с женой расставаться не хотел! — сострил Василий.

— Вишь, сластник какой!

Мы присели отдохнуть, а немного погодя отправились к Ольхам, к тому «горластому» соловью, пением которого восхищались вчера вечером. Перейдя небольшой овражек, поросший орешником, обогнув довольно большое озеро, на котором плавали стаи диких уток, и затем поравнявшись с куртиной нескольких черемух, мы вдруг услышали какой-то шепот. Флегонт Гаврилыч раздвинул кусты и в ту же минуту, словно чем-то уколотый, отскочил назад.

— Что вы? — спросил я.

Но он только махнул рукой и пошел дальше.

— Да что такое?

— На этот Зеленый остров хошь не езди!..

— Что, аль медведя увидал? — сострил опять Василий.

Ванятка захохотал, что было мочи.

Но Флегонт Гаврилыч продолжал себе шагать, и, только тогда, когда мы отошли от кустов черемухи на довольно значительное расстояние, он взял меня за руку, отвел в сторонку и шепнул на ухо:

— Опять соловьятники вчерашние!

VI

Мы подошли к Ольхам, и все четверо остановились, словно очарованные, заслышав соловья. Он пел совершенно один, словно никто не дерзал залететь в эти Ольхи помериться с ним искусством и музыкой. Кругом расстилались обширные луга, пестревшие тысячами цветов, и, возвышаясь среди этих лугов, ольхи представляли собой какой-то круглый оазис, с опушкой, поросшей тальником и вербой. Из этого-то оазиса, из этой-то живой зеленеющей клетки разносились во все стороны соловьиные звуки и на далекое пространство оглашали окрестность. Мы не дошли до опушки, как остановились. Флегонт Гаврилыч слушал, восторженно подняв голову; Василий, наоборот, задумчиво склонил ее на грудь. Ванятка сидел на корточках и весь превратился в слух. Далеко по лугам и лесам разносился могучий голос маленького певца, и не скоро бы, кажется, вышли мы из этого восторженного оцепенения, если бы корыстные инстинкты не пробудились в душе Флегонта Гаврилыча.

— Пятисот рублей не возьму! — вскрикнул он. — Не жрамши, не пимши пробуду, а меньше пятисот не отдам

— Такого соловья и ловить-то грех,— проговорил задумчиво Ванятка.— Пущай себе поет здесь, а ты приходи да слушай!.. В клетке так петь не будет!.. Какая там жизнь, в клётке! А здесь смотри-ка: солнышко выходит, небо голубое... листочки, цветы, травка... Коли любишь соловьев — ну, вот и слушай... Здесь привольно! Пропел на одном деревце, лети на другое... А ты себе сиди и радуйся... Какое ж там пение в неволе. В неволе плакать хочется, а не петь...

И, внимая словам этого сидевшего на корточках Ванятки, этого смуглого, кудрявого мечтателя, с фуражкой на затылке и с глазами, полными какой-то грусти, все словно призадумались; даже я и то невольно предался мечтам и, мечтая, вспомнил почему-то легенду о констанцском соборе:

Он запел, и каждый вспомнил
Соловья такого ж точно,
Кто в Неаполе, кто в Праге,
Кто над Рейном в час урочный,
Кто таинственную маску,
Блеск луны и блеск залива.
Кто — трактиров швабских Гебу —
Разливательницу пива;
Словом — всем пришли на память
Золотые сердца годы,
Золотые грезы счастья,
Золотые дни свободы...[8]

Но Флегонт Гаврилыч опомнился и сразу разрушил наше поэтическое очарование.

— Паршивец ты, и больше ничего! — крикнул он Ванятке. — Что ж, по-твоему, другим отдавать его?

— И другим ловить не следует! — отозвался мальчуган.

— Так, значит, синиц одних ловить? Эх ты, сволочь, право, сволочь бесчувственная!

И он тут же отдал приказание вынимать сетки и приступать к ловле.

Но на этот раз дело кончилось большущим скандалом. Только что вошли мы в Ольхи, как вдруг загремел чей-то грубый голос:

— Куда, куда! Ноги переломаю... ворочай оглобли! Уж я под ним третьи сутки сижу!

Мы оглянулись и увидали вчерашнего «портняжку», а с ним и еще двоих мастеровых.

Флегонт Гаврилыч даже привскочил, словно какая-то невидимая пружина поддала ему под ноги и подбросила кверху. Василий и Ванятка замерли на месте.

— Прочь!— закричал Флегонт Гаврилыч.

— Сам ступай, пока зубы целы.

— Прочь, говорят!

— Вот чего не хочешь ли?

И, помусолив большой палец правой руки, портной показал кукиш.

Дело становилось серьезным. Я взглянул на Ванятку и удивился. Черные, как смоль, глаза его горели зловещим огнем, ноздри раздувались, фуражка сползла совершенно назад, кулаки судорожно сжимались. Казалось, он ждал только приказания, чтобы броситься на портняжку и загрызть его зубами. Василий был бледен, как полотно; добродушное открытое лицо его, опушенное маленькою бородкой, словно исказилось, зубы скрипели, губы совершенно посинели. Испитое, зеленое лицо портного, наоборот, как бы смеялось, и вся фигура его изображала самонадеянность и нахальство. Он словно потешался над ними, словно хвастал, что перехитрил старого соловьятника, одурачил его, обошел и ловко воспользовался его оплошностью. Он стоял фертом, подбоченясь; его пиджак был расстегнут, красная рубашка была навыпуск, картуз надет набекрень. Рядом с ним стояли и его мастеровые, небритые, суровые, в нанковых халатах, придававших им вид арестантов, бежавших из тюрьмы.

— Так ты так-то?— кричал Флегонт Гаврилыч.

— Этак-то!

— Так-то?

— Этак-то!

— Обманывать?.. Так нет же!

И, в один прыжок подскочив к портному, Флегонт Гаврилыч, как кошка, вцепился ему в горло. Этого было достаточно. Обе стороны побросали свои бичайки, сетки и, оглашая Ольху неистовою бранью, ринулись в борьбу. Я стоял и глазам не верил. Кулачные удары и оплеухи так и сыпались, далеко раздаваясь по лесу. Ванятка, как зверь, налетал на своего противника и, ловко увертываясь из-под его кулаков, успел уже раз десять дать ему в зубы. Василий колотил наотмашь, куда попало, словно косил, и с мужеством выдерживал наносимые ему удары. Флегонт Гаврилыч сцепился с

портным, который сразу же сшиб с него фуражку и оторвал ворот от знаменитого коричневого пальто. Тщательно причесанные височки его теперь трепались по воздуху и представляли собою крайне безобразный вид. Он кричал, грозил, но перевес, видимо, был на стороне портного. Не прошло и пяти минут, как портной одним размахом кулака сшиб старика с ног, сел на него верхом и, вцепившись одной рукой в волосы, принялся другой осыпать его ударами.

— Караул! караул! — кричал Флегонт Гаврилыч.— Василий! Ванятка! Сюда, ко мне, выручай!

Но так как и Ванятка и Василий были заняты своим делом, то старик и обратился ко мне:

— Сударь! Что же вы стоите? — кричал он.— Нешто так делают благородные люди?.. Своих бьют, а вы себе стоите сложа руки... Караул!.. Берите подлеца за вихры, стащите его с меня... Что же это вы в самом деле!

Хотя долг чести, конечно, обязывал меня немедленно же вступиться за своих, обязывал вцепиться в волосы портняжки, постараться вышибить ему несколько зубов и даже поломать несколько ребер, но чувство самосохранения, а главное, отсутствие храбрости заставили меня поступить совершенно иначе. Я оставил «своих» и постыдно бежал с поля сражения.

VII

Только вернувшись в землянку, я опомнился от овладевшего мною ужаса. Лысый господин был за столом и пил чай.

— Не видали моих? — спросил он меня.

— Кого это?

— Жену и племянника или, лучше сказать, даму в малороссийском костюме и молодого человека в соломенной шляпе?

— Не видал,— соврал я.

— Черт знает, куда запропали! Другой день все ландыши рвут!..— И потом, переменив тон, прибавил:— А мы всю ночь не спали. Ездили ночью в Покровское, поужинали там, хотели было переночевать, да уж больно грязно, гадко. Взяли да опять сюда и отправились. Вы ведь тоже вчера, кажется, приехали?

— Да, вчера.

— Я вас видел... Тоже за ландышами?

— Нет, я с соловьятниками.

— А! С соловьятниками! Отлично, отлично! Когда-то, в молодости, и я тоже соловьев ловил, а теперь не могу. Ожирение печени, катар желудка, одышка... сам не могу даже чулка на ногу надеть. Как только нагнусь, так и рвота. Теперь я все рыбу ужу... Оно, знаете ли, покойнее; сядешь на бережок, свесишь ноги... Отлично! Я было с удочками приехал сюда, да вчера вздремнул, а осетры подошли и утащили... Так я теперь и сижу, словно офицер без шпаги.

Я слушал лысого болтуна, а сам со страхом посматривал все в ту сторону, откуда должны были показаться брошенные мною товарищи. Наконец они показались. Все они шли рядом и молчали. У Флегонта Гаврилыча синели два «фонаря» под глазами и мотался по воздуху оторванный ворот пальто. У Василия была в крови вся нижняя часть лица; и только уцелел Ванятка, поплатившийся одним картузом. Василий и Ванятка повернули к лодке, а Флегонт Гаврилыч подошел ко мне.

— Пожалуйте-с,— проговорил он сухо и всячески стараясь прикрыть руками оторванный ворот.— Теперь можно и по домам-с.

Я встал.

— Что, моих — даму в малороссийском костюме и кавалера в соломенной шляпе не встречали? — спросил лысый господин, обращаясь к Флегонту Гаврилычу.

— Идут, недалечко-с.

— И отлично! Ну, что, как, удачно охотились?

— Слава богу-с!

— Каких больше соловьев, старых или новых песен?

— Есть и новенькие-с.

Кавалер и дама показались.

— А! Вот и мои возвращаются! — вскрикнул лысый господин.

Мы распростились, сели в лодку и поплыли в Саратов.

Мы ехали молча и не сказав ни слова друг другу; мне было положительно неловко. Только уж под Саратовом Василий, глядя на удочки, лежавшие на дне лодки и кое-как прикрытые моим «ковриком и одеяльцем», спросил Ванятку:

— А ты таки упер?

— Еще бы! Приеду и продам. Они, поди, недешево стоят!..

Выйдя на берег, Флегонт Гаврилыч первым делом снял фуражку и, вынув из кармана панталон складной с зеркальцем гребешочек, стал расчесывать свои виски. Он отошел для этого к сторонке, но как старик ни таился, а пучок седых волос, снятый им с гребенки и поспешно брошенный на землю, не ускользнул от моего взгляда. Мне стало жаль старика. А тут еще подошла к нему жена (та самая «непонятливая», которая даже птиц не умела различать) и, увидав мотавшийся ворот пальто, закричала во все горло:

— Это еще что?!

— Зацепил, оборвал... ничего, ничего! — бормотал переконфузившийся Флегонт Гаврилыч и побледнел как полотно.

— По-твоему, все ничего, а по-моему, так «чего»! — кричала расходившаяся баба, чуть не с кулаками налетая на Флегонта Гаврилыча.— А где поддевка, которую я тебе велела надеть... Где поддевка?.. Говори!..

— Она там, в трактире. Неловко было надеть... с нами барин, благородный человек, ездил... Ну полно, перестань, нехорошо!

Я поспешил к Флегонту Гаврилычу.

— Ну-с, благодарю вас! — проговорил я, протягивая ему руку.

— Не за что-с.— И потом вдруг, подведя меня к жене, прибавил:— Позвольте представить-с: вторая супруга моя, Капитолина Петровна.

Но Капитолина Петровна, не подарив меня даже взглядом, так накинулась на несчастного Флегонта Гаврилыча за его непослушание, что я поспешил оставить их, позвал извозчика и поехал домой.

На другой день я узнал, что соловей, певший в Ольхах, не достался никому. Утром его поймать не могли, потому что он был слишком напуган, а вечером Ванятка предупредил портняжку и, забравшись в Ольхи, убил соловья ружейным выстрелом.

Мертвое тело

Зла беда,— не буря:
Горами качает,
Ходит невидимкой,
Губит без разбору.
От ее напасти
Не уйти на лыжах:
В чистом поле найдет,
В темном лесе сыщет...[1]

Кольцов

Медленно ступала подо мною лошадь по пыльной дороге, ведущей в сельцо Комаровку, через которое мне необходимо было проехать, чтобы попасть к себе домой. Повесив, вместе с поводами, на переднюю луку седла картуз, я сидел и едва дышал от жара. Ноги, выдернутые из стремян, болтались туда и сюда, руки тоже, а глаза утомленно блуждали по полю, вспаханному под рожь и по поверхности которого от сильного жара дрожали и бежали так называемые «полуде́нки». И ни малейшего ветерка, ни малейшей жизни в природе! Все как будто замерло и закалилось от пыли и жгучих лучей солнца. Даже птицы и те куда-то попрятались, и на всем поле виднелся только один громадный коршун, да и тот сидел, опустив крылья и разинув клюв. Где-то далеко слышался не то какой-то вопль, не то какое-то пение... Я обернулся, посмотрел в ту сторону и увидал толпу народа... блестели позолоченные образа, виднелись красные хоругви, поп в парчовой ризе, а дьячки пели: «Даждь дождь земле жаждущей!» — толпа стояла на коленях, молилась, а жаркое, словно медное, и безоблачное небо парило лучами солнца...

Шагах в десяти передо мною тащился мужичок, ничком лежа в пустой тележонке, и лениво похлопывал вожжами свою клячу... Вдруг сзади послышался колокольчик... Я обернулся и увидал догонявшую меня тройку. Тройка мчалась быстро, и целое облако пыли следовало за нею. Однако тарантас как будто знакомый, да и толстый мужчина в форменном картузе с черным бархатным околышем, фертом сидящий на груде подушек, тоже как будто всматривается в меня... Я даже вижу, что он приложил руку ко лбу в виде козырька и словно силится узнать меня... Мужичок поспешно своротил прямо в канаву и сбросил шапку.

— Кто это? — спросил я.

— Становой[2].

И в самом деле, это был Петр Николаевич Рычев, наш становой пристав.

— Куда? — крикнул он, поравнявшись.

— Домой. А вы?

— В Комаровку, на мертвое тело.

И затем, быстро повернувшись, прибавил:

— Знаете что! Садитесь-ка со мною да поедемте следствие производить...

— Я-то при чем тут!

— Ну, посмо́трите...

— Нет, жарко...

— А вот жар-то тем временем и схлынет! И поедете вы домой по холодку, любёхонько, тихохонько, за милую душу!..

А у меня кстати балычок есть осетровый да белорыбица провесная[3], у одного купца сейчас прямо из кастрюли вытащил, и мы с вами такую сочиним ботвиньку[4] с огурчиками, да с лучком, да с укропцем, да льду туда побольше... Пальчки оближете!..

И все это становой проговорил так смачно, так аппетитно, что я невольно начал соблазняться. Он заметил это и, быстро освободив место рядом с собой, крикнул:

— Ну, садитесь же!

— А куда же я лошадь-то дену?

— А рассыльный зачем! сядет и поедет.

И, ткнув в спину сидевшего на козлах рассыльного концом черешневого чубука, становой приказал ему сесть на мою лошадь.

Через четверть часа мы были уже в Комаровке и каким-то особенным «полицейским вихрем» подлетели к большой избе с пестрораскрашенными наличниками и ставнями и деревянным калачом, подвешенным над средним окном. На завалине сидело несколько стариков с седыми бородами, а неподалеку торчал сотский — жилый, беззубый солдатишка «времен очаковских и покоренья Крыма».

— Стой! — крикнул становой.

И тройка стала (словно ей ноги подсекли!), накатив на стариков густую тучу черной пыли. Сотский подскочил к тарантасу и, протянув обе руки к становому, готовился принять его на свои рамена[5], но становой

оттолкнул руки и, ловко соскочив на землю, подошел к старикам.

— Шапки долой! — крикнул он, сверкнув глазами.

Головы мигом обнажились.

— Что за народ?

— Понятые, вашескородие.

— Хороши понятые, коли порядков не знают. Вот я вам покажу, подлецам, как перед начальством в шапках стоять!..

Ворота отворились, и мы вошли на двор. У крыльца встретил нас как лунь седой старик, с умным выражением лица и седыми бровями, нависшими над глазами. Длинная борода его, начинавшая от старости желтеть, спускалась до самого пояса. Старик имел вид испуганный, стоял, как-то перекосившись, и исподлобья посматривал на станового не то враждебными, не то пытливыми глазами. Рядом со стариком, на ступеньке крыльца, сидела жена его — тощая, дряхлая старушонка — и хныкала, прикрыв глаза грязным самотканым фартуком.

— Ну, чего хнычешь-то, ведьма! — крикнул на нее становой.

— Как же не хныкать-то, батюшка Петр Николаич,— вступился старик,— вишь ведь горе-то стряслось какое...

— Ужасное горе,— перебил его становой,— ужасное!.. Прохожий какой-то подох!.. Кабы свой.. ну так!..

— Все-таки неладно...

И, немного помявшись и снова пытливо глянув на станового, старик спросил:

— Потрошить-то будете, что ли, батюшка?

— Еще бы!..

— Нельзя ли как без потрошения... сено у меня там сложено...

— Мы сена не попортим, мы в избе потрошить будем, а после посотрут бабы.

— Батюшка, отец родной! — взвыл старик.

Но становой уже не слушал его.

— А лекарь здесь? — спросил он сотского.

— Здесь, в избе, вашескородие.

— Пьян?

— Чуть-чуть, вашескородие...

— А писарь?

— Он к попу побёг за чем-то.

— Беги и тащи его сюда... да живо у меня!

Сотский бросился и, выбежав за ворота, принялся кричать какого-то мужика, шедшего по улице.

— Стяпан, Стяпан! — кричал сотский, махая подожком[6].— Беги к попу да посылай писаря становского, чтоб шел скорей, становой, мол, приехал!

Но так как Степан ничего не слышал, то сотский и пустился за ним в погоню, продолжая кричать:

— Стя-апан! Стя-апан!

Немного погодя старик рассказывал нам, как было дело.

— Третеводни стряслось это,— говорил он,— уж мы поужинавши были. Я, знашь, пошел обрáзить[7] лошаденку, а снохи принялись убирать чашки да ложки... Только вот обрáзил я лошаденку, вхожу в избу, хозяйка на печи лежит, а я полез на полати, да и говорю снохам-то: вы, мол, снохи, уберетесь, так залейте огонь-ат. А мы в тот вечер огонь вздували для того, что запоздали как-то. Вот, хорошо. Залили снохи огонь и пошли себе в горницу; значит, летом они в горнице спят, для того, что в избе оченно больно душно... Внучонок, коему вы еще в те поры, как были у нас проездом из Сучкина, сахарцу дали, лег на лавке под окном... Только этак уж гораздо времени прошло, уж и кочета первые пропели, слышу: тук, тук, тук кто-то в окно; я, знаешь, все лежу, не слезаю,— думал, птица клюет какая. Только слышу опять: тук, тук, тук! Внучек проснулся. «Де-едушка, де-едушка, стучит кто-то».— «Взглянь, говорю, в окошко, кто там». Он это посмотрел. «Козырек, говорит, какой-то, дедушка в сертучишке, должно быть, дворовский». Я слез. «Что, мол, те надоть, любезный?» — «Пусти, говорит, переночевать». Я это велел внучку пустить, а сам полез на полати. Вот взошел в избу, как следует, на иконы помолился, испил кваску и закурил трубочку. Я спросил, откелева, мол, бог несет? «Издалека»,— говорит. Ну, издалека так издалека. «Ложись, говорю, на лавке-то».— «Нет, говорит, здесь жарко, я пойду на дворе где-нибудь лягу. Проводи, говорит, нет ли какого сарая с сеном или с соломой». Я его повел. Только идем мы двором, смотрю, он покачивается.

— Хмелен был? — проговорил Петр Николаевич.

— Хмелен, батюшка, на порядках-таки хмелен. Да нешто я знал, что этакий грех случится; кабы знал,

так, вестимо, не впустил бы,— провались совсем он, окаянный, чем эстолько хлопот из-за всякой сволочи принимать, издыхай себе в поле! да, вишь ты, лукавый попутал; вестимо, кабы знал, так ни за какие бы деньги не пустил, а то мало ли хмельных-то бывает. На всякий час, видно, не убережешься. Вот я его и впустил в сенной сарай. Вот, мол, ложись тут, только, мол, трубку с кисетом давай, а то как раз село, говорю, спалишь, спаси господи! Он это ничего, сейчас же отдал мне трубку и кисет. Я пошел в избу, полез на полати да и заснул. Поутру просыпаемся, позавтракали. Зазвонил пономарь к обедне, только внучек-ат и говорит: «Что, дедушка, вечерошний-то дворовский больно долго спит».— «Не замай, говорю, пущай его». Вот это хорошо. Обедни отошли; старший сын поехал на барщину пар парить[8], а малый-ат зачал собираться в лес по дрова. «Пойтить, говорит, лошаденку запрячь»,— и пошел. А хомуты-то у нас висят в том сарае, где спал дворовский-то. Только это сидим мы в избе... Вдруг вбегает сын, а сам весь ажно полотно и весь трясется.

«Бачка, говорит, а бачка: ты впущал, что ли, вечор в сарай-ат кого?» — «Я, говорю, впущал, мол, прохожего».— «Да ведь он, говорит, мертвый». Мы все так и ахнули... бросились в сарай. Смотрим, а уж он готов.

— А не ужинал он у вас, а? — спросил становой и грозно взглянул на старика.

— Ни, ни, батюшка... ничего и в рот не брал.

— А квасок-то?

— Кваску точно, ковшичек выпил.

— А квасок-то этот цел?

— Цел, батюшка... тут в сенях в бочонке стоит...

— Тот самый?

— Тот самый, батюшка, тот самый, побожиться не грех.

— Смотри! не лгать у меня!

— Зачем, батюшка, нешто это возможно!

Мы вошли в сени.

— Вот и бочонок! — молвил старик, указывая в темный угол сеней на что-то круглое и покрытое рогожей.

— Я его опечатаю,— проговорил становой,— смотри, чтобы не подменили.

— Зачем, батюшка... Что вы! как это возможно!..

— А квасок-то хороший у тебя?
— Хороший, батюшка, ядреный.
— А лед есть?
— Есть, батюшка; нам без ледника никак невозможно, потому двор постоялый, нельзя безо льду. И молочко там, и убоинка, и огурчики, и солонина.
Мы вошли в избу. Там за столом, в переднем углу, сидел доктор. Перед ним стоял графин с водкой, тарелка с малосольными огурцами и блюдо с холодным поросенком под хреном.
— Уже? — спросил становой.
— Уже! — ответил врач.
— Сколько?
Врач растопырил восемь пальцев.
— Следует уж и остальные разогнуть! — заметил становой.
— Следует! — крикнул врач и захохотал на всю избу.
— А у меня, батюшка, кое-что солененькое есть,— говорил становой,— белорыбица провесная да балычок осетровый...
В это время вбежал в избу письмоводитель, суетливый, торопливый мужчина, лет тридцати, с юркими, плутовскими глазками, с узенькими бакенбардами и вострыми височками, загнутыми под самые брови. Вбежав в комнату, он окинул всю компанию и, разом обращаясь ко всем, спросил:
— А знаете ли, господа, кому принадлежит мертвое тело?
— Уж не тебе ли? — спросил становой.
— Вы все шутите, Петр Николаевич, вечно все шутите!.. Нет, в самом деле, знаете ли вы, кто этот прохожий, к трупу которого мы собрались?
— «Не стая воронов слеталась!» — проревел доктор, но письмоводитель перебил его:
— Прохожий этот — студент семинарии Петр Гаврилов, сын Калистов. Я как взглянул на него, так тут же и узнал. Вместе учились и в училище и в семинарии, вместе в бурсе были, и даже земляки, ибо села, в которых мы родились, всего в семи верстах одно от другого. Как же! Товарищ, приятель!..
— И рад встретиться небось! — перебил его становой.
— Ах, Петр Николаевич, ах, Петр Николаевич! вы

все шутите. Нет, мне так не до шуток... Мы вот теперь пойдемте, осмотрим его, опишем, в чем он одет, как лежит, а потом я вам его историю расскажу, хотите?

— Хотим.

— Ну, вот и отлично, а теперь пойдемте...

— Сейчас, постой! — перебил его становой и, обратясь к старухе, все еще хныкавшей, спросил:

— Щавель имеется у тебя?

— Щавель-то! — кажись, есть.

— А огурцы свежие?

— Как теперь огурцам не быть, самая пора!

— И лук, конечно?

— И луку сколько хочешь!

— Так вот, ты возьми щавелю, свари его хорошенько...

Но тут доктор перебил его и, быстро вскочив из-за стола, крикнул:

— Ну, что вы разговариваете с этой старой дурой! Ничего она вам не сделает! Сейчас я вам такую представлю кухарку, что вы только ахнете!

И, проговорив это, доктор бросился за перегородку, а через секунду, не больше, тащил уже оттуда за руку красивую молодую бабенку, с лукавыми глазами и веселым лицом, а именно одну из снох старухи.

— Пустите, отстаньте! — кричала бабенка, отмахиваясь от доктора.— Да будет вам, Виктор Иваныч...

Но Виктор Иванович, подведя бабенку к становому, проговорил торжественно:

— Рекомендую, Груня, сиречь Аграфена Васильевна. Вот ей и приказывайте!

Становой стал приказывать, а письмоводитель, закрыв лицо руками, словно застыдился и шептал мне:

— Черт его знает, не может, чтобы не разыскать! — И, уже совершенно прислонившись к моему уху, прибавил: — Ведь с вечера еще забрался сюда! Вот ведь шельма какая!

Немного погодя мы были в сарае, в котором лежал покойник. Старик снял с мертвеца рогожу. Покойник лежал на сене навзничь, с немного согнутыми ногами; правая рука его была закинута под голову, левая лежала на груди. Он был в нанковом сюртуке, в таких же панталонах, продранных на коленке, и пестром шелковом жилете с стеклянными пуговицами. Лицо его было в синих пятнах, тусклые глаза полуоткрыты, рот

перекошен. Черный, сухой язык закушен зубами, волосы смяты и в вихрах, глаза и ноздри облеплены мухами.

— Вот-с, рекомендую! — кричал между тем суетливый письмоводитель, указывая рукой на мертвое тело. — Прошу любить да жаловать... Теперь приятель мой немного попортился, костюм его не совсем в порядке, он даже, как видно, забыл побриться и недостаточно хорошо расчесал свои волосы, но я прошу извинить, ибо, по всей вероятности, молодой человек этот не думал иметь удовольствие встретиться с вами. Но я ручаюсь вам, что если бы он подозревал только эту встречу, то, конечно, принял бы все зависящие меры или вовсе не встречаться с вами, или же предстать истинным джентльменом!

И, проговорив это, письмоводитель подскочил к трупу, подбоченился, ткнул его ногой под ребра и прибавил:

— Эх ты, Петя, Петя! А помнишь, братец, как мы с тобой когда-то, под ректорскими окнами, латинскую песенку певали: Nostrarum scholarum rector dignissime *.

— Я должен вам сказать, господа, — продолжал он, круто повернувшись к нам, — что он был опытнее, чем теперь, и, распевая, не только не прикусывал язык, как сделал это сейчас, а, напротив, раскрывал рот не хуже любого протодьякона. Надо думать, что он или утратил эту опытность, или же, ложась отдохнуть на это душистое сено и увидав эти поблекшие цветы, скошенные безжалостной рукой мужика, был в самом нехорошем расположении духа. Впрочем, такой крепкий сон, которым заснул мой приятель, может одурачить самого первостатейного умника и, наоборот, сделает умным самого первостатейного дурака!

— Ну замолол, замолол! — кричал становой. — А ты к делу-то приступай... Бери карандаш, бумагу и валяй начерно протокол осмотра.

— А потрошить будем? — спросил письмоводитель.

— Известно, будем...

— Батюшка, отец родной, нельзя ли! — взывал опять старик.

— Нельзя, он квас пил...

— Батюшка! да ведь квас-то и вы будете кушать.

* Наш достойнейший руководитель школяров (*лат.*).

— А может, в том, который он пил, отрава была...
— Один, батюшка, один квас-то.
Но становой уже не слушал старика.
— Эй вы! понятые! — крикнул он. — Тащи его в избу. Ну, чего ж испугались! Аль не видали никогда мертвых-то... Берите за ноги да и волоките...
Но в это самое время письмоводитель, успевший пошептаться о чем-то с стариком и с доктором, подбежал к становому.
— Петр Николаич! — крикнул он. — Да нужно ли потрошить-то?
— А как же?
— Да ведь снаружи никаких признаков насильственной смерти нет, зачем же мы будем пачкать руки. Видно по всему, что мой приятель попал на какую-нибудь веселую пирушку, не соразмерил своих сил с крепостью выпитого им вина. Ошибся человек, по всей вероятности! Он даже теперь раскаивается в своем поступке, а там, где раскаяние, не должно быть и кары.
И затем, отведя станового в сторону, он принялся ему что-то шептать.
— Ну, а как вы насчет этого, Виктор Иваныч? — спросил становой, обращаясь к доктору.
— Конечно, не сто́ит рук пачкать! — проговорил он.
— А квасок-то пил!
— Если бы он пил один квасок и не пил бы водки, то думаю, что он был бы здоровее нас с вами...
— Батюшка, отец родной! — выл старик, валяясь в ногах у станового.
— Эй вы! понятые! — кричал между тем становой, обращаясь к толпе крестьян. — Вы что скажете: потрошить аль не потрошить?
— Как твоя милость, — зашумели старики, — так и мы!
— Потрошить?
— Ну, что ж, потрошить так потрошить! — отозвались они.
— А я думаю, не нужно.
— Известно, не нужно... зачем потрошить!
— Вы никаких подозрений не имеете?..
— Насчет чего?
— Что вот человек сам умер?
— Известно, сам! — загалдели понятые. — Человек завсегда сам умирает... Хоша бы и побили его, а он

все-таки сам умрет; известно, никто другой умирать за него не будет.

— Верно! — сказал становой. — Значит, так и запишем, что человек умер сам.

— Сам, сам! — подтвердили понятые.

А письмоводитель тем временем опять подбежал к трупу и опять, тронув его ногой под ребра, говорил:

— Ну, Петя, ты это помни! По милости моей, только по моей милости, твои кишки остаются при тебе, и ты, явясь на тот свет, не будешь чувствовать в своем животе той пустоты, которую... — Но тут письмоводитель оглянулся и, увидав меня, шепнул: — Которую чувствует теперь в своем кармане содержатель этого постоялого двора. Да, Петя, — прибавил он громко, — ты это помни... а покуда прощай. У тебя есть свое дело, а у меня свое. Тебе необходимо оглядеться, устроиться на новой квартире, ознакомиться с новым положением, а мне необходимо, в свою очередь, по поводу твоего исчезновения перемарать несколько листов чистой бумаги, придать им вид протоколов, осмотров, опросов, отношений, сообщений; все это подшить, перенумеровать, назвать эту связку перепачканной бумаги делом и затем почтительнейше об оном рапортовать куда следует. Прощай, братец...

И, став на одно колено, он поклонился трупу.

— Вот болтун-то! — крикнул становой.

— Нельзя, Петр Николаевич, никак нельзя не болтать, ибо если бы язык не болтал, то ему незачем было бы и место во рту занимать!

Немного погодя мы все были в избе.

— Ну, что, щавель готов? — крикнул становой.

— Готов! — отозвалась из-за перегородки Груня тем звучным грудным голосом, который так часто встречается у наших молодых баб.

— Протерла?

— Протерла.

— Давай сюда!..

— Тут мы еще для твоей милости лапшу из курятины варили, — прокричала Груня, опять-таки из-за перегородки, — потом поросеночка жарили, потом баранину жарили, потом студень изготовили.

— Все это после, а теперь давай сюда щавелю, луку, огурцов, квасу, соли, льду! — командовал становой и затем, обратясь к сотскому, прибавил: — А ты, кава-

лер, тащи сюда кулечек из моего тарантаса, там под козлами лежит в передке...

Кулек с белорыбицей и балыком был принесен тотчас же, но Груня выходить из-за перегородки почему-то не хотела, а послала вместо себя другую сноху, которая и принесла все требуемое.

Доктор возмутился таким поведением Груни и бросился за перегородку. Послышался писк, визг, сдержанный хохот, но Груня все-таки не показалась. И доктору пришлось возвратиться одному.

Когда все было принесено и когда стол, за который мы все уселись, оказался заставленным огурцами, луком, рыбой, хлебом, чашками, ложками и жбаном, наполненным пенившимся квасом, Петр Николаевич вымыл руки, скинул с себя вицмундир, засучил рукава и, обратясь к письмоводителю, проговорил:

— Ну, сейчас я приступлю к приготовлению ботвиньи, начну крошить огурцы, лук, рыбу, а чтобы нам не было скучно, садись и рассказывай историю приятеля.

И, проговорив это, Петр Николаевич вооружился ножом, пододвинул к себе чашку с огурцами и блюдо с рыбой, а письмоводитель Фивийский подсел к столу и, взглянув на графин с водкой, проговорил, поглядывая на всех:

— Предварительно не вонзить ли по единой?

— Можно! — крикнул доктор.

— Да уж вы катайте прямо рюмки по три,— перебил их становой,— а то после только рассказ прерывать будете...

— Так вы без перерыва желаете?

— Конечно.

— Ну, это дело десятое... тогда, разумеется, одной мало.— Выпили, закусили огурчиками, и Фивийский начал.

* * *

Родился Калистов в селе Скрябине; село это было небольшое, дворов из пятидесяти, однако довольно живописное, с большой рекой и деревянною ветхою церковью. Отец его был дьяконом. Семья их состояла из пяти человек, а именно: дьякона, дьяконицы и трех сыновей. Калистов был старший. Как видите, семья

была немалая, доход же, конечно, ничтожный, потому что приход был самый бедный и состоял из села Скрябина и четырех мелких деревушек, так что всех-то было душ пятьсот, не более, а от такого прихода не скоро разживешься. Однако, когда Калистову минуло двенадцать лет, дьякон повез его в город и отдал в училище.

В городе дьякон пробыл недолго, всего какой-нибудь день или два. В продолжение этого времени он сводил сына к смотрителю училища, и, поклонившись ему гусаком и гусыней, попросил, чтобы мальчишку не баловал и почаще наказывал, на том основании, что сопляков баловать нельзя. После того дьякон нанял для сына каморку у одной просвирни, поговорил о чем-то с ней, дал сыну синенькую[9], которую заказал на пустяки не тратить, перекрестил его и отправился домой. Петя побежал было провожать отца, но тот его воротил, проговорив, что незачем, и, сделав еще раз сыну внушение не шалить и хорошенько учиться, хлестнул лошаденку и уехал.

И вот остался Калистов один-одинешенек в незнакомом городе, с незнакомыми людьми. Нет уже при нем ни матери, ни отца, ни братишек.

Одновременно с Калистовым поступил в училище и я, и так как родина моя была по соседству с родиной Калистова, то мы с ним, как земляки, были в самой тесной дружбе и жили на одной квартире. Нечего говорить, что жизнь наша была незавидная. Квартира состояла из одной маленькой каморки, в которой могли только поместиться две наши койки да небольшой стол; стула же поставить было негде. Бревенчатые стены были вымазаны глиной. Единственное окно упиралось прямо в хлев. В довершение же всех этих удобств, зимой у нас до того дуло из полу, что мы не могли иначе сидеть, как поджав под себя ноги; наверху же было нестерпимо жарко. Костюм наш состоял из четырех рубашек, двух штанов и двух нанковых халатов; сапог у нас не было, а были лапти, в которых мы и ходили в классы.

На второй год нашей училищной жизни у Калистова скончалась мать, а через полгода умер и отец. Калистов остался круглым сиротой. Горько плакал он, услыхав о смерти своих родителей, но как ни плачь, а все-таки мертвые не скоро еще воскреснут. Калистова взяли на

казенный счет, и мы встречались с ним в классах. Куда девались остальные братья Калистова — не знаю.

Смерть родителей заставила Калистова еще более заниматься науками. Как ни был он молод, однако думал, что если он будет учиться плохо, то нехорошо заживется ему, сироте, на свете. Бедный, он был еще в то время этих убеждений! Я забыл вам сказать, что когда Калистов поступил в училище, то у него фамилии не было, почему смотритель и назвал его Кесарийским.

В то время (чтобы ему пусто было,— вставил письмоводитель, усердно плюнув) мы все в своих отношениях к начальству должны были олицетворять отношения охотничьих собак к своему псарю. Кормили нас чем-то похожим на собачье кушанье, дрессировали, как собак, розог не жалели и даже клички давали нам по тем же резонам, по которым даются клички собакам. Коли собака рыжая — зови ее Пылаем; коли ученик с мягким сердцем — зови его Мягкосердовым; коли собака лает басом — зови Громилой; коли ученик веснушчатый — пусть будет Пестровидов, и т. д. Но все эти клички, конечно, смысла все-таки не имели, ибо впоследствии какой-нибудь Мягкосердов делался самым злейшим доносчиком и сутягой; какой-нибудь Любознательский не хотел ничего и никого знать, и разве один только Пестровидов, благодаря веснушкам, оставался тем, чем был в детстве... Точно то же случилось и с Калистовым. Ему дали фамилию Кесарийский, но приехал какой-то ревизор и так напустился на нашего бедного смотрителя за эту кличку, что тот не знал, куда деваться от сраму. «Ты глуп,— говорил ревизор смотрителю тут же в классе и в присутствии всех нас,— так глуп, что тебя из училища следовало бы прогнать и определить куда-нибудь на псарню, ибо всякий псарь умнее называет свою собаку, чем ты своего ученика. Ну, скажи,— горячился ревизор,— чем похож этот паршивец на кесаря. Он столько же похож на кесаря, как ты на меня!»

«Мальчик-то очень прекрасный!» — оправдывался смотритель, не ревизор, не терпевший возражений, зашумел еще пуще. «Ты чем больше говоришь,— закричал он,— тем более разоблачаешь свое невежество! Будь нем, как рыба, и тогда, может быть, дураки подумают, что ты умный человек!» И затем, указав пальцем на Кеса-

рийского, приказал везде эту фамилию вычеркнуть и, вместо Кесарийского, прозвал его Калистовым, произведя эту фамилию от греческого слова kalos, прекрасный.

Смотритель, впрочем, был у нас человек добрый. Он имел жену, нескольких детей, которые учились вместе с нами, и потому относился к нам не очень жестоко. В свою очередь, и мы старались угождать ему и всегда писали родителям, чтоб они, отправляясь за нами, не забывали захватить какой-нибудь подарок смотрителю. Подарки эти были в образе гуся, или индейки, или же пирогов; которые же побогаче, привозили крупу и деньги. Смотритель все это принимал и за все благодарил. Училище наше было самое бедное. Классы топились зимой скудно, и холод был страшнейший. Потому, если вам случалось когда-либо слышать рассказы о том, как учителя в наших училищах заставляли учеников во время классов драться на кулачки и сами дрались с ними, то вы верьте этим рассказам, они справедливы, и мы сами дрались, бывало, для того, чтоб сколько-нибудь согреться. Особенно же мы любили смотрителя за то, что он не отказывал нам в рекреациях[10]. Давались они нам обыкновенно в мае месяце, и уж как смотритель ни вертись, а двенадцать рекреаций нам подай, бывало! Так положено было по правилам училища. Об рекреациях этих уговаривались, бывало, еще с вечера, а как только наступало утро, то мы отправляли двоих-троих учеников к смотрителю с просьбою дозволить нам просить рекреацию. Учеников для этой цели мы выбирали всегда лучших и которых любил смотритель. Калистов бывал всегда между ними. Случалось, конечно, что смотритель отказывал; в таком случае наши уполномоченные обращались к его жене, Прасковье Васильевне, на том основании, что она была женщина чувствительная, держала всегда сторону учеников и уж во что бы то ни стало выпросит, бывало, у мужа дозволение явиться к нему ученикам и просить рекреацию. Уполномоченных этих дожидались мы, конечно, с нетерпением, и как только, бывало, они объявят нам, что смотритель изъявил свое согласие и что ждет нас, так мы, ни минуты не медля, отправлялись под окно смотрительской квартиры и, подходя к оному, запевали целым нестройным хором известную латинскую песню, начинавшуюся так, кажется:

Nostrarum scholarum rector dignissime,
Rogamus recreationem...*

По окончании этой песни смотритель перекрестит, бывало, нас родительским крестом и объявит нам, что мы можем отправляться в такую-то рощу порезвиться, куда и он тоже приедет вслед за нами.

Несмотря, однако, на эти рекреации, в науках мы не отставали. Учили нас, разумеется, плохо, но все-таки знания кое-какие приобретались. Более всего пичкали нас латынью, и уж как, бывало, надоедала нам эта латынь проклятая! арифметика же, география и живые языки были у нас на самом последнем плане.

Так шло время, конечно, быстро, скоротечно... Мы кончили курс в училище и перешли в семинарию. Я каждые каникулы ездил в деревню, а Калистов — нет. Только когда перешли мы из философского отделения в богословское, Калистов уступил моим просьбам, решился оставить город и провести лето у меня. Приехав ко мне, он пожелал воспользоваться случаем и сходить в Скрябино, поклониться праху родителей. Я предложил было ему отцовскую лошадь, но Калистов, всегда отличавшийся крайнею деликатностью, отказался и пошел пешком. Горько было ему смотреть на родное село, в котором было у него когда-то столько дорогого и отрадного и в котором теперь он не имел ничего, кроме тяжелого воспоминания.

В Скрябино пришел Калистов под вечер. Он перешел мостик, под которым когда-то лавливал гольцов, поднялся в гору и, пройдя ряд гумен и конопляников, очутился в Скрябине. Направо и налево тянулась улица,— она нисколько не изменилась, и только некоторые избенки как будто перекосились и ушли в землю. Калистов помнил каждую избенку, знал, кому она принадлежит, как зовут хозяина и хозяйку, и даже как будто видел их перед собою. Дойдя до церкви, Калистов вздрогнул. Он увидал перед собой родной домик. В одну минуту узнал его Калистов, он все такой же: у колодца все та же изгрызенная бадья, садик все так же зеленел вишнями и яблоками, и все так же выглядывали из-за плетня высокие подсолнечники и кусты хмеля. Калистов тихонько подкрался к окну и взглянул

* Наш достойнейший руководитель школяров, просим об отдыхе (*лат.*).

на него. Дьяконская семья ужинала; лучина ярко освещала комнату; в комнате было тоже все по-прежнему: те же образа суздальской живописи, те же портреты митрополитов Филарета и Никанора, тот же Кутузов скакал на коне и тот же вид Саровской пустыни.

Калистов отошел от окна дьяконского дома, сел на кучу наваленных неподалеку бревен и невольно задумался. Так просидел он с полчаса, как вдруг кто-то крикнул:

— Эй ты, семинарист! поди-ка сюда!

Калистов поднял голову и увидал у колодца девушку в ситцевом платье и с платочком на голове.

— А ты почему знаешь, что я семинарист?

— Нешто я слепая! Поди, у меня глаза есть... а у семинаристов один облик-то.

Калистов подошел к девушке.

— Чего же тебе надо от меня? — спросил он.

— А вот чего! Ведро я в колодец упустила, ты мне и достань его.

— Как же я достану?

— Очень просто. Перевяжу я тебя веревкой, спущу в колодец, и ты тогда достанешь.

— Да ты удержишь ли?

— Небось, удержу.

— Ну, смотри...

Девушка обмотала Калистова веревкой, завязала ее крепко-накрепко и, упершись одной ногой в сруб, принялась осторожно опускать Калистова в колодец.

— Стой, довольно! — раздался голос.

— Достал?

— Достал, тащи!

И немного погодя Калистов подавал уже девушке ведро.

— Однако ты храбрый! Чуть не на дно морское опускался.

— Для тебя только! — проговорил Калистов, посматривая на красивую девушку.

— Спасибо.

И, почерпнув воды, она пошла своей дорогой.

Калистову тоже надо было идти, и он направился к дому одного знакомого мужичка, у которого порешил было переночевать, с тем чтобы завтра утром после обедни отслужить на могиле родителей панихидку, а потом возвратиться ко мне. Приходилось обогнуть

церковь. Между тем набежали тучи, заволокли небо, и ночь становилась все темней и темней. Он уже успел миновать ограду, как вдруг что-то белое показалось в нескольких шагах от Калистова. Это был какой-то старичок в белой рубахе. Старичок, при виде Калистова, быстро остановился.

— Кто это? — вскрикнул он испуганно и поспешил отскочить в сторону.

— Я.

— Кто ты?

Калистов тотчас же узнал знакомый голос. Это был пономарь села Скрябина.

— Здравствуй, Никитич! — почти вскрикнул от радости Калистов, подходя к пономарю, все еще продолжавшему пятиться.

— Да кто ты?

— Не узнаёшь?

— Не узнаю.

Калистов поспешил объявить свою фамилию, но так как фамилия эта была дана ему в училище, то в Скрябине про нее никто и не знал даже.

— Я такого не знаю.

— Ну, коли не знаешь Калистова, так Петруньку вспомни, может, тогда перестанешь бояться!

— Какой такой Петрунька?

— Покойника дьякона, Гаврилы Степановича, сын.

Пономарь ахнул даже.

— Петрунька, Петрунька! — кричал он, обнимая Калистова.— Петрунька, милый, а я и не узнал тебя, да как и узнать-то! Вишь ведь какой жеребец стал, да и голос-то переменился. Тебе который год-то?

— Да уж двадцать с хвостиком.

— Ах, Петрунька, Петрунька! Да что это ты домой давно не приходил? Уж мы тут и забыли про тебя.

— Дома-то нет, приходить-то некуда,— говорил Калистов.

Пономарь вздохнул.

— Царство небесное! — проговорил он.— Хоша мы с покойником и ссорились кое-когда из-за блинов, а все-таки дружно жили. Добряк был и он и дьяконица. Хорошие люди... Так какая же у тебя фамилия-то?

— Калистов.

— Мудрена — нечего сказать!

— Я привык.

— Да ты где теперь, в семинарии, что ли?
— В семинарии.
— В котором классе?
— В богословский перешел.
— Бог-ослов, значит? — сострил пономарь.
— Он самый.
— Два годика остается, а там и в попы небось?
— Куда ж еще...
— Однако что ж мы на площади-то стоим! — вскрикнул пономарь.— На дворе-то ночь, люди говорят. Вишь темноть какая, пора ужинать, да и на боковую. Пойдем ко мне, Петрунька... ведь тебе негде ночевать-то...
— К Поликарпу Захарычу хотел я было...— проговорил Калистов нерешительно.
— Эко хватился! — перебил его пономарь.
— А что? али умер?
— Давным-давно. Внучку замуж отдал, да и опился на свадьбе-то! Пойдем-ка, пойдем-ка ко мне. Изба у меня просторная, хлеб-соль есть, может, и водочка найдется даже... Я, брат, понемножечку потягиваю!.. А ты надолго к нам?
— На один день только. Хочу завтра по родителям панихидку отслужить, а потом к товарищу к одному пойду, к Фивийскому, у него и проживу все лето.
Домик пономаря был в нескольких шагах, и потому идти пришлось недолго.
— Вставай! — кричал пономарь, входя в избу.— Вставай все! Да ужинать собирайте, гостя дорогого привел.
Но эти «все» состояли из дочери пономаря Лизы да работницы Меланьи, ибо пономарь был вдов и, кроме дочери, детей не имел.
Когда Калистов увидал Лизу, он чуть не вскрикнул от радости. Это была та самая девушка, которой он доставал ведро из колодца.
— Неужели это Лиза? — говорил Калистов, смотря на девушку, которую помнил ребенком.
— Она самая.
— Господи! да когда же она успела так вырасти!
— Они, брат, насчет этого не зевают... Как грибы растут.
— Да и ты,— проговорила Лиза, но, вдруг спохватившись, прибавила: — И вы-то уж большие стали... Я не узнала вас.

— А ты разве виделась с ним? — спросил пономарь.

— Да как же! — вскрикнул Калистов.— Я сейчас только ведро доставал, в колодец спускался.

— Ну?

И оба они принялись рассказывать пономарю только что случившуюся историю с ведром.

Немного погодя они все сидели за ужином, и разговорам и воспоминаниям, а пуще всего шуткам конца не было. Поели щей, поели баранины, огурцов свежих с квасом, выпил пономарь водочки и до того разболтался, что даже про сон забыл, и только когда сторож прозвонил в колокол двенадцать часов, они разошлись по своим местам.

Я, конечно, не стал бы рассказывать вам с такими подробностями о пребывании Калистова в селе Скрябине, если бы в пребывании этом не заключалось ничего важного. Сверх того, пребывание это было самым любимым воспоминанием Калистова, он рассказывал мне про него десятки раз, и потому нет ничего мудреного, что в памяти у меня сохранились до сих пор все подробности. Итак, Калистов ночевал у пономаря. На другой день он отслужил на могиле родителей панихиду и хотел было идти ко мне, но, по просьбе пономаря, остался погостить у него дня на два, на три. Однако эти три дня продолжались гораздо дольше. Я ждал-ждал Калистова и, вместо того, чтобы дождаться его к себе, пошел сам в Скрябино, с целью узнать, куда девался и что творилось с моим коллегой.

— Ты что же это! — говорю, увидав его посиживавшим на крылечке пономарского дома.

— А что?

— Пошел на день, а вместо того три недели живет здесь.

— Неужели, говорит, три?

— А ты как бы думал!

— Ну, брат, мне так хорошо здесь, что я не заметил, как время прошло. Спасибо, говорит, что вспомнил меня, что навестить пришел...

— Когда же ко мне-то? — спрашиваю.— Ведь ты обещал все лето погостить у меня!

— Ну, брат, не могу... обстоятельства, говорит, изменились.

И, взяв меня под руку и отведя от крылечка, он проговорил:

— Вот видишь ли, друг сердечный, хочется мне пономарю здешнему пособить... Человек он одинокий, старый...

— Что же, в работники, что ли, к нему записался?

— Не в работники, говорит, а в помощники скорее.

А тут как раз выбежала на крыльцо Лиза и принялась звать Калистова обедать.

— Слушайте, Лиза! — крикнул ей Калистов.— Ко мне товарищ пришел, друг мой и приятель, могу я его к вам в дом пригласить?

— Нельзя никак! — отозвалась она весело.— А нельзя по той причине, что, может, приятель ваш любит сладко покушать, а нынче день постный, кроме щей да гороху, да каши с конопляным маслом, нет ничего!

И она весело захохотала.

А Калистов тем временем говорил мне:

— Не слушай ее! Озорница известная!.. Идем, идем!..

Целых два дня я прожил у Калистова и тоже, в свою очередь, не заметил, как пролетело время. Уходя, я сказал, однако, Калистову:

— Смотри, брат...

— Что, говорит, такое?

— Смотри, не застрянь здесь!..

— Ну, вот еще что выдумал! Ты это, говорит, насчет Лизы, что ли, намекаешь?

— А что ж, говорю, разве в такую трудно влюбиться?

— Только не мне!

— Это почему?

— А потому, что я ее таким вот клопом знал. Точно, не спорю, я, говорит, люблю ее, но как сестру родную.— И потом, посмотрев на меня, спросил:— А тебе нравится она?

— Ничего, говорю, девушка, во всей форме...

И действительно, Лиза была такая девушка, каких мне не приходилось встречать до тех пор! Говорю я это не потому, что она в известной степени представляет собою героиню моего рассказа, а потому, что не походила ничуть на наших поповен. В то время, к которому относится этот рассказ, а время это давно прошедшее, все наши поповны были какие-то мямли,— ни рыба ни мясо. Одни из них барышень из себя разыгрывали, а другие — судомоек чумазых. Редкая из «бары-

шень» знала грамоте, но щеголять французскими словами, немилосердно их коверкая, любили до увлечения. Другие же — «судомойки» — только ныли и ожидали женихов. Первые болтали, рядились да романсы распевали, а вторые не умели говорить и только занимались пачкотней. Вот поэтому-то Лиза и выдавалась своею самобытностью. Она не подражала ни первым, ни последним. Она даже одевалась по-своему: просто, и именно так, как ей нравилось. Над кринолинами, бывшими тогда еще в моде, она смеялась; шляпки, украшенные цветами и зеленью, называла копнами, а зонтиков даже никогда и в руки не брала. Это была девушка бойкая, веселая, говорливая и с постоянно смеявшимся взглядом. К работе была неоценима, работа кипела в ее руках, она поспевала повсюду и помимо дома. Ее можно было видеть и в церкви, и на базаре, и на гулянье, когда таковое устраивалось, и в гостях, и у знакомых.

Глядя на Лизу, воодушевлялся и Калистов, и, когда подошла пора покоса, он сам напросился в косцы.

И действительно, на другой же день вместе с пономарем и Лизой отправился в луга.

Сначала работа у Калистова не спорилась. Коса то и дело либо скользила по траве, либо утыкалась концом в землю, но прошло некоторое время, и Калистов так приловчился к этому, совершенно новому для него делу, что любо было смотреть на него. Он втянулся, рука расходилась, и полукруги скошенной травы, сочной и мокрой, укладывались стройными рядами. Часов в девять утра они позавтракали, а после завтрака снова принялись за работу, и работа эта подействовала на Калистова до того благотворно, что с каждым пройденным рядом он чувствовал себя бодрее и бодрее. Какой-то прилив сил нахлынул на него, и ему было хорошо и весело. «Никогда я не обедал с таким аппетитом,— вспоминал, бывало, Калистов,— как тогда!»

С этого дня Калистов ни на шаг не отставал от семьи пономаря.

— Вы, пожалуйста, Лиза, разбудите меня завтра,— говорил он каждый вечер, уходя спать,— мне ужасно как хочется поработать с вами. Завтра мы что будем делать?

— Бахчу мотыжить.

— И прекрасно! Так разбудите же, пожалуйста.

И Лиза, подоив и проводив коров в стадо, каждое утро подходила к чулану, в котором спал Калистов, стучала кулаком в дверь и кричала:

— Ну вставайте же! пора! Солнышко-то вилами не достанешь!

— Сейчас, Лиза, сейчас! — отзывался Калистов, поспешно одевался и шел на работу.

Так проводили они время изо дня в день, и Калистов не успел опомниться, как почувствовал, что дружба, питаемая им к Лизе, начала как-то изменяться и принимать какой-то совершенно новый оттенок. Сначала он не доверял этому новому чувству, смеялся сам над собой, но когда он стал замечать, что каждый раз при встрече с Лизой сердце его как-то замирало и как-то особенно тревожно билось, что без Лизы ему становилось невыносимо скучно, а с нею и весело и легко, — он понял, что это уже не дружба, а что-то другое, может быть, то самое чувство, которое люди привыкли называть любовью... Он стал засматриваться на Лизу и, засматриваясь, находил уже в ней не ту красоту, которую видел прежде, а какую-то иную, — манящую, жгучую. Прежде, бывало, глянет он на Лизу и улыбнется только, а теперь при взгляде на нее ему хотелось бы обнять и расцеловать ее. Раз Лиза вместе с отцом поехала в город на ярмарку, оставив Калистова присмотреть за домом. Проездили они дня три, и бедный мой Калистов не знал, куда деваться от тоски. Ему сделалось так тяжело без Лизы, так пусто, что он готов был бежать в город, лишь бы поскорее свидеться с нею. Другой раз случилось нечто еще более тяжелое. Был храмовой праздник в Скрябине. Наехали к пономарю гости соседние, причетники с женами и дочерьми, а в числе их и один купеческий приказчик по фамилии Свистунов, кудрявый и бойкий парень, лет двадцати, в синей щегольской поддевке и голубой шелковой рубахе навыпуск. Кровь с молоком — одно слово! Свистунов этот крепко увивался за Лизой, и потому нет ничего удивительного, что почти весь день не отходил от нее. Болтал, шутил с ней, угощал пряниками, орехами, а бедный Калистов смотрел на все это и терпел поистине адские муки! Когда же вечером приказчик заиграл на гитаре, а Лиза, подсев к нему, запела какую-то песню, то Калистов не выдержал и поспешил вон из комнаты, ибо чувствовал такой

прилив бешенства, что боялся, как бы бешенство это не взяло верх над рассудком. Он вышел на крыльцо, а когда, немного погодя, на то же крыльцо выбежала и Лиза, он поймал ее за руку и проговорил едва слышно:

— Пожалуйста, Лиза! Вы так не мучьте меня!

Лиза вспыхнула даже.

— А вы что же, боитесь, что ли, чего? — спросила она.

— Тяжело мне...

— Не бойтесь! — проговорила она и, вырвавшись, быстро убежала в комнату.

Это «не бойтесь!» — возбудило в нем тысячу недоразумений. «Что же значило это! — думал он. — Что хотела она сказать этим?» Но как он ни размышлял, а все-таки уяснить себе не мог. То казалось ему, что это имеет вид признания, а то, наоборот — отказа или, что всего хуже, насмешки. Слово это не давало ему покоя, и, когда на следующее утро Лиза, по обыкновению, пришла будить его, он поспешил выбежать к ней в сени и, взяв ее за руку, спросил:

— Лиза! скажите же, что это значит?

— Чего еще? — спросила она.

— А то слово, что вы мне вчера на крыльце сказали!

— Мало ли что говорю я! Слов-то за день столько высыпешь, что и мешков не хватит собирать их.

— Нет! Вы только сказали: «Не бойтесь!» Что же значит это?

Но Лиза опять-таки ничего не разъяснила и, снова вырвавшись из рук, выбежала вон из сеней. Только вечером, в сумерках, когда оба они, и Калистов и Лиза, случайно встретились в палисаднике и когда Калистов снова потребовал объяснения, Лиза вместо ответа упала ему на грудь и, крепко обняв его, тихо заплакала...

Сомнение исчезло...

И оба они словно испугались чего-то, но чего именно — не умели определить, ибо в первый раз переживали это чувство. И Калистову словно слышались слова господа: «Проклята земля за тебя. Терние и волчцы она произрастит тебе, и будешь питаться полевою травою!» Они даже ни слова не сказали друг другу, и только одни поцелуи да объятья подсказывали им, что страх, переживаемый ими, есть страх от нахлынувше-

го счастья. Так они и разошлись, не сказав ни слова,— Лиза в свою комнату, а Калистов в свой чулан. Даже на другой день утром они не могли еще очнуться и не то избегали, не то боялись встречи, а когда встречались, опять испуг овладевал ими.

Однако на другое утро, когда оба они были в поле и когда пономарь зачем-то отошел от них, Лиза обратилась к Калистову.

— Послушай,— проговорила она,— чего же мы испугались!

— Я не знаю, Лиза...

— Ничего дурного мы с тобой не сделали, значит, ни бояться, ни стыдиться нам нечего. Полюбили мы друг друга, и все тут! Я этого не стыжусь, а как ты... не знаю.

— Я счастлив, Лиза.

— И я тоже.

И вдруг им сделалось опять и весело, и легко, и хорошо!..

Однако каникулы пришли к концу, и надо было отправляться в город. Тяжело было расставаться моим влюбленным. Целый вечер пробыли они вместе, и чего-чего только не переговорили они в этот вечер. Так как Калистов сделал Лизе предложение, а та с радостью согласилась на это, то, понятно, и было о чем говорить. Они порешили до поры до времени ничего не открывать старику, ибо боялись, что старик не выдержит и разболтает всем столь дорогую для них тайну. Затем было порешено свадьбу сыграть тогда, когда Калистов кончит курс в семинарии, а чтобы не томить себя столь продолжительной разлукой, Калистов должен был проводить в Скрябине и рождественские каникулы, и пасху, и затем— каникулы летние.

На другой день рано утром, распростившись с пономарем, который не знал, как и благодарить Калистова за оказанную услугу, Калистов отправился в город. Лиза проводила его до околицы.

— Ну,— говорила она,— прощай... Смотри, не забудь...

— Ты-то не забудь меня, а я-то не забуду... Ну, прощай...

— Прощай! — повторила Лиза.

И, крепко обняв Калистова, она прильнула к нему губами.

Всякому более или менее известна бурсацкая жизнь, с ее щами, кашей, грязью и смрадом, но тем не менее она все-таки составляет одно из самых если не светлых, то веселых воспоминаний наших. Народу было много, все молодежь, и время летело незаметно. Конечно, и в то время много переживалось горя, но молодость, силы и здоровье прощали многое и со многим мирились...

Итак, с Калистовым мы были вместе. Койки наши были рядом, в классе сидели мы на одной скамейке. Калистов учился отлично. Я похуже, но все-таки не отставал от него. Поведения Калистов был примерного и не только не пил вина, но даже и трубки не курил. Слово, данное Лизе, Калистов сдержал: он не пропустил ни одних каникул, не побывав в Скрябине.

Нечего говорить, что каникулы эти еще более сближали и Калистова и Лизу, и наконец они дошли до того, что жить в разлуке им становилось нестерпимо тяжело. Однако поступить иначе было невозможно. Калистову было необходимо кончить курс, так как иначе он не мог бы получить священнического места. Каникул Калистов ждал с таким нетерпением, что считал не только остававшиеся до них дни, но даже и часы, а с приближением этого вожделенного времени становился все нетерпеливее. Сверх того, чуть не каждую неделю они обменивались длинными письмами. Калистов описывал Лизе свое житье в бурсе, а Лиза свое в Скрябине. И каждый раз, читая незатейливые письма Лизы, Калистов мысленно переносился к ней и мысленно жил с нею. С полгода они ничего не говорили пономарю о своем решении; наконец Лиза не вытерпела и объявила ему все. «Прости меня,— писала она Калистову,— я все открыла отцу. Не сердись. Но, право, мне так было тяжело возиться с своим счастием (оно оказалось сильнее меня), так хотелось счастием этим погордиться, похвалиться, порадоваться с кем-нибудь судьбой своей, что я не вытерпела и все рассказала отцу. Я начала с приказчика, возбудившего в тебе ревность, и кончила палисадником, свидетелем наших радостных слез. Нечего говорить, что отец сначала не поверил моему счастию, но затем, убедившись, что все это правда (а убедился он, верно, по глазам моим), он предался такой же радости, какой предаюсь я и утром, и ночью, и днем. Нет, этого мало! какой пре-

даюсь не только каждую минуту, но даже каждую секунду, каждое мгновение!» Письмо это Калистов перечитывал несколько раз, и не только он, даже я затвердил его наизусть.

— Однако, брат, ты, я вижу, парень-то ловкач! — кричал пономарь, когда Калистов, весь промокший от распутицы, пришел к нему на пасху.

— А что? — спросил он весело.

— С девками не робеешь!.. Ловко обработал!

— Нравится?

— Ничего!

И, только тут заметив, что Калистов был весь мокрый, он вскрикнул:

— Где это тебя так угораздило?..

— А вот здесь, совсем под вашим селом...

— На Осиновке?

— Да, на Осиновке, чтобы ей пусто было... Сначала шел по льду, ничего, хорошо... правда, похрустывало, а все-таки идти было можно, а потом как ухну вдруг... да по самый по пояс.

Но пришла Лиза, и весь холод был забыт.

И никогда еще ни пономарь, ни Лиза, ни Калистов не встречали так радостно пасху, как встретили и провели ее в тот памятный год.

— Однако вот что, — говорил пономарь Калистову, — ты смотри, чтобы твоя любовь не мешала твоему ученью. Я тебе по совести скажу, я человек бедный, а ты беднее меня. Учись, смотри, да чтобы тебе попом быть, а без того — нет тебе моего благословения...

— Не бойтесь! — крикнул Калистов, но вдруг, вспомнив то же самое слово, сказанное Лизой, расхохотался.

— Чего хохочешь-то...

Бывшая при этом Лиза тоже вспомнила это «не бойтесь» и присоединилась к хохоту Калистова, а благодушный пономарь глядел на них и, качая головой, говорил:

— Совсем взбесились.

Следующее затем лето Калистов опять провел в доме своей невесты, и так как сватовство это не было уже тайной, то они ни перед кем и не скрывали своей взаимной любви.

Наконец мы кончили курс и, словно птичка, вылетевшая из клетки, взмахнули слабыми еще крыльями.

До этой минуты о жизни мы не имели, конечно,

никакого понятия; мы видели только ее цветки. Жизнь наша начинается именно с той минуты, когда перед нами, растворив бурсацкие двери, начальство проговорит: «Ну, господа, вы кончили; мрак невежества перед вами рассеян; мы обогатили ум ваш познаниями, мы представили вам широкую дорогу. Вот вам ваши документы, ваши аттестаты, делайте с ними, что знаете, ступайте, куда хотите, но здесь вам оставаться нельзя, и нам до вас нет никакого дела».

Вот эта-то минута и есть начало нашей жизни! Только перешагнем за порог, как дверь бурсы захлопывается, и ходу туда тебе уж нет, а ступай куда знаешь. Нет ни щей, ни каши, ни теплого угла,— ничего! На первых-то порах,— я буду говорить о сиротах, подобных Калистову,— мы этой минуты хорошенько не понимали, мы были одушевлены еще надеждой, волей, упованием на будущее. «Я пойду в священники»,— говорит один: «Я пойду на гражданскую службу»,— говорит другой; «Я пойду в учителя»,—говорит третий. Но прежде, чем заняться этим, все говорят: «Я пойду, поживу в деревне». Там-то у такого-то есть приятель; у такого-то есть дядя; у другого — тетка. И вот все расходятся на некоторое время по деревням, подышать чистым воздухом, отдохнуть от бурсацкой жизни, посмотреть на луга, на леса, на светлые озера и реки. Но, проживя неделю, другую,— один видит, что его приятель сам еле-еле перебивается, другой — что дядя его, дьячок, добывает себе кусок хлеба не шутя, а кровавым пóтом, что он с утренней зари и до поздней ночи, согнувшись в три погибели над сохой, вспахивает свой загон, ради хлеба; что, ради хлеба, он до мозолей стирает свои руки, скашивая траву; что, ради хлеба, он всех своих ребятишек гонит в поле на жнитво[11] или сенокос; третий видит, что тетка, у которой он думал отдохнуть, вдова и живет христа-ради у священника. И всем становится вдруг совестно, что они объедают бедных. «Нет,— говорят они,— им самим есть нечего! пойдем и мы хлеб добывать»! И вот все идут опять в город. Но они все еще не унывают, они все еще надеются на будущее. У них есть аттестат, следовательно — дорога широкая. И вот они пришли в город; в кармане у другого даже гроша нет, на плечах один нанковый сюртучишко, квартиры нанимают жалкие. Один, глядишь, из-за куска хлеба, пристроился к ка-

кому-нибудь чиновнику и учит грамоте чуть ли не всю семью; другой — живет перепискою бумаг; третий — книги переплетает; четвертого — берет какой-нибудь причетник и, в надежде на будущие блага, кормит и поит бесприютного. Так все кое-как и разместятся. Видя, разумеется, такую бедность, никому и дела нет до нас, разве уж какой-нибудь случай выйдет. Хорошо еще, что между нами дружба есть, хорошо еще, что мы хотя скудно, но помогаем друг другу.

Первое, что́ сделал Калистов по окончании курса, это — тотчас же отправился к Лизе. Счастливый и торжествующий пришел он на свою родину, под милый кров. Лиза встретила его первая.

— Ну, мой друг, Лиза, — проговорил он, обнимая ее, — я кончил все. Теперь нам ждать недолго.

В тот же вечер, когда вся семья сидела за ужином, пономарь дал окончательное слово Калистову выдать за него свою дочь; но прежде чем обвенчаться, Калистов должен был идти в город и хлопотать о месте.

Все были счастливы. Счастлив был старик пономарь, счастливы были и Калистов с Лизой.

Неделя промчалась незаметно, и вот Калистов снова отправился в город. Денег было у него немного, всего каких-нибудь три-четыре рубля, а рассчитывать на скорое получение места — нельзя. Надо было добиться денег. Калистов пошел по своим товарищам, но и те сами были не богаче его. К счастью, попалась одна просвирня, которая, видя перед собою бедняка, ожидающего, впрочем, священнического места и хорошо кончившего курс, взяла его на хлебы, а деньги согласилась подождать.

Однако Калистов все-таки не забывал, что хотя просвирня и изъявила согласие на подождание денег, но все-таки хлопотать об них не мешало, ибо просвирня сама-то едва переколачивалась со дня на день.

Но и тут судьба поблагоприятствовала Калистову! Приехал в город помещик, определять своего сына в гимназию. Барчонок, как видно, подготовлен был плоховато, и помещик решился найти для него учителя, но чтоб учитель этот был недорогой. Дешевле семинариста, разумеется, никто не возьмет, и вот Калистов попал к этому помещику и за незначительную плату принялся ходить на *кондицию*[12] и заниматься с барчонком.

Однажды как-то прихожу я к нему. Как теперь помню, дело было в обеденную пору. Смотрю, Калистов сияет счастьем.

— Что это, говорю, с тобой?

— А что? — говорит.

— Да что-то ты очень весел.

— Да так, веселится.

— Разве есть, — говорю, — что-нибудь хорошее?

— Есть, — говорит.

Оказывается, что Калистов только что воротился от секретаря консистории[13], который принял его как нельзя лучше и обещал свое высокое покровительство.

Секретарем у нас в ту пору был некто Финоген Андреевич Гелиотропов. Это был мужчина лет сорока, высокий, полный, с свежим, всегда чисто-начисто выбритым лицом, розовыми щеками и еще более розовыми губами, всегда приятно улыбавшимися. Финоген Андреевич считался в городе красавцем, подозревался в нескольких интрижках с несколькими молодыми вдовушками, но тем не менее пользовался уважением и завоевал себе название «благомыслящего человека». «Благомыслящий человек» этот, сознавая свою красоту, одевался всегда не только изысканно, но щеголевато. Короткие волосы, всегда блестевшие, зачесывал на виски, а на лбу устраивал «тупей», который каждый день завивал; галстук носил высокий из черного атласа, манишки снежной белизны и бархатные черные жилеты, на которых особенно рельефно обрисовывалась массивная, червонного золота, цепочка с брильянтовой задвижкой. Походку имел «благомыслящий человек» важную, медленную, но, встречаясь с дамой, как-то особенно сладко улыбался и, скользнув левой ногой вперед, приподнимал слегка правую, замирал на секунду и затем подлетал, живописно изогнув правую руку по направлению к сердцу. Это означало: «сердечно рад». Жизнь «благомыслящий человек» вел аккуратную. В известный час вставал, ложился спать, в известный час приходил в консисторию и уходил оттуда, в известный час пил чай, завтракал, обедал, выкуривал «свою сигару», выпивал «свой стакан холодной воды» и в известный час гулял в городском саду, ради моциона. В саду этом он был особенно изящен. Как теперь вижу его фигуру, в легком пальто, в цилиндре, надетом немного набекрень, с

шелковым дождевым зонтиком в руках и с фуляровым платком[14], выглядывавшим из заднего кармана его пальто. Обойдет, бывало, раза три по утрамбованным дорожкам весь сад кругом, посмотрит на клумбы цветов, сорвет стебелек резеды и, понюхивая его, сядет на скамью. Вечера он проводил в клубе, за картами. «Благомыслящий человек» жил в роскошной квартире, имел жену для мебели, дочь, выданную, впрочем, замуж, и пару красивых лошадей. Консисторию он держал в руках, и так как архиерей[15] у нас в то время был закоренелый монах, худой, питавшийся просвирами да картофелем, служивший длинные-предлинные обедни и заутрени, то нечего говорить, что настоящим архиереем, в смысле администратора, был не кто другой, как «благомыслящий человек»». Он назначал попов и дьяконов, давал им места, ставил и сменял благочинных, награждал набедренниками, скуфьями, камилавками, отдавал под суд и миловал, и на епархию смотрел, как на свою оброчную статью или как на стадо баранов, которых можно было и стричь, и брить, и даже шкуру сдирать. Тяжелое было то время, и духовенство наше долго не забудет его. В руки этого-то «благомыслящего человека» и разных орденов кавалера попал наш Калистов.

Этот-то «благомыслящий человек» встретил Калистова, обещав ему свое высокое покровительство, просил его быть спокойным, присовокупив, что он слышал о нем так много хорошего от самого ректора семинарии, что поставляет себе обязанностью оказать ему протекцию.

Я поздравил Калистова с успешным началом и объявил ему, что если уж сам секретарь взялся за это дело, то сомневаться в успехе нечего. Между тем внутренно я только удивлялся и даже не верил Калистову, да и можно ли было верить, когда всем было известно, что секретарь без денег ничего не делал и что прямо объявлял даже об этом просителям. Итак, Калистов зажил отлично. Обнадеженный секретарем и явно покровительствуемый фортуной, он весело и энергически принялся за дело и только об одном и мечтал, чтоб скорее жениться на Лизе и быть священником. Нечего и говорить, что усердная и подробная переписка продолжала производиться ими. Комната, в которой жил Калистов, была невелика, но зато вид из нее был пре-

восходный. Домик точно висел над рекой, так был обрывист берег. С одной стороны виднелся город со всеми своими церквами и белыми домиками, как будто утонувшими в зелени садов и палисадников, а с другой — необозримые луга, по которым бежала река голубой лентой. И как было красиво смотреть на эту реку ночью, когда рыбаки, окончив свой лов, зажгут, бывало, по берегу костры и примутся варить рыбу. Как были красивы их черные фигуры на огненном фоне и как был величествен этот розовый дым, усыпанный искрами, расплывавшийся по черному фону ночи.

Хозяйство свое, как ни было оно незначительно, Калистов передал просвирне, и, надо сказать правду, отдал в хорошие руки. Бывало, невольно удивляешься, глядя на старуху! Откуда брались у нее силы! И когда только успевала она все делать. Она и стряпала, и мыла белье, и убирала комнату, и самовар подавала, ну, словом,— все сама. Ухаживала она за Калистовым, как мать родная. Бывало, сто́ит только мигнуть, как уж она все понимала и исполняла. Табак потребуется,— бежит за табаком, огонь спонадобится,— подает коробку со спичками.

Надо вам сказать, что у просвирни была дочка, по разным обстоятельствам засидевшаяся в девках. Дочку эту звали Анночкой. Ей было уже лет под тридцать, и до крайности была она некрасива: рябая, рыжая и кокетка страшная. Бывало, все утро в том только и проходило, что сидела она за зеркалом и всячески убиралась; помочь же в чем-нибудь матери не хотела. Только, бывало, и делала, что сидела у окна да считала прохожих. Характера была злого и с матерью обращалась хуже, чем с кухаркой. Несколько раз старалась мать как-нибудь пристроить дочку, но от Анночки бегали все, как от огня; да и кому нужна такая.

У этой-то просвирни и поселился Калистов.

Раз как-то пришел я к Калистову поздно вечером. В сенях было темно. Вдруг слышу в чулане, в котором спала Анночка, какой-то шепот. Я остановился; слышу — просвирнин голос.

Шептанье это сильно подстрекнуло мое любопытство; я притаил дыханье и тихонько приложился ухом к щелке. Слышу, говорит просвирня:

— Нет, говорит, Анночка: воля твоя, а ты одними нарядами ничего не возьмешь.

— Много вы понимаете! — дерзко отвечала Анночка. — Уж знали бы свои пироги да лепешки, а то туда же, суетесь со своим суждением.

— Эх, Анночка, — зашептала опять просвирня, — материнский глаз лучше видит. Для тебя же я говорю все это; сама знаешь, в нашем быту одного щегольства мало, нужно знать хозяйство. Ведь тебе не по гостям ездить, а домом управлять. Священнику не щеголиха, а хозяйка нужна, которая умела бы сохранять его добро.

Я еще плотнее прислонился к щелке, но больше ничего не слыхал, потому что залаяла собака и просвирня вышла из чулана.

Я вошел к Калистову; он уже собирался спать. Не знаю, почему-то разговор этот показался мне подозрительным; однако Калистову я не сказал об нем ни слова.

Немного погодя я опять как-то зашел к Калистову; смотрю, у него сидит просвирня, сидит и говорит:

— Да, Петр Гаврилыч, уж так бы была я вами благодарна, кабы вы мою Анночку грамоте выучили.

— Что же, это все ничего, можно, — говорит.

— Добрый вы человек, Петр Гаврилыч, — говорит просвирня, — недаром я вас словно родного сына полюбила. Так, значит, можно к вам Анночку присылать?

— Присылайте, ничего.

— Очень, говорит, вам благодарна. А я для вас, Петр Гаврилыч, всей душой. Конечно, я, говорит, женщина бедная, беззащитная, а ценить добро все-таки умею.

Я, разумеется, сижу да слушаю. Наконец кончилось тем, что Калистов согласился учить Анночку.

Вскоре просвирня ушла, и мы остались одни.

— А знаешь ли, что я тебе скажу, — проговорил я, обращаясь к Калистову, — я бы тебе посоветовал съезжать с квартиры.

— Это, говорит, почему?

— Да так и так, говорю, что-то тут дело-то подозрительно.

Да и рассказал ему подслушанный разговор.

А Калистов только расхохотался. «Вот, говорит, вздор какой выдумал».

Таким образом начались уроки. Анночка аккуратно каждый день приходила в комнату Калистова и про-

сиживала у него часа по два, по три; а как только, бывало, станет уходить, так и начнет звать Калистова к себе, то на чай, то на пирог. Ну, разумеется, Калистов не отказывался, да оно и понятно, если хотите: человек совершенно один, занятия были только по утрам, а вечер не одному же сидеть. Кроме того, заманивало Калистова к просвирне и то, что был он там всегда первым гостем. Бывало, только покажется в комнату, как просвирня с дочкой не знали куда и посадить его, пойдет угощенье: чай, закуски разные... Что, бывало, Калистов скажет, то и свято. Трубки ли захочет покурить, сейчас ему набивают; ноги, бывало, протянет на стул, а просвирня стоит перед ним да просит разных советов: «Я, дескать, женщина беззащитная, глупая, а умников слушать надо!» Ну, Калистов и барствует; самолюбие удовлетворено, почет во всем, и все это втянуло его в общество просвирни. Как только воротится, бывало, с кондиции, так и к ней; у ней обедал, ужинал, чай пил, а немного погодя стал даже входить и в хозяйственные распоряжения, сделался в доме чем-то вроде хозяина, так что даже и нахлебники, жившие у просвирни, и те во всем ему подчинялись.

Так прошло с месяц.

Сижу я раз дома, читаю книгу; вдруг приходит Калистов.

— Ну, говорит, приятель, поздравь меня.

— Что такое?

— Скоро, говорит, место получу.

— Неужели?

— Да, говорит, скоро.

— Где же это?

— В селе Ивановском. Новая церковь выстроена, и только ждут владыку, чтоб освятить ее, а владыка-то болен.

— Почему же ты знаешь, что именно тебя посвятят туда? — спросил я.

— Как, говорит, почему: сейчас у секретаря был.

— Так это он сказал тебе?

— Он, и он же за мной на квартиру нарочного присылал. Не велел никуда отлучаться теперь. «Ждите, говорит, со дня на день!»

Я только посмотрел на Калистова, а сам внутренно подумал: неужели в самом деле секретарь посылал за

ним. Удивительно показалось мне это, и удивительно потому, что никогда таких примеров не бывало. Однако я промолчал и спросил о том, хорош ли приход?

Приход оказался отличным,— душ в тысячу, но что всего лучше, так это то, что старушка помещица была дружна с преосвященным, стало быть, у Калистова будет и протекция.

Калистов просидел у меня недолго, а вечером пошел я к нему. Входя в калитку, я встретил просвирню.

— Не к Петру ли Гаврилычу? — спросила она меня.

— Да, к нему,— говорю.

— Их, говорит, нет дома, куда-то вышли. Впрочем, они скоро вернутся, вы подождите их. Да не угодно ли ко мне покуда, у меня и самоварчик кстати кипит, чайку бы накушались.

Я зашел, Анночка сидела у окна.

— Нет, каков наш-ат! — проговорила просвирня, когда я уселся.

— А что?

— Как что? Сам секретарь сегодня присылал за ним. Приказал ждать места и никуда не отлучаться...

— Неужели это правда?

— Сама видела.

— А ведь я, признаться, думал, что он врет это.

— Какое же врет! Сама видела. Мы, знаете ли, сидим с Анночкой, а человек вдруг и входит. «Здесь, говорит, живет студент Калистов?» Да таким басом спросил, что я даже вздрогнула. «Здесь, говорю, батюшка».— «Так скажите, говорит, ему, чтоб сейчас к секретарю шел, очень, дескать, нужно».— И потом, вдруг понизив голос, просвирня спросила меня:

— Да что, батюшка, у Петра-то Гаврилыча невеста-то есть, что ли?

«Э! Так вот зачем ты позвала меня чай-то пить,— подумал я,— ну да добро же, я тебя поморочу».

— Нет, говорю, нет еще.

— О чем же они думают? — продолжала просвирня.

— Не знаю.

— Ведь священники-то холостые только в немецких землях бывают, а у нас женатые. Пора бы позаботиться.

— Видно, говорю, не облюбовал еще.

— Так-с,— проговорила просвирня и взглянула на Анночку.

В это самое время под окном послышалось веселое пение. Просвирня узнала знакомый его голос и в одну минуту бросилась встречать Калистова. Анночка тоже вскочила с места и со свечкой в руках побежала на крыльцо.

Между тем весть о том, что секретарь присылал за Калистовым, немедленно распространилась по всем нашим. Все приходили в изумление и не знали, чему приписать такое внимание и благоволение. Некоторые начали завидовать и сердиться на Калистова, называя его хитрым, низкопоклонным; но как они ни сердились, а все-таки к Калистову ходили и даже заискивали его протекции. Калистова это забавляло, и мы, бывало, немало смеялись над всем этим.

Владыка между тем все еще не поправлялся, и по отзыву доктора, выехать мог не скоро. Помещица же старушка непременно желала, чтоб выстроенный ею храм был освящен епископом. Стало быть, надо было ждать.

В таком-то положении были дела Калистова, когда получил я из деревни письмо, в котором меня извещали, что матушка, простудившись во время мочки коноплей, не на шутку захворала. Я простился с Калистовым, нанял лошадей и поскакал домой. Приехал я через сутки и нашел, что матушка действительно больна; но так как у нас в селе есть у помещика больница и немец-лекарь, то, значит, больная была не без помощи и можно было надеяться на выздоровление. Кроме того, в болезни матушки принимала участие и сама помещица: она каждый день ходила ее навещать и приносила чай, варенье; словом, все ухаживали за матушкой. Приезд же мой помог лучше всяких ухаживаний. Не дальше как на третий день матушке было гораздо лучше, но ехать в город я все еще не решался. Кроме того, удерживало меня также и то, что надо было молотить хлеб, а так как у батюшки работника не было, то я и решился помочь ему в молотьбе.

Однажды как-то батюшка куда-то уехал, и я был один на гумне; вдруг, смотрю — идет Лиза.

— Бог помощь, говорит, Иван Степанович.

— Ах, это вы, Елизавета Николаевна,— говорю я,— как поживаете?

— Ничего, слава богу. Это вам и не стыдно, говорит, Иван Степанович?

— Что такое?

— Да к нам не побывать!

— Да все недосуг,— говорю.

— Как же, говорит, поверю я вам. Нет, уж вы просто поспесивились. Да что это вы один, говорит, молотите, дайте-ка я помогу вам.

Я было попросил ее не беспокоиться, да она и слушать не хотела, взяла цеп и принялась молотить, и у нас так пошла работа, что просто прелесть, в два цепа; да ведь как валяли-то, только пыль столбом летела.

— А я,— говорит Лиза, не переставая молотить,— нарочно к вам пришла. Услыхала, что вы из города приехали, и пошла. Что, как там?

Я смекнул, в чем дело.

— Это, говорю, насчет Петрухи?

— Да, говорит, насчет его. Что, как он здоров?

— Слава богу, кланяться приказал.

— Спасибо... А письма нет?

— Давно ли он вам писал-то!

— Недавно-то недавно, но я полагала, что с вами еще напишет. А что место?

Я рассказал ей все подробно и рассказ свой покончил тем, что, по всей вероятности, весьма скоро она будет уже «матушкой» в селе Ивановке.

После этого посещения я виделся с Лизой почти каждый день; то она ко мне завернет, то я к ней. Ни в чем не завидовал я Калистову: ни его успехам в семинарии, ни протекции, которую оказывал ему секретарь консистории, ни месту, которое он получает прежде других, но в отношении Лизы — грешный человек — зубы точил на него. Так я в нее втюрился, как не может втюриться самый отчаянный мальчишка. Не поверите ли, я даже с ужасом помышлял о той минуте, когда Калистов, получив место, явится в Скрябино и поведет к венцу Лизу. Теперь, конечно, я понимаю, что все это было глупо, гадко, ну, а тогда дело было иное.

Раз как-то прихожу к ней: смотрю, у крыльца пономарского домика стоит щегольская тележка, запряженная тройкою лошадей. Сбруя на лошадях с медными бляхами, с кистями, с переметами, в гривах вплетены разноцветные ленты, бубенчики так и громыхают при малейшем движении лошадей.

— Кто это? — спрашиваю я у кучера.

— Свистунов, Николай Николаич.

Я даже ушам не поверил! Однако все-таки вошел в комнату и действительно увидал Свистунова, того самого приказчика, к которому приревновал Калистов Лизу. Он был одет франтом, в поддевке, в бархатных шароварах, лаковых сапогах, в шелковой рубахе, в воротнике которой блестела какая-то особенно бросавшаяся в глаза запонка, ну, просто молодец молодцом. И сам-то по себе он был красавец... высокий, статный, стройный, с черными кудрявыми волосами, с большущими синими глазами... Когда я вошел в комнату, Лиза провожала Свистунова...

— Ну, счастливо оставаться! — говорил Свистунов.— Коли такое дело, то, видно, нам прохлаждаться здесь нечего... Прощайте, Лизавета Васильевна...

— Прощайте, Николай Николаич...

— А может, надумаете еще...— проговорил Свистунов,— коли надумаете, дайте весточку, мигом прилетим, соколом упадем!

— Нет, уж не ждите...

— Напрасно-с, ей-ей напрасно-с!.. Итак, прощайте-с...

И, крепко пожав Лизе руку, он вышел, вскочил в тележку и полетел именно быстрее сокола.

— Поздравьте! — говорила между тем Лиза, обращаясь ко мне.

— С чем? — спрашиваю.

— С женихом.

Я даже ужаснулся.

— Что это значит?

— Свататься приезжал.

— Кто?

— Свистунов.

— Как? — спрашиваю.

— Известно, как сватаются-то! — просил моей руки. «Охота, говорит, вам за кутейника[16] выходить, попадьей весь век прокоптить! То ли дело купеческой женой сделаться. Я, говорит, теперь в купцы приписался, гильдию плачу[17], у помещика Заборина пятьсот десятин лесу купил, мельницу у него же в аренду снял на двенадцать лет. Крупчатка[18] важная, шесть тысяч доходу дает. А уж какой, говорит, домик при мельнице... загляденье просто!.. Светленький, чистенький, о пяти комнатах... Под самыми окнами река шумит, а кругом зе-

леный лес стонет... Заживете, говорит, словно в сказках царевны прекрасные... кони у вас будут вихря быстрей, кушать будете сладко, наряжать буду в парчи да в бархат, почивать на лебяжьем пуху, ни в чем отказа не будет! А отцу, говорит, вашему хоть сейчас за вас триста монет оставлю! Свадьбу, говорит, сыграем знатную, хмельную, шумную, с музыкой, песнями... чтобы недели три в чаду ходить».

— Что за чепуха! — говорю.

— Нет, не чепуха! — крикнула Лиза, а сама подбоченилась да таково-то насмешливо глянула на меня, да так-то захохотала, что у меня мурашки по телу пробежали.

— Чем же все это кончилось? — спрашиваю.

— Известно чем... поклонилась я ему низехонько от лица до сырой земли и сказала: «Спасибо тебе, добрый молодец, свет Николай Николаевич, за твою любовь, за ласку да за доброе слово. Родилась я на свет не царевной, а простой поповной... Не к лицу мне парча да бархат, жизнь купецкая... не мне на твоих конях кататься, не мне в твоих теремах жить и спать на пуху лебяжьем... У меня есть суженый иной, а у тебя будет иная. Спасибо, добрый молодец, свет Николай Николаевич».

И, проговорив это, Лиза захохотала.

Вдруг, в эту самую минуту, дверь распахнулась, и в комнату вбежал Калистов.

Мы даже вскрикнули оба при виде его, а он, увидав Лизу, так и повис у нее на шее.

— Нет, — говорит он, — вытерпеть не мог, чтобы не повидаться с тобой.

И нимало не медля рассказал, что владыка оправился, что он скоро выедет и что секретарь, уведомив его об этом, просил его, Калистова, зайти к нему в следующую пятницу для окончательных объяснений и для написания прошения.

И затем, вынув поспешно из кармана какое-то письмо и подавая его мне, прибавил:

— На, читай... да только читай громко, чтобы все слышали.

Это было письмо от «благомыслящего человека». Письмо это я помню от слова до слова. Вот что писал он: «Его преосвященство, милостию божьею, оправился совершенно и чувствует себя настолько сильным,

что в непродолжительном будущем предпринимает поездку по епархии и, между прочим, в село Ивановку для освящения вновь сооруженного там храма. Посему предлагаю вам в будущую же пятницу, в семь часов вечера, пожаловать ко мне для окончательных объяснений и для написания прошения о назначении вас священником на упомянутое место. Освящение будет совершено 1 октября, а посему вам необходимо поторопиться, чтобы иметь время сочетаться браком и быть посвященным в дьякона. Посвящение в иерея будет совершено владыкой в день освящения того храма, служение в котором вам назначено мною».

— Что́, каково! — воскликнул Калистов, когда я докончил письмо.

— Так, стало быть, недели через две ты будешь мой! — проговорила Лиза.

— Твой, твой.

— А первого октября мы будем уже в Ивановке.

— Да, в Ивановке.

И, переменив тон, он прибавил:

— Я рассчитал, что к пятнице я успею еще вернуться в город, и потому, как только получил письмо, нанял на последнюю трешницу подводу и марш сюда, к тебе, моя дорогая, моя суженая, жизнь моя.

Вернулся пономарь, ездивший куда-то, прочли еще раз письмо секретаря, поставили самовар, и счастливая семья принялась ликовать, празднуя получение радостной вести. Один только я не разделял этой радости и, глядя на счастливое и довольное лицо Лизы, внутренно завидовал Калистову и вел себя чрезвычайно подло. Мне было досадно это счастье, мне казалось противным оно, и потому ничего нет удивительного, что я поспешил распроститься со всеми и пошел домой. Калистов проводил меня до крыльца.

— Что же, вместе с город-то поедем? — спросил он меня.

— Конечно, вместе.

— Только помни, что в пятницу я должен быть у секретаря, следовательно, выехать необходимо в среду.

— Так и выедем! — проговорил я.

И мы еще раз простились.

Однако домой я в этот день не попал и вместо дома угодил, куда бы вы думали? — на мельницу к Свистунову. Случилось, впрочем, это нежданно-негаданно.

Встретился я с Свистуновым в лавочке, в которую вошел купить себе табаку. Разговорился с ним, и так как он был сильно подкутивши, то кончилось тем, что он силой посадил меня на свою тройку и помчал к себе на мельницу... Как домчались мы до этой мельницы, я не помню, ибо, не будучи привычен к быстрой езде, я как-то замер и потерял сознание. Я помню только, что мы мчались, как вихрь; помню, что, выезжая из села, мы встретили Калистова и Лизу; помню, что Калистов махал рукой, кричал что-то, но что именно, разобрать не мог, ибо слова его заглушались громом бубенцов, стуком колес, а пуще всего неистовым гиком Свистунова. Что-то дикое даже было в этой скачке... словно нас преследовали, словно мы совершили что-то такое, требующее кары, и нам необходимо было ускакать, укрыться где-нибудь, чтобы избежать преследований...

Я опомнился только тогда, когда домчались мы до мельницы и когда тройка, покрытая пеной, храпя и дрожа, стала у крыльца мельничного дома.

— Пожалуйте! — крикнул Свистунов.— Милости просим-с.

Выбежала на крыльцо какая-то девушка, красивая, статная, в русском костюме, в шелковом платочке на голове, бросилась было встречать Свистунова, но, увидав меня, запнулась.

— Рекомендую! — кричал между тем Свистунов, схватив девушку за руку и подводя ее ко мне.— Рекомендую, Паша! возлюбленная моя! больше от скуки держу... но девка все-таки ничего, с огоньком.

И потом, обратясь к девушке и хлопнув ее по плечу, прибавил:

— Ну, Пашка, марш!.. Ставь угощенье... Что есть в печи, на стол мечи... Чтобы пирушка была на славу, а главное, чтобы не было скучно... Грусть-кручина одолела меня, так хочу ее размыкать, разметать по воздуху. Соня здесь?

— Здесь.

— А Варя здесь?

— И Варя здесь.

— Ладно! тащи же их всех... да смотри, чтобы песни нам пели, чтобы плясали перед нами... Слышишь?

— Что больно расходился? — вскрикнула девушка.

— Не спрашивай, убью!

— Ах, страсти какие!.. Не пожалеешь денег, так и весело будет.

— Денег? — крикнул Свистунов.

— Известно.

— Так на́ же тебе, бери, подлая, — проговорил он, бросив кошелек чуть не в лицо девушке, — да смотри у меня...

— Небось!.. спасибо скажешь... разутешим. — И, подняв кошелек, девушка бросилась в дом.

Предоставляю вам судить самим, каково провел я на мельнице тот вечер и ту ночь. Теперь мне совестно вспомнить низкое и подлое поведение мое, но тогда — тогда дело было иное. Мне все нравилось тогда, все было по душе. Мучимый ревностью, я смотрел на дикого Свистунова с каким-то благоговением. «Вот она, широкая-то русская натура, — думал я, — вот он, тот богатырь-то сказочный, полный жизни, энергии, самоотвержения и доблести, которым восхищается русский народ!» И, глядя на него, я припомнил фигуру Калистова.

И тогда Калистов рисовался мне чем-то ничтожным, дряблым, безжизненным и, не скрою, чем-то даже гадким и подлым. А кругом меня — песни, крики, громыханье бубна, звуки торбана[19], топанье ног... Вино, льющееся рекою, объяснения страстные, жгучие поцелуи... Оргия в полном разгаре... а из растворенных окон врывался гул леса, и я пил, я пел, я плясал и затем отдыхал в объятиях Вари...

Только в двенадцать часов проснулся я на другой день.

— Вот так *отчубучили!* — кричал Свистунов над моей постелью. — Вставай, пойдем опохмелиться...

Целых три дня прожил я у Свистунова, и с каждым днем он становился мне все милее и милее, а от его мельницы и рощи я просто в восторг пришел. И действительно, было чем восторгаться. Домик на самом обрыве реки, светлый, чистенький; рядом крупчатка, стонущая снастями под напором воды, а кругом лес, березовый, весь пронизанный зелеными лучами солнца... Тихо, молчаливо, далеко от всего живого, и делай там, что хочешь, никто не услышит и не увидит...

— Хорош приятель! нечего сказать, — говорил мне Калистов. когда в среду я завернул к нему, с тем чтобы вместе ехать в город.

— Хорош, правда! — говорила Лиза.
— Что такое? — спрашиваю.
— И все так-то делают! — перебил меня Калистов. — С врагом моим связался.
— С каким это?
— Да с Свистуновым-то... Человек делал предложение моей невесте, а он — мой приятель-то — с ним дружбу свел...
— Хорош! хорош! — упрекала Лиза.
— И нашел связаться с кем! — говорил пономарь. — С вором...
— Какой же он вор?
— Известно, вор, коли своего хозяина обокрал... Откуда же у него деньги-то!.. Честным-то трудом в три года так не разбогатеешь...
— Да чего! — подхватила Лиза, обращаясь к отцу. — Чуть не задавили нас... Мы гулять ходили, а они мчатся... Петя кричит ему: «Постой! постой!», — а он хоть бы поклонился...
Но я не слушал их... Я все еще был там, в благоухавшем лесу, в светлом домике молодца Свистунова, среди диких плясок и песен, — и тишина пономарской лачуги словно давила меня.
В город приехали мы в пятницу утром, а вечером я зашел к Калистову; он был уже совсем одет и собирался к секретарю...
Но вот что случилось с Калистовым в тот день, который был поистине последним счастливым днем его жизни. Насколько до того времени все ему благоприятствовало, настолько с того дня все стало грозить ему неминуемой бедой. Стоит только раз попасть под немилость судьбы, как одна беда не замедлит смениться другой. С того дня Калистов навеки простился с счастьем. Он потерял веру, потерял надежду, и губительный поток этот увлек его далеко. Главное, беда состояла в том, что удары судьбы попали прямо в сердце Калистова и поразили самые дорогие, самые святейшие его богатства, без которых Калистов не мог существовать, потому что эти богатства и составляли все его существование.
Но возвращаюсь к рассказу.
Распростившись со мною, отправился Калистов к секретарю. Человек встретил его чуть ли не на крыльце.

— Ну, Петр Гаврилыч,— проговорил он,— уж я бежать за вами хотел; барин вас ждет не дождется, пожалуйте в кабинет.

Калистов поспешил войти. «Благомыслящий человек» сидел в вольтеровских креслах и курил «свою сигару». Лицо его было бело и чисто, волосы приглажены, брильянтовые перстни в полном блеске. Станислав так и покоился на белой, как снег, сорочке. Увидав Калистова, «благомыслящий человек» приятно улыбнулся и, протянув руку, проговорил мягким голосом:

— Ну, Петр Гаврилыч, вот и наше дело кончено. Покорнейше прошу садиться и выслушать меня: преосвященный выздоровел... Нам остается только написать прошение, которое вы должны сегодня же подать преосвященному; мешкать нечего.

— Я боюсь, как бы не отказал он мне, Финоген Андреевич,— проговорил Калистов.— Быть может, преосвященный имеет в виду кого-нибудь другого на это место.

— Пожалуйста, не беспокойтесь и надейтесь на меня,— перебил его «благомыслящий человек».— Я поеду к преосвященному вслед же за вами, и мы уладим все сегодня же; я вам ручаюсь.

— Я не знаю, как и благодарить вас, Финоген Андреевич, за все ваши благодеяния,— проговорил Калистов, приподнимаясь со стула.

— Благодарите самого себя, а не меня. Вы так хорошо учились, всегда были столь хорошего поведения, что наше дело искать таких студентов: давайте нам побольше таких священников.

Калистов снова привстал с места и с торжествующим лицом снова поблагодарил своего высокого покровителя. В это самое время дверь отворилась и в кабинет вошла девушка лет двадцати, в ситцевом сарафане и с подносом в руках. «Благомыслящий человек» взял стакан и кивнул на Калистова; девушка вышла и через минуту снова воротилась, неся на подносе еще стакан чаю.

— Не прикажете ли? — проговорил «благомыслящий человек».

— Итак,— начал он, когда девушка вышла,— давайте писать прошение. Только я вам должен сказать, что место это я дам тому только, кто захочет мне сделать следующее маленькое одолжение.

Калистов вдруг отчего-то вздрогнул, да и было отчего, потому что минута эта была началом его бедствий. «Благомыслящий человек» заметил это и приятно улыбнулся.

— Вы испугались? не бойтесь, не бойтесь. Одолжение, о котором я упомянул, самое ничтожное. Вот видите ли, в чем дело: — я буду говорить с вами, как с родным сыном. У меня есть одна девушка, которую мне хотелось бы пристроить. Она очень недурна, очень молода, а главное, имеет порядочное приданое,— шестьсот рублей. Для первого обзаведения это весьма недурно. Вы человек бедный, и для вас это будет большою помощью. Как вы хотите, надобно женачать чем-нибудь. Словом, девушка эта та самая, которая сейчас подавала нам чай.

Калистов так и обомлел.

— Она дочь кормилицы моей старшей дочери,— продолжал между тем с прежним спокойствием «благомыслящий человек».— Девушка она кроткая, смирная, грамотная и будет прекрасною женою. Я вам открою больше... это незаконная дочь моя. Вот, если угодно, давайте писать прошение, и я в один удар сделаю два добрых дела.

— Финоген Андреич! — почти вскрикнул Калистов.— У меня есть невеста...

Как вышел Калистов из кабинета «благомыслящего человека» и как дошел он до своей квартиры, я не берусь рассказывать вам; скажу только то, что, войдя в комнату, он упал на постель и горько-горько зарыдал. Калистов знал, что делать было нечего, что против секретаря ничего не сделаешь. Вмиг исчезли все мечты, картины счастливой будущности,— и Калистова с той минуты нельзя было узнать. Куда девалась веселость, куда девалась энергия?

Дня через два после описанного я зашел к Калистову. Дело было уже вечерком, погода была ненастная. Я вошел в комнату, но она была пуста; я пошел к просвирне.

— Где Калистов? — спросил я ее.

— А! Иван Степаныч! — почти вскрикнула она.— А уж я к вам идти хотела.

— Что такое?

— Да как что? Ведь Петр Гаврилыч пропал.

— Как пропал?

— Да так. Вот уже целых двое суток нет его. Я не знаю, что мне и делать, весь город обегала искавши.

— Быть не может!

— И что́ всего хуже, видели его чуть живым,— пьяным.

— Вздор! — вскрикнул я.

— Пьяным, верно-с.

— Кто же видел его?

— Да мой нахлебник, Мироносецкий. Не знаю, что и делать, и Анночка-то еще так долго не идет.

— А она-то где?

— Да послала ее Петра Гаврилыча искать. И ведь погода-то, на грех, какая, и дождь, и ветер, и темнеть, хоть глаз выколи; как раз, пожалуй, в реку свалится хмельный-то. Что я буду делать без него, грешная, старая, беззащитная!

В это самое время вошла Анночка, вся мокрая.

— Ну что? — спросили мы ее почти в один голос.

— Нет,— проговорила она, опускаясь на стул,— не нашла. Только, говорит, и могла узнать, что Петр Гаврилыч утром были в трактире «Сизополь» с богословами, которых вчера в стихарь посвящали.

— Да как он попал-то к ним?

— Встретился, вишь. Они ходили поздравлять друг друга с благодатью, да и подкутили, а подкутивши, пошли целою компаниею в «Сизополь» машину слушать да остальные деньги докучивать. Петр Гаврилыч встретился им, они его и затащили.

Я расспросил, кто были эти богословы, и, не медля ни минуты, бросился по их квартирам; но поиски мои остались тщетными — богословов никого не застал я дома; бегал к архиерейским певчим, так как я знал, что у них постоянно идет гульба, но и у певчих не нашел я Калистова. Оставалось еще обежать трактиры; несмотря на дождь, сильный ветер, я решился обойти их, но Калистова нигде не нашел. Идти было некуда, надо было отложить поиски до следующего дня.

Вдруг чья-то рука ударила меня по плечу; я обернулся и увидел перед собою одного своего товарища, Кустодиева.

— Здравствуй, брат,— проговорил он.

Я поздоровался.

— Поздравь, говорит, меня.

— С чем? — говорю.
— Место получил.
— Какое?
— Конечно, священническое.
— Куда это? — спрашиваю.
— В Ивановское.
— Так это ты счастливчик,— говорю.
— Да, говорит, я.
— Ну, говорю, поздравляю тебя с этим великим счастьем.
— Спасибо, брат, спасибо.
— Счастье, говорю, воробей,— поймать трудно.
— Нет, я, говорит, поймал.
— А Калистова не видал?
— Нет, говорит, видал. Мы с ним вместе пили...
— Где же он?
— А вот тут, в переулке, пьяный, валяется. Я все время вел его под руку, но наконец утомился и бросил... Хочешь, я доведу тебя до него.
— Веди.

Мы пошли, и немного погодя я увидал валявшегося Калистова, без чувств, пьяным, оборванным и выпачканным в грязи. Я стал будить его, но он не просыпался; я крикнул извозчика, взвалил Калистова на дрожки и повез домой.

Калистов запил, и запил без просыпа.

Но этим еще не кончается несчастная история Калистова. Ему суждено было встретить еще один удар неумолимой судьбы, которого, впрочем, не вынес Калистов и под которым пал окончательно, уже обессиленный и изнуренный.

Прошло несколько дней; Калистов не переставал пить. Между тем помещик, у которого он учил сына, встретив как-то Калистова пьяным, отказал ему и взял другого. Какие были у Калистова деньги, он пропил, а погода тем временем становилась все холоднее и холоднее; сюртук же поизодрался, нижнее платье тоже, а теплого пальто или шинели вовсе не было. Недоставало одного, чтоб просвирня выгнала его из квартиры, но она этого не сделала, а, напротив, еще пуще стала приголубливать Калистова. Анночка тоже около него ухаживала, и наконец дело дошло до того, что сшили ему сюртук, шинель, сапоги с калошами, жилет и нижнее платье, все, как следует, обули и одели парня с ног до головы.

«После, когда-нибудь, отдадите»,— говорила просвирня.

Увидав все это, я окончательно струсил. В одну минуту пришли мне на память все мои подозрения, подслушанный разговор в чулане и всевозможные ухищрения просвирни — втянуть Калистова в свое общество. Но было уже поздно, я не видался больше с Калистовым. Просвирня поступила как тонкий политик. Она в одну минуту поняла, что настоящее бедственное положение Калистова есть самая удобная минута дать ему генеральное сражение. Она смекнула, что мешкать нечего, что чем решительнее и быстрее будет удар, тем вернее будет ее победа. И она начала с того, что отдалила от Калистова всех его товарищей, то есть все свои неприятельские армии, и поссорила с ним меня, заклятого врага своего, опутав между тем окончательно бедного Калистова. Во что бы то ни стало решилась она женить его на Анночке. Она не боялась, что выдает дочь за пьяницу, потому что была, как видно, твердо убеждена, что пьянство это есть временное, что оно пройдет и что рано или поздно она будет иметь в Калистове крепкую опору, под которой она смело может сложить с себя хлопоты и заботы и спокойно донести свои измученные кости до гробовой крышки.

Итак, она отдалила от Калистова всех его товарищей и еще больше принялась угождать ему. Водка, единственная потребность в то время Калистова, играла первую роль, она не сходила со стола, и Калистов стал почти безвыходно проводить время у просвирни. История эта тянулась с неделю, как вдруг вот что́ случилось с Калистовым.

Однажды пришел он к просвирне. Подали водки; он рюмку за рюмкой, да и натянулся. В голове закружилось, и что было дальше, он не помнил. Заснул он. Только вот проснулся-то не на стуле, а на кровати, рядом с просвирниной дочкой, которая, как быть, лежала возле него в одной сорочке. Калистов вскочил, перепугался, да уж поздно, потому что в дверях стояла просвирня со свидетелями.

— Вот,— говорит она,— смотрите, добрые люди, как обесчестил мою дочь, будьте свидетелями...

Дело было поставлено так, что Калистов должен был в тот же день повенчаться с просвирниной дочкой.

Узнал я про это на другой день и в ту же минуту

поскакал в Скрябино, но уже не с теми подлыми чувствами, с которыми я был там несколько дней тому назад, а с чувством тоски, отчаяния и скорби. Я был убит, уничтожен, я терзался за Калистова... Я захворал просто... Я болел и телом и душою, я словно похоронил его и теперь, едучи в Скрябино, словно возвращался с погоста, с только что засыпанной могилы друга. Приехал я в Скрябино утром, Лиза выбежала ко мне навстречу. Она словно предчувствовала горе.

— Ну? — вскрикнула она.— Ну? — повторила она.

Я не знал, что ответить ей.

— Он-то где же?

— Его нет.

— Когда же?..

Вышел пономарь.

— Один? — спросил он.

— Один.

— А Петр Гаврилыч?

— Да говорите же вы, наконец!— вскрикнула Лиза.— Что он, захворал, что ли? Пятница давно прошла, я все письма ждала от него, и до сих пор нет ничего... Захворал, что ли, он?..

Уж я, признаться, даже и не помню, как передал я Лизе о всем случившемся с Калистовым; помню только что Лиза, услыхав про женитьбу жениха своего, как-то вытянулась, побледнела, сдвинула брови и словно окаменела. Глупый пономарь разразился бранью, хотел было ехать к архиерею; грозил Калистова разорвать на части, собрался было искать защиты перед судом, но Лиза остановила его и решительно объявила ему, что если он не перестанет кричать и шуметь, то она сейчас же уйдет из дома. Я глаз не сводил с Лизы и, глядя на нее, ужасался. Словно истукан, она стояла посреди комнаты, словно рассудка лишилась... и хоть бы одна слезинка выкатилась у нее из глаз... Только вечерком, когда я собирался было уехать домой, она остановила меня.

— Нет, вы не уходите! — проговорила она, да таким голосом, что у меня даже мурашки по телу забегали.

— Что с вами? — спросил я, взглянув ей в глаза. И только тогда заметил, что глаза эти не то остолбенели, не то растерянно смотрели вокруг.— Что с вами?

— Ничего.

— Нет, вы больны, Лиза, вам нехорошо...
— Останьтесь ночевать...
— Не послать ли за фельдшером?
— Нет.
И, проговорив это, она ушла молча в свою комнату.
На другой день рано утром Лиза разбудила меня, я открыл глаза и не хотел верить им. Передо мною стояла Лиза, веселая, смеющаяся, разодетая, расфранченная и прекрасная, как никогда.
— Ну,— проговорила она,— теперь я совсем здорова. Ну что,— хороша я в этом наряде, а? говорите же скорее, хороша?.. Да говорите же... Ну, чего вы молчите-то...
И опять ужас объял меня.
— Что с вами, Лиза?
— Нет, ничего.
— Нет, у вас что-то не то...
— А ведь я к вам с просьбой! — вскрикнула она, не слушая меня.
— Что такое?
— Исполните?
— Если возможно, то конечно...
— Нет, говорите прямо...
— Я прямо и говорю.
— Исполните?
— Ну... исполню.
— Так одевайтесь же и проводите меня к Свистунову.
— Что вы, Лиза, господь с вами! — чуть не кричал я.
Но Лиза ничего и слушать не хотела. Она закрыла глаза, заткнула уши и требовала, чтобы я шел с нею... Что было делать? Я сначала отказался, но, когда Лиза, услыхав мой отказ, объявила, что она пойдет одна, мне вдруг стало жаль ее. Я решился идти с нею, думая дорогой образумить ее... Я думал, что все это одна только вспышка, каприз, оскорбленное самолюбие, припадок ревности, мести, злобы. Но вышло на деле, что хотя поступок Лизы и был действительно капризом мести и злобы, но припадок этот она довела до конца. Мы не шли, а буквально бежали по дороге, ведущей на мельницу, и чем дальше мы шли, тем сильнее укреплялась в ней решимость на задуманное ею... Лицо

ее горело, глаза искрились, тонкие ноздри дрожали, грудь поднималась высоко, растрепавшиеся волосы выбивались из-под платочка и прямо падали на плечи. «Лиза, Лиза, что вы делаете, опомнитесь!» — говорил я ей, но она даже и вниманья не обращала на мои слова. Она словно не слыхала их и продолжала бежать... Наконец мы достигли цели. Она быстро впорхнула в дом и в первой комнате встретилась с Свистуновым.

— Ну, добрый молодец, свет Николай Николаич! — вскрикнула она.— Вот и я в теремах твоих... Слову своему я не изменщица... Женой твоей не буду, а любовницей, коли хочешь, пожалуй. Только знай, что не любовь к тебе привела меня сюда, не парча золотая, не бархат шелковый, не камни самоцветные, нет, не то, не то!.. Но тебе до всего этого дела нет... Я по глазам вижу, чего тебе надо... Ну... показывай же, где у тебя пух-то лебяжий... Клади меня на него, я отдохнуть хочу!..

Целую неделю прожила Лиза на мельнице, но замуж за Свистунова все-таки не вышла. Через неделю она снова вернулась в Скрябино, сшила себе черное монашеское платье и повела жизнь «чернички». Она не пропускала ни одной обедни, ни одной заутрени, ни одной вечерни, читала над покойниками псалтырь, ухаживала за больными, а с наступлением весны отправлялась на богомолье. Она была в Воронеже, в Киеве, в Москве, побывала во всех монастырях и пустынях, и жизнь такую ведет до сих пор... Я несколько раз был у Лизы, но это уже была не та Лиза, которую я знал прежде. Из веселой и резвой она сделалась серьезной, угрюмой и даже ханжой, в полном смысле этого слова. Она жила не в доме отца, а на огороде, в бане, переделав ее на какую-то келью. Стены этой кельи были увешаны иконами; в переднем углу стоял налой и, стоя перед этим налоем, она читала церковные книги. Калистова я потерял из виду, и только в прошлом году удалось случайно встретить его на ярмарке, в Лопуховке. Случилось это так: прохожу мимо кабака... Смотрю, народ столпился, и весь этот народ все что-то на кабак смотрит. Что такое? — думаю себе. Смотрю, и что же? Стоит в дверях кабака Калистов и играет на гитаре, а лицо такое испитое и сюртучишко рваный. Я остановился, смотрю, что-то будет. Боже мой! И играл же он только в то время!! Уж я на что дубоват на этот

счет, да и то прослезился... Играл тихо-тихо, и точно как он не играл, а плакал... Глаза его, полные слез, так и горели, бледные губы дрожали, он смотрел на чистое и открытое небо, а между тем пальцы его так и бегали по струнам. Вдруг он сделал аккорд и запел что-то.

Кончил он петь, и что же? Взял фуражку и пошел по мужикам собирать деньги, ходит да и приговаривает: «На бедность, на бедность, братцы, не дайте умереть с голода!» Ну, разумеется, кто грош, кто копейку... Подходит и ко мне, протянул картуз, да как взглянул мне в лицо-то... Э! да что и говорить про это!..

После, вечером, пришел он ко мне на квартиру и рассказал, что он вышел из духовного звания, что жил в нескольких трактирах в качестве музыканта, но что жить на одном месте ему тяжело... Вот вам и все. Где жена,— не знаю; впрочем, слышал, что живет в Воронеже, просвирня же давно померла.

* * *

— Ну и царство ей небесное! — крикнул становой и потом вдруг прибавил: — Господа, пожалуйте! ботвинья готова. Пока краснобай этот рассказывал нам историю своего приятеля, я имел достаточно времени, чтобы в точности выполнить все, что только предписывается поварами для изготовления самой отличнейшей ботвиньи. Я перетолок лук с солью, я натер на терке несколько огурцов, накрошил укропу, подбавил к щавелю несколько горчицы и сахару, нарезал ломтями балык и осетрину и даже натер для любителей хрену и все это развел квасом. Теперь прошу вооружиться ложками и приниматься за ботвинью. Думаю, что стряпня моя вам понравится...

Все взялись было за ложки, как вдруг подошел старик хозяин.

— Батюшка, Петр Николаич! — проговорил он, падая в ноги.— У меня все готово... покойник в гробу лежит... прикажи к попу сведение написать, ведь поп-то без бумаги хоронить не будет.

— Ах, ведь я и забыл! — вскрикнул письмоводитель.— Сейчас, дедушка, сейчас напишу.

И, проговорив это, письмоводитель принялся строчить бумагу попу.

Немного погодя, распростившись со всеми, я отправился домой. Когда я садился на лошадь, старик хозяин вывозил со двора гроб Калистова. Старик сидел на гробу и, понукая лошадь, ругался:

— Чтоб тебя черти разорвали! Чтоб тебе ни дна ни покрышки, поганцу этакому!.. Шутка ли! становому пять, лекарю пять, письмоводителю трешницу, кур, поросят; вина сколько полопали... да вот теперь попу еще... тоже ведь *калухан-то*[20] охулки[21] на руку не положит...

А под навесом сын старика полосовал кнутом жену свою Груню... полосовал сплеча по чем попало и, скрежеща зубами, не говорил, а шипел как-то:

— Я те дам, сволочь, паскуда подлая!.. Вишь, лекаршей захотела быть... Я те проучу!..

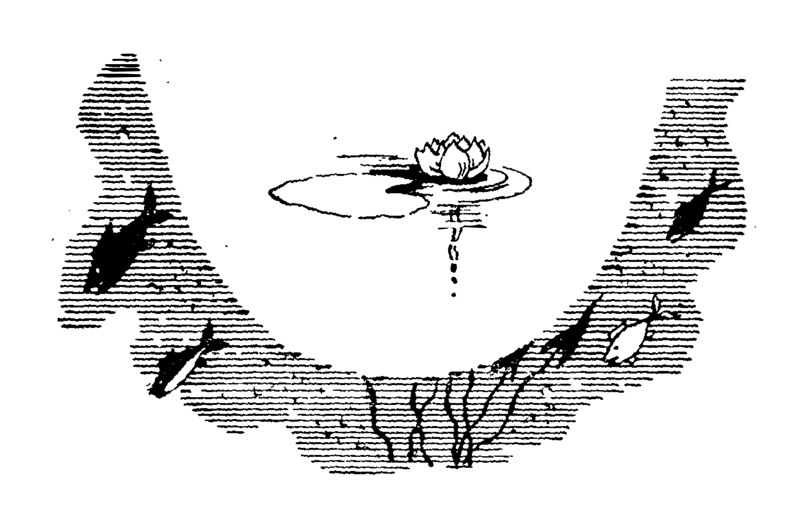
— Зря обижается-то!— ворчала старуха, хладнокровно почесываясь и глядя на сына.— Хуже было бы, кабы в избе-то потрошить начали... от одной вонищи не ушли бы, кажись...

А Груня только ежилась при каждом свисте ременного кнута, опасаясь криком привлечь на себя внимание людей.

Часов в десять вечера я был уже в деревне и ехал вдоль огромного пруда, на берегу которого стоял мой деревянный домик. Что за чудная ночь! Я остановил лошадь. Избы здесь и там раскинулись вдоль пруда, там все уже спали; неподалеку белая церковь. Все тихо... Слышу только, как вдалеке бор стучит ветвями... но лошадь моя не стоит. Я слезаю, держу ее за повода и прислушиваюсь... Сквозь шлюзы сочится вода... Там зыкнет вдруг кузнечик... Там прошепчет камыш... Что ж это такое? Откуда взялся этот чудный, волшебный мир?.. Однако пора домой! Иду и слышу, там далеко, за конопляником, кричит кто-то: «Буре-онушка, буре-онушка!» И немного спустя это же самое повторяет кто-то версты за две от деревни, у опушки темного бора, потом и еще, в противоположной стороне... Я останавливаюсь... но кругом все тихо, так тихо, как будто все вымерло, как будто все притаилось и прислушивалось к моему дыханию.

И еще грязнее показался мне в ту минуту содержатель постоялого двора, и еще печальнее представлялась мне история Калистова.

ПОВЕСТЬ



Николай Суетной

История одного крестьянина

(посвящается В. С. Копцевой)

> Как молод был, ждал лучшего,
> Да вечно так случалося,
> Что лучшее кончалося
> Ничем или бедой [1].
>
> *Некрасов*

I

Николай Суетной был крестьянин села Дергачей. Познакомился я с ним при следующих обстоятельствах.

Был апрель месяц. Удил я рыбу на реке Дергачевке. Судя по тому, что из села Дергачей долетал до меня жиденький звон церковного колокола, призывавшего православных к обедне, я догадывался, что было не более семи часов утра. «Становище» мое находилось как раз под тенью раскидистой ветлы, только что успевшей одеться молодой свежей зеленью. Направо и налево возвышались кусты тальника, а как раз передо мной река круто поворачивала налево и, пройдя сажен пятьдесят, раздваивалась на два русла, образуя небольшой островок, тоже поросший тальником и ветлами. Утро было превосходное, ароматичное, как бы дышавшее запахом ландышей и фиалок. Ветра ни малейшего, вследствие чего река стояла неподвижно, точно зеркало, отражая в себе и светло-голубое небо с едва заметными облачками, и все окружавшее ее. Воздух наполнялся криком всевозможной дичи: кричали коростели, чибисы, утки. Чаще всего слышалось хрюканье диких селезней, тщетно призывавших к себе успевших уже поняться [2] и засесть на гнезда подруг своих. Селезни метались как угорелые, со свистом носились взад и вперед над озерами, болотами и тальниками и, подняв с гнезда какую-либо неосторожную утку, друг перед другом старались сбить ее на землю или на воду. Утка орала, увертывалась, то спускалась до земли, то взвивалась под облака, но редко отделывалась от докучливых ловеласов.

Рыба клевала плохо. На маленькие удочки попадалась еще мелкая рыбка, на большие же ничего. Расставленные жерлики [3] тоже стояли неподвижно, словно околдованные.

Я собирался идти домой, как вдруг на островке послышался треск сухих сучьев, и из-за кустов тальника словно выпрыгнул какой-то тщедушный мужичок в коротеньком полушубчике, в картузе с разодранным козырьком, с засученными выше колен портками и с рыженькой козлиной бородкой. Суетливо подбежал он к самому краю берега и ещё суетливее принялся рассматривать расставленные в нескольких местах жерлики. Жерлик, которых я прежде даже не замечал, оказалось штук десять. Мужичок был много счастливее меня. На двух жерликах сидело по соменку, фунтов по шести, а на одной — большущая щука. Сунув добычу в мешок и снова расставив жерлики, мужичок юркнул в кусты, пошумел в них, прошлепал по грязи босыми ногами, прикашлянул, прокричал кому-то: «Есть, Нифатка, есть!» — а немного погодя, вместе с каким-то мальчуганом, выплывал уже из-за острова, стоя на крохотном челноке, вертевшемся под ним, как скорлупа ореха, и направился в мою сторону. Солнце ударяло ему прямо в глаза, и потому он долго не замечал меня, но, как только заметил, поспешно снял картуз, бросил его на дно челнока, засуетился, чуть не опрокинулся в воду, круто повернул налево и поплыл к берегу.

— Ничего, ничего! — крикнул я,— плыви знай, ты мне не мешаешь!

Но мужичок подчалил уже к берегу, крикнул мальчугану: «Нифатка, вылезай!» — выпрыгнул и сам из челнока и, вытащив его до половины на берег, принялся выкидывать на землю какие-то мешочки.

Утомленный продолжительным одиночеством, я был рад этой встрече и подошел к рыбаку. Оказалось, что рыбы наловил он немало: у него был мешочек с окуньками, два соменка, о которых я говорил выше, щука, порядочный судачок и затем сом, пуда полтора весом.

Этот-то счастливец и был Николай Суетной, а сопровождавший его мальчуган — сын его Нифатка.

На охоте знакомишься и сближаешься с людьми всего скорее. Вот почему и на этот раз мы тотчас же сошлись с Суетным и вскоре беседовали с ним так дружелюбно, как будто и невесть с которых пор были знакомы. Сначала он, правда, как будто побаивался меня, как будто опасался даже за неприкосновенность своих мешков, прикрывал их сухой кугой [4], раза два-три пытливо окидывал меня с головы до ног, но вскоре

все опасения его исчезли, и он начал даже иногда говорить мне «ты». Он перестал дичиться, отрекомендовал мне своего сына, причем потрепал его по плечу, а когда пришли мы с ним на мое «становище» и когда увидал он мои складные удилища, складной стул и жерлики с колокольчиками, то даже не замедлил поднять меня на смех.

— Вишь, пономарь какой! — говорил он.— Колоколами обвешался!

Немного погодя он вынул из кармана кисет с табаком, трубочку и, набив ее, принялся высекать огонь.

— Я этих спичек смерть как не люблю,— говорил он, ущемив зубами коротенький чубучок,— в избе точно способно, а на ветру хуже нет их! — И, пахнув на меня махоркой, спросил:— Вы как... из благородного сословия будете?

— А тебе это непременно знать хочется?

— Известно. Прежде, бывало, по немецкому платью, по кондырьку (Николай козырек называл «кондырьком») узнавали... коли картуз с кондырьком, ну, и благородный, значит, а теперь этих самых кондырьков до пропасти пошло... у меня вон и то есть... А вы откудова?

Я сказал.

— Так это, выходит, твой хутор-то на горе, возле леса?

— Мой.

— И мельница твоя?

— И мельница моя.

— Купили, что ли?

— Нет, от дяди, по наследству досталось.

— Вот я и узнал теперь, кто ты такой! — вскрикнул вдруг Николай.— Я и дядюшку-то твоего знавал, как не знать! — И, помотав головой, прибавил: — Ух, и сердитый только генерал был!

— Сердитый?

— И! не дай-то господи! Уж больно, бывало, молокан [5] крестить любил!

— Как это?

— Крепостные были еще в те поры... Разденет их, бывало, донага, загонит в реку, как есть табуном целым, понавешает на них крестов медных и марш в церковь! — «Ну, говорит, молись теперь за мое здоровье!»

— И молились?!

— А то нешто! ведь он тут же, поди, с арапником стоит! — И потом, вдруг повернувшись ко мне, спросил: — Ты зачем же сюда пришел-то? У тебя там тоже река рыбная... Места за первый сорт, лучше наших еще... Особливо во Львове... судак из Хопра заходит, сазан... Опять эти бирючки... на что лучше!

— Там надоело.

— Это точно! — подхватил Суетной, — я тоже смерть не люблю по одним местам ходить. Шататься-то охотник я тоже! Теперь мне слободно! Отсеялся — ходи сколько хочешь.

— А ты и посевами занимаешься?

— Да, то! Нашему брату тоже сложа руки сидеть не приходится. Я до всего охотник: и до посевов, и до пчел, и до рыбы. С ружьем тоже хожу, птицу, зверей бью. Я вот и Нифатку своего ко всему приучаю, чтобы, значит, все разуметь мог, на все руки чтобы! Вишь как раков-то потаскивает! — прибавил он, указывая на мальчугана, ползавшего тем временем вдоль берега и вытаскивавшего голыми руками раков из нор.

— Эй, Нифатка! — крикнул он. — Что, много натаскал?

— С решето будет! — отозвался Нифат.

— Крупные?

— Есть и крупные.

— Катай больше! Жигулевскому барину снесем тогда. Он купит. — И, кивнув головой на одну из жерлик, спросил: — Какая, донная, что ли?

— Донная.

— Ну, вот и не так! — чуть не вскрикнул Суетной. — В здешних местах донные не годятся, потому у нас дно коряжистое, зацепистое... Здесь надо так жерлику ставить, чтобы живец не глубже как на полтора аршина ходил. Ну-ка, посмотрю-ка я, как вы живцов-то насаживаете... Можно?

— Конечно, можно.

Он вытащил одну жерлику с живцом, успевшим уже заснуть, и покачал головой.

— Не так? — спросил я.

— Эх, голубушка горькая! — вздохнул он. — Нешто так можно!

— Как же, по-твоему?

— Надо, чтобы живец не мертвый, а веселый был. Кто же так насаживает! Задул крючок в спину и ду-

мает, что рыба жить будет. Ах, братец, нешто так можно! Нет, я вот как делаю: я живца-то привязываю к крючку.

— Как это?

— А вот как: крючок я прикладываю сбоку живца, острием наперед, беру иглу с ниткой, сначала привяжу крючок за ноздрю живцу, а потом легонько прокалываю кожицу возле спинного поплавка и опять там привяжу. Вот у меня-то живец и ходит весело. А так, нешто можно? — И потом, обратясь к сыну, прокричал:— Эй, Нифатка, подь-ка сюда! Подь-ка скорей!

Нифатка подбежал.

— Смотри, как барин живцов насаживает!

Нифат даже руками всплеснул, и оба они принялись хохотать.

— Ну, а с ружьем-то ты часто ходишь? — спросил я Суетного, когда тот, вдоволь нахохотавшись и снова послав Нифатку ловить раков, закинул мою жерлику.

— Как свободное время выдастся, так и марш. Я люблю так стрелять, чтобы сразу штук пять-шесть положить. Времена-то ноне больно тяжелые подошли, тоже ведь пить-есть хочется... где-нибудь доставать надоть... Однех податей чертову прорву платишь. Сидим мы на малом наделе, землю нанимать приходится, покосы тоже, расходы под скотину опять-таки даром не дают. Земли дорогие стали... Под рожь-то пятнадцать рубликов подай за десятинку... зевать-то и некогда... Вот завтра с круговой уткой селезней колотить закачусь... Охота важная!

— Далеко пойдешь?

— На Микишкино болото. Царское место! Я уже себе и шалаш пристроил.

— Да ведь теперь нельзя стрелять-то, запрещено!

— Селезней-то? — удивился Суетной.

— Все одно, и селезней нельзя.

— Ого! Кто это тебе наврал?

— Закон не позволяет.

— На селезней законов нет. Селезень теперь не нужен, потому свое дело он покончил. Самки понялись, на гнездах сидят... Теперь селезень только помеха одна. Их, подлецов, колотить надо... вот что! Вечером опять сюда приду, осмотрю жерлики, перемёт поставлю, а ночевать в шалаш.

— А болото далеко отсюда?

— Микишкино-то?

— Да.

— Да вот тут же, за островком. Вот увидишь, сколько я этих самых селезней наколочу!

— Что же ты с ними делать будешь?

— Как что? Известно, продам. Я новую избу ставить собираюсь, так деньги мне нужны. Жигулевский барин все у меня купит с превеликим удовольствием. Я и рыбу сегодняшнюю ему же снесу...

— Да что же это такое! — невольно удивился я.— И раков ему продать собираешься, и рыбу, и селезней будущих...

— Все купит! ему только подавай! жрать любит до смерти! Вчера ко мне нарочно присылал, дичи, говорит, подавай! Да неужто ты его не знаешь?

— Не знаю.

— Жигулевского-то барина?

— Ну, да, жигулевского барина.

— Не знаешь?

— Не знаю.

— Да его любой мальчишка знает. Эй, Нифатка, Нифатка! Слышь-ка! жигулевского-то барина не знают! Как это! Все в тарантасе ездит, с бляхами, с бубенцами, с колокольчиками. Куда ни поезжай, везде встретишь. Шум от него по всему околотку идет. Шумит, кричит...

— А мне с тобой можно? — спросил я.

— Чего?

— Посмотреть, как ты будешь перемёты ставить да селезней колотить.

— Да ведь ты говоришь: запрет наложен.

— Сердце не камень. Уж ты очень хорошо рассказываешь.

Николай даже расхохотался.

— Вишь какой! Охотник, значит, по всей форме.

— Можно, что ли?

— Известно, можно, приходи.

— Ну, вот спасибо. А круговая утка-то на мою долю будет?

— А ты нешто тоже стрелять будешь?

— Еще бы!

— Так это надо еще другой шалаш делать...

— Пожалуйста.

— Ладно. А уток у меня целая тройка, смоленские,

настоящие круговые. Летось у одного барина утятами выпросил. Всю зиму с ними возился, а теперь они у меня недели две уж в темноте в кошёлке сидят. Орут так жадно, что спать не дают. Поди ж ты! тварь, а все-таки понимает. Так и надсаживаются. Ох и важная только охота будет! Селезень-то теперь голодный, дурь-то эта в нем не прошла еще, куда хочешь полезет... Да вы охотились когда с уткой-то?

— Нет.

— Так вот посмотрите.

— Да ты что же это,— перебил я Николая,— то «вы» мне говоришь, то «ты»... говори мне «ты» завсегда.

— Погоди, не осмелился еще. Тоже ведь как кто любит... Попробуй-ка вон жигулевского барина тыкнуть, так он так тебя тыкнет, что ног не унесешь.— И потом вдруг спросил серьезно: — А собака-то есть у тебя?

— Есть.

— Ты не вздумай взять ее.

— Как же без собаки?

— Ни, ни, ни, не моги. Собака только помеха одна! Выть зачнет. То ли собаку, то ли ружье держать, из шалаша выскочит, все болота распужает.

— Кто же дичь-то из озера доставать будет?

— Да нешто это озеро? — вскрикнул Суетной.

— Что же такое?

— Известно, болото; в самом глубоком месте колен не замочишь!

— Ну, ладно.

— Так вот ты и приходи вечерком в стадную пору. Мы с тобой перво-наперво жерлики все осмотрим, потом перемёт поставим, а опосля того в шалаши ночевать.

— А где найти тебя?

— Прямо в Дергачи ступай, любого мальчишку спроси: «Где, мол, тут Николай Суетной живет?» — всяк тебе укажет.

— И прекрасно. Так я теперь домой пойду, патронов наделаю, а вечерком, часов в пять, к тебе.

— Порошку да «фистончиков» на мою долю захвати.

— А у тебя разве нет?

— Есть, да свой-ат поберегаю.

— Хорошо, захвачу.

И я принялся собирать свои удочки и жерлики.

— Нифатка, иди! — крикнул Суетной сыну, все еще продолжавшему лазить по берегу и ловить раков.— Ну, что-о, как?

— Решета с три набрал.

— Ай да молодец! Ну, иди спускай челнок.

Но вдруг, обратясь ко мне и указывая рукой вдаль, на дорогу, он заговорил торопливо:

— Вон, смотри, смотри... вишь пыль-то по дороге крутит... Это самый жигулевский барин и есть. Слышишь, шум какой! Словно Илья-пророк по небу гремит.

— Точно вихорь налетел! — крикнул в свою очередь Нифат, заглядевшись на мчавшуюся по дороге тройку.

Но Николай опять позвал Нифатку и бросился к челноку. Немного погодя они выплыли на середину реки. Нифатка лежал на носу лодки, все еще не спуская глаз с летевшей тройки, а Суетной, опять-таки стоя огребаясь, направился по направлению к Микишкину болоту. За челноком побежала струйка, загорелась солнышком и, разбегаясь на две стороны, размахнулась блестящими крыльями.

Жигулевский барин спустился между тем в лощину, снова вылетел на гору, завернул за рощицу и скрылся из вида. Затих и шум.

II

Имеете ли вы, однако, понятие об охоте с круговой уткой? Сейчас я вам расскажу, в чем она состоит.

Охота эта начинается обыкновенно тогда, когда утки, сев на гнезда, начинают тщательно укрываться от преследования селезней. Круговая утка является тогда искомой приманкой. Подверженная долгому заточению в какой-нибудь душной и тесной кошёлке, но тем не менее находясь под влиянием опьяняющей весны, она, в свою очередь, тоже тяготится одиночеством. Этим-то моментом и пользуется охотник. Он берет утку, надевает ей на ногу кожаную «шпорку», к шпорке привязывает аршина в четыре поводок из тонкой бечевы, а другой конец поводка прикрепляет к колечку, свободно вращающемуся в центре небольшого деревянного кружка. Кружок этот наглухо закрепляется сверху к за-

остренному колу, а кол вбивается в дно озера или болота, так чтобы кружок как раз совпадал с уровнем воды. Кружок этот устраивается для того, чтобы плавающая на воде утка, в случае утомления, имела место для отдыха, а свободно вращающееся колечко — на тот предмет, чтобы не заматывался поводок. Охотник помещается от утки саженях в десяти и укрывается в шалаше.

Селезни слетаются на призывный крик утки и, конечно, попадают под обстрел. Охота, нечего говорить, подлая, но есть много любителей, которые восхищаются ею. Уток этих одни называют «круговыми», потому что они плавают «на кругах», другие — «кряковыми», потому что они «крякают», третьи же — «криковыми», потому что они кричат. Так как в описываемой местности их называют «круговыми», то и я позволю себе так называть их. Лучшими круговыми утками считаются смоленские. На вид они действительно более других походят на диких крякв: такие же строгие, с тонкими красивыми шейками, сухими головками, такие же стройные, и имеют совершенно одинаковый с дикими голос. Но насколько необходимо это сходство — определить не могу, мне приходилось, по крайней мере, видеть, что селезни об эту пору неразборчивы и падают даже на чучел, если то́лько охотник покрикивает в шалаше в утиную дудку.

Такая-то охота называется охотою с круговою уткой.

В назначенный час я был уже у Николая, он был прав, объявив, что любой мальчишка укажет мне на его хату. Мне указал ее такой клоп, который даже путем говорить не умел. Мы не замедлили отправиться в путь и вскоре опять были на том месте, где встретились утром с Суетным. Мы осмотрели жерлики, и Николай опять взял двух сомят и трех довольно больших судачков. Собрав добычу и снова поставив жерлики, мы уселись в челнок, обо́гнули остров и там, где река сливалась опять в одно русло, принялись опускать перемёт... Перемёт Николай опускал мастерски: тихо, осторожно. Я сидел на корме челнока, а Николай вниз животом лежал на его носу и погружал в воду перемёт. При малейшем шуме, производимом мной Николай быстро оглядывался, делал недовольное лицо и шепотом приказывал мне не шуметь.

— Место здесь глухое,— говорил он,— народ ходит

редко, а потому рыба здесь строгая, чует даже, когда человек по берегу идет. Значит, надо осторожно.

И точно, Суетной действовал так осторожно, что не производил ни малейшего шума. Чтобы не стучать ногами о челнок, он даже разулся, а мне под ноги бросил охапку сухой прошлогодней куги. Челнок этот, выдолбленный из толстой ветлы, был до того легок, мал и качек, что я, сидя в нем, едва дышал от страха: так и казалось, что вот-вот мы кувыркнемся и полетим в воду.

Однако все обошлось благополучно, и, когда совсем стемнело, перемёт наш был уже опущен, и мы, вытащив на берег челнок, шли с Николаем по направлению к Микишкиным болотам. Ночь была до того темная, что если бы не Николай, то я, конечно, никогда не разыскал ни болота, ни устроенных на нем шалашей.

Впоследствии оказалось, впрочем, что их и днем даже трудно было рассмотреть, ибо, сделанные из кое-какого хвороста, стволов прошлогоднего репейника и прикрытые камышом и кугой, они скорее походили на кучу сухого мусора, нанесенного водой, а уж никак не на шалаши.

Мы порешили провести ночь вместе, а с приближением утренней зари — разойтись. Так как шалаш, назначавшийся для меня, представлял собой более удобства, был просторнее и устлан довольно толстым слоем куги, то мы оба забрались в него, захватив с собой ружье и кошёлку с утками. Выкурив две-три папиросы, я завернулся с головой в драповую охотничью чуйку и, утомленный продолжительной ходьбой, а главное, убаюкиваемый сопением спавшего уже Николая, вскоре уснул.

Было еще совершенно темно, когда я почувствовал, что кто-то осторожно толкает меня в плечо.

— Вставайте,— сказал Суетной,— пора, заря скоро.

— Не рано ли?

— Самое время, пора. Пока уток приладим, пока разберемся, заря-то и займется.

Проговорив это, Суетной принялся стаскивать с себя сапоги.

— Никак, ты сапоги снимаешь?— спросил я.

— Сапоги?

— Вот это хорошо! Люди обуваются, когда встают, а ты, наоборот, разуваться начал.

— Да ведь тут, поди, болото, вода... Сапоги-то на денежки тоже покупаются.

Разувшись, Суетной засучил портки выше колен, взял кошёлку с утками и на четвереньках выполз из шалаша, иначе выйти было невозможно. Глядя на него, пополз и я. Как, однако, ни было еще темно, но Суетной даже и в темноте разобрал уток.

— Вот самую хорошую,— шептал он, ощупывая уток,— самую горячую. Столько в ней этой жадности, что ни минуты молча не просидит. На всю округу заорет.

— А себе-то? — спросил я.

— Ну! у меня и похуже сойдет. Не велик барин!

И, вынув из кошёлки утку, которая предназначалась мне, Николай пошел с ней к болоту, захватив и колышек. Послышался плеск воды, какой-то глухой стук, хлопанье крыльев, опять плеск, шум какой-то взлетевшей птицы, а немного погодя передо мною в темноте снова показалась черная фигура Суетного.

— Устроил, посадил! — прошептал он.

— Что же она молчит?

— А вот дай срок, оглядится.

Затем Суетной ощупью же отыскал свое ружье, кошёлку с другой уткой, колышек и, наказав мне сидеть в шалаше смирно, направился в противоположную сторону и в ту же минуту словно утонул во мраке.

Я забрался в шалаш и, в ожидании зари, закурил папиросу. Немного погодя звезды стали меркнуть, мрак ночи заменялся каким-то сероватым светом. Можно было различать уже кусты, воду, деревья. В воздухе стало так сыро и прохладно, что неприятная, судорожная дрожь охватывала все мое тело. Я завернулся в чуйку, прижался в угол шалаша, причем придавил мышонка, успевшего только пискнуть, и принялся терпеливо ждать рассвета.

С приближением зари болото стало пробуждаться. В сухих прошлогодних камышах, наполовину повалившихся, все чаще и чаще стало раздаваться хлопанье крыльев, можно было догадаться, что это отряхивалась птица, пропищали где-то кулички-песочники, крикнула цапля, да так пронзительно, как будто ее резать собирались, что-то начало плескаться в воде. Болото слов-

но задымилось. Промчался заяц мимо самого шалаша и так громко протопал, словно лошадь проскакала. Послышалось хрюканье селезней, торопливый свист их крыльев. Где-то крякнула утка, крякнула другой раз и, получив ответный отзыв нескольких селезней, принялась страстно надрываться. Хрюканье селезней слышалось ближе, что-то шлепнулось в воду, скользнуло по ней, раздалась какая-то возня, драка, плеск воды, хлопанье крыльев, и потом все замолкло. Я взглянул в отверстие шалаша, но моя «жадная утка» сидела себе нахохлившись на кружочке и словно окаменела.

Но вот восток заалел, сначала чуть заметно, а затем ярче и ярче. Звезды исчезли, словно кто-то дунул на них и потушил. Огонь разлился по горизонту, и на ярком фоне этом зачернели кудрявые кусты тальника. Я встал на колени и принялся смотреть на все это в дырочку шалаша. Словно стекло панорамы было предо мной, с той только разницей, что ни в одной панораме нельзя было бы увидать той могучей картины, которую я видел здесь. Я видел, как яркая полоска зари разливалась все шире и шире и как затем, по мере разливавшегося света, бледнела, таяла и исчезала ночь. Болото подернулось туманом, туман словно колебался, то расстилался пеленой, то клубился, то разрывался на части, как тонкий креп, и тогда взорам моим представлялось зеркало воды, местами поросшее кустами вербы и тальника. Чернели мохнатые кочки, словно тяжелые шапки гренадеров. То вдруг вылезала ветла с корнем, вывороченным бурей, и растопырившийся корень этот, как чудовищный паук с длинными ногами и шупальцами, точно силился вцепиться и засосать неподалеку сидевшую цаплю. Через минуту все это снова затягивалось и исчезало. Болото пробудилось окончательно. Воздух зазвенел сотнями голосов. Целая стая селезней вертела где-то злосчастную утку, то и дело со свистом и хрюканьем проносились они над самым шалашом и чуть не касались до него крыльями. Закозыряли в воздухе крикливые чибисы, замахали над водой чайки, закрякали коростели, замамакали перепела... Но как ни шумлив был весь этот концерт пернатых, а лягушки все-таки заглушали его. Такого неистового кваканья я сроду не слыхал. Точно лягушки всего мира собрались сюда и восстали, защищая свои права на болото. Высунув из воды головы, раскорячив лапы, пыжась и

раздуваясь, они словно гнали все живое население болота, словно лаяли, словно ругались самой площадной, безобразной бранью. То они ныряли, то вновь выскакивали наружу и, выскочив, еще безобразнее принимались ругаться. Какая-то серенькая птичка с длинным хвостиком села на прутик шалаша — как раз перед отверстием и чуть не на нос мне, помигала черными, как уголь, глазками, потрясла хвостиком, но снова пронесшаяся стая селезней спугнула птичку. Туман исчез, и болото очистилось. Передо мною открылось огромное пространство, затопленное водой и местами поросшее тальниками, ветлами и камышом, но шалаша Суетного я все-таки рассмотреть не мог.

Вдруг страшный, оглушительный выстрел!.. Я выскочил из шалаша и увидал неподалеку целое облако дыма.

— Слава тебе господи, жив остался! — раздался из этого облака голос Николая.

— Что с тобой? — спросил я, мгновенно подбежав к нему.

Но Николай мчался уже по болоту, и только брызги летели во все стороны.

— Что с тобой? — повторил я, когда он возвратился.

— Смотри-ка!— кричал он между тем.— Вот так ловко! Целых пять штук повалил... ажно земля задрожала...

И затем, свернув пораненным селезням головы, он забормотал скороговоркой:

— Ступай, ступай! прячься скорее... Теперича самая охота начинается! Ступай, ступай...

Только после узнал я, что Суетной имел обыкновение в один из стволов сыпать целую горсть пороху «на случай, когда много уток соберется». Полыснет, бывало, и брык! «Слава тебе господи, жив остался!»

Выстрел этот помог мне открыть местопребывание Суетного, его шалаш, и вместе с тем рассмотреть и плававшую неподалеку круговую утку. Я не мог глаз оторвать от этой утки, и только теперь догадался, что крик утки, о котором я говорил выше, производился именно уткой Николая. Она ни минуты не молчала и, плавая вокруг колышка, беспрерывно кричала самым раскатистым призывным криком. Селезни так и вились над нею, а при виде их она еще пуще надсаживалась, металась и хлопала крыльями... Послышался опять

выстрел — на этот раз уже обыкновенный,— и Николай снова что было мочи бежал по воде, направляясь к подстреленному трепыхавшемуся селезню, схватил его и снова скрылся в шалаше.

Я посмотрел на свою утку: даже ружейный выстрел не пробудил ее от апатии, и по-прежнему она продолжала сидеть, скукожившись на излюбленном ею кружочке. Суетной продолжал между тем подстреливать и подбирать убитых селезней... Меня даже зло взяло! С досады я собрался было оставить шалаш, как вдруг Николай снова «громыхнул», снова перекрестился и бросился подбирать добычу. Только после этого громового выстрела утка моя словно проснулась, спустилась легонько с кружка и принялась кувыркаться, доставая со дна тину. Я ждал. что вот-вот она, накувыркавшись, крикнет, но не тут-то было! снова забралась она на кружок, запрятала голову под крыло и заснула, точно замерзла.

— Однако ты меня поддел ловко! — проговорил я, когда Суетной, весь увешанный селезнями и со щекой, избитой в кровь, подошел к шалашу.

— А что?

— Нечего сказать, удружил! утка-то твоя прославленная хоть бы разок рот разинула!

— Ну! — удивился Николай и руками развел.

— Вот тебе и ну!

— Ах дьявол! ах проклятая! ах анафема! А ведь какая утка-то жадная, скорбная...

— Уж именно, что скорбная...

— Что ж это такое! что за оказия! Ах проклятая! Нет, моя ничего, орала ловко!

— Сколько же ты наколотил-то?

— Тринадцать, смотри,— проговорил он, пересчитывая развешанных на поясе селезней.— Тринадцать, верно... Эх, штуки-то хороши!

— Хороши-то хороши, только уж тебе не миновать беды.

— Как так?

— Разве можно горстями порох сыпать!

— Да ведь это, поди, мушкетон турецкий?

— Ну, выдумал еще.

— Верно тебе говорю. Ты погляди-ка, стволины-то какие...

— Просто тульская двустволка,— проговорил я, рас-

сматривая на стволах надпись и клеймо,— да еще вдобавок бечевой перевязана...

— Это я волка по лбу колотил и поломал ложу-то.— И потом, вдруг прикашлянув, спросил:— А что, с полдюжинки селезней-то не возьмешь?

— Да ведь ты жигулевскому барину хотел...

— И ему останется.

— А почем?

— Ну, чего там! Нешто с тебя возьму лишнего! Жигулевский-то по четвертаку платит, а с тебя что положишь.

— По двадцати довольно, что ли?

— Знамо, довольно.

Я взял шесть штук.

— А уточку не купишь? — спросил Суетной.

— Которую?

— Да любую!

Я купил утку, купил еще двух судаков, собрался было идти домой, как следующее обстоятельство задержало меня на некоторое время.

III

К нам подъехал на беговых дрожках какой-то толстый мужчина в новой суконной поддевке, зеленых замшевых перчатках, и, остановив рослую, толстую лошадь, увешанную массивными бляхами и тяжелой сбруей, проговорил, обращаясь к Николаю:

— Однако, сват любезный, денечек-то тебе счастливый выдался!

— А! — вскрикнул Николай, размахивая руками:— Абрам Петрович, сват дорогой!

— Вишь сколько добра господь послал, рублика на три, поди, будет!

— Слава богу, Абрам Петрович, слава богу.

— Слава богу — лучше всего.

— Как это вы, сватушка, попали сюда? — спросил Суетной, улыбаясь.

Но на вопрос этот сват ответил не скоро. Не торопясь, замотал он толстые вожжи за железный щит дрожек, степенно перекинул ногу, причем слегка запрокинулся назад, еще степеннее сошел с дрожек, выбил кнутиком пыль с полы поддевки, погладил поясницу и затем, сняв зеленую перчатку, подал руку Суетному.

— Ну, здорово, сват,— проговорил он.

— Здравствуйте, батюшка Абрам Петрович, все ли в добром здоровье?

— Переваливаемся кое-как.

— Домашние здоровы ли?

— Ничего, дышут...

— Ну, и слава тебе господи. Давненько не видались...

— Да все в разъездах... Сам знаешь, дело наше такое... Тебе хорошо, посевами занимаешься, так за хлебцем-то далеко ездить нечего: махнул косой — и сыт день, слазил в сусек — и вся недолга... Ну, а наше дело не такое... Сколько этих сусеков-то облазишь!

— Аль хлебец покупаете, сватушка любезный?

— Маленечко балуемся,— ответил Абрам Петрович и при этом словно вздрогнул.

— Много накупили?

— Тысчонки полторы наскреб... Да вот беда! подводчиков нет. Надо бы хлебу-то этому теперича на линии быть, а перевозить охотников нет. Совсем народ избаловался. Вот господь маленечко полями-то порадовал, народ на радостях-то и давай пьянствовать! Намедни приехал в Аркадак, так вокруг этого кабака индо стон стоит! А чему радуются? У господа бога всего много! Вот разгневают его, батюшку, он и прихлыстнет: град напустит, засуху, мглу али что другое... Трудиться бы надо да господа бога молить, чтобы возрастил хлебец-то, да прибрать бы помог, а они пьянствовать начали! Васька Штапов... посмотрел я, с деревяшкой ходит, а туда же! Налопался как нельзя лучше, ввалился в телегу и давай лошадь погонять... Скачет, а деревяшка-то о наклестку стучит... Так и не нашел подвод... По рублю с четвертаком давал, и то, анафемы, не поехали... Что ты будешь делать! — И потом, отерев пестрым платком пот со лба, добавил:— А ведь я сейчас у тебя был.

— Ну,— вскрикнул Суетной.

— Право слово. В Дергачи заезжал, да и вспомнил про тебя: «Дай, думаю, свата навещу!», а заместо того свата-то и дома нет...

— С вечера, с вечера ушел,— забормотал Суетной.

— Ну, да ничего! — перебил его Абрам Петрович,— хозяйка твоя приняла меня ласково: чайком попоила, водочкой просила... Ну, да ты сам знаешь, зелья этого

не употребляем... Ну, вот она мне и сказала, что ты с ихней милостью (при этом Абрам Петрович кивнул на меня) на Микишкиных болотах утиц стреляешь, я и приехал...— И затем, оборотясь ко мне, добавил:— Будьте знакомы-с. Тоже, кажется, соседями считаемся...

— Очень рад,— проговорил я,— я об вас много слышал...

И мы подали друг другу руки.

— Хорошо, коли слышали доброе, а то ведь народ-то ноне какой стал... Только и норовит человека с грязью смешать... А я, признаться, давно с вами познакомиться желал... С упокойным дядюшкой вашим, с генералом, когда-то знакомы были... шерстку, хлебец тоже кое-когда у ихней милости покупывали... Приятно было бы и с вами.

— Весьма приятно.

— К нам когда милости прошу-с... Покойник генерал нашим хлебом-солью не брезговал...

— С удовольствием.

— Ведь он простой был, даром что лицо такое высокое! —подхватил Суетной.— Вот только маленечко драться любил...

— Эх, сват, сват,— перебил его степенно Абрам Петрович, причем даже вздохнул и закрыл глаза.— Не глупый ты парень, а пустяки городишь. Мы с тобой оба мужики; и я мужик, и ты мужик. Стало, мужичьи-то порядки нам должны быть хорошо известны. Иную пору палка-то лучше всякого доброго слова. Хорошо вот, ты человек трудолюбивый, не пьяница, не блудник, а много ли таких-то? Ведь сам знаешь, каков ныне мужик-ат стал. Царь-батюшка ему свободу дал, землицей наградил, а мужик-ат, чем бы господа благодарить да за царя молиться, в кабак последнюю рубаху тащит. Продаст на рубль, а два пропьет. Тут повсюду благодать земная: солнышко теплое, росы благодатные, земля-кормилица, травка зеленая, а он кочевряжит! Ни совести, ни стыда, ни страха божьего. Так почему же такого человека не бить! Нешто такого человека добрым словом устыдить возможно? Нет, сват, такого человека только одна палка устыдит, потому он, кроме ее, ничего не боится...

— Житье-то уж больно трудное, сват... горе...

— А ты забыл, что в Писании-то сказано: «В поте лица возделывай землю свою. Просите и дастся, тол-

цыте и отверзится!» А ты как бы думал! Не постукаешь в дверь, так никто тебе и не отворит... А постучись...

И потом вдруг, обратясь ко мне и совершенно уже защурив на этот раз глаза, Абрам Петрович заговорил самым вкрадчивым и певучим голосом:

— Слышал я, ваше высокоблагородие, что у вас ржицы четвертей сотенку осталось?

— Осталось.

— И потом люди говорили мне, что будто вы ржицу эту продать желаете?

— И это правда.

— Так вот-с, для первого знакомства, если угодно, мы у вас ее купить можем-с.

— Сделайте одолжение. Приезжайте, посмотрите хлеб, и тогда поговорим.

— Оно, положим, что ржица ваша мне известна хорошо, потому что еще летось на корню видел ее, видел, как убирали, молотили, смотрел и в амбарах, а заехать все-таки можно-с... Ничего, заеду-с.

— Заезжайте.

— Только вот когда вас дома-то застать?

— Назначьте время, и я вас буду ждать.

— Нет уж, это зачем же, нешто мы этого стоим-с. Господин, и вдруг будет ждать мужика. Нет-с, так не придется-с. Уж лучше вы извольте приказать.

— Хорошо,— проговорил я,— так поедем сейчас...

Абрам Петрович опустил голову, пошевелил пухлыми пальцами в бороде, подумал немного и потом, подняв снова голову, проговорил:

— Слушаю-с. А коли можно, так до завтраго повремените-с.

— Можно и завтра.

— Завтра утречком я к вам и заеду-с.

— Я буду вас ждать.

— Беспременно-с.

Мы замолчали. Абрам Петрович похлопал немного снятой перчаткой по левой ладони, посмотрел на болото, посмотрел на небо, посмотрел еще раз на Суетного, увешанного селезнями, и, вздохнув, проговорил:

— А затем счастливо оставаться.

— До свидания.

— До приятного-с.

И, обернувшись к Суетному, проговорил:

— Ну, сват, прощай.
— Прощайте, сватушка, прощайте... не забывайте...
— Зачем забывать! Кажется, мы не из таковских... Это вот нынешний народ, точно, родством пренебрегать начал, потому для него сиделец дороже отца родного, а мы-то с тобой не из молодых.
И затем, усевшись на дрожки и распутывая вожжи, он прибавил:
— А изба-то у тебя плоха, сват!
— Плоха, сватушка, больно плоха.
— Совсем набок покачнулась.
— Покачнулась совсем.
— Так жить нельзя, сват.
— И то нельзя, сватушка.
— Новенькую бы надоть...
— И то хочу, сват.
— Ой ли? Накопил, значит...
— Накопил малость, да не хватает.
— Плохо.
— Хочу к вам, сватушка дорогой.
Абрам Петрович даже засмеялся.
— Сказывала мне сегодня про это дело хозяйка твоя! — проговорил он.
— Ну! — удивился Суетной.
— Я тебе говорю.
— Что ж, как, сватушка?
И Суетной словно испугался своего вопроса.
— Ничего, приезжай, поговорим...
— Ой ли?
— Приезжай, ничего... Мы хоша крестов на себе и не носим, а все-таки страх божий еще не потеряли... Не знаю, что дальше будет... Ничего, приезжай, потолкуем...
— Ноне можно?
— Что ж, и ноне можно...
Суетной даже подпрыгнул от радости.
— Ну, вот, благодарим покорно, сватушка,— проговорил он и, вдруг засуетившись, принялся снимать с пояса одного селезня.— Ну, сватушка,— проговорил он, подавая ему птицу,— а это вот вам...
— На что, не надо...
— Нет уж, сват, примите, не побрезгуйте...
— У меня своих много.
— Да то русские, домашние, а то все-таки дикие...

— Нет, сват, нет, тебе нужнее...

— Нет уж, не обидьте...

И Суетной принялся совать свату селезня, тот даже засмеялся:

— Вишь ухаживает как, все задобрить старается! Ну что с тобой делать, давай уж, что ли, я вот в платочек завяжу...

— Завяжите, сватушка, завяжите...

И Абрам Петрович завязал селезня в платок.

— Ну спасибо, сват, за гостинец.

— Уж не взыщите...

— Ну-с, счастливо оставаться, ваше высокоблагородие.

— Прощайте.

— Прощай, сват... так заезжай.

— Заеду, сватушка, заеду... счастливый путь.

— Спасибо.

И, проговорив это, Абрам Петрович чмокнул губами, тронул слегка вожжою лошадь и степенным шагом, оглядывая окрестность, отъехал от нас.

— То-то, кабы рубликов двести дал! — мечтал между тем Суетной.— Своих триста рублей, сватовых двести... Такую бы хоромину возвел, что любо смотреть было бы!

Я взглянул на Суетного и невольно порадовался его радостью.

Немного погодя, захватив с собой селезней, пару судаков и попросив Суетного принести мне завтра купленную круговую утку, я отправился домой. С той поры мы с Николаем Суетным сделались друзьями, и дружба, не омрачавшаяся никакими ссорами, продолжалась весьма долго, вплоть до того конца, который в свое время будет известен и моему читателю.

IV

Однако, прежде чем познакомить вас с личностью главного моего героя, мне приходится сказать вам коечто из жизни Абрама Петровича. Абрам Петрович был крестьянин села Жигулей и принадлежал когда-то тому самому жигулевскому барину, которого мы с вами видели уже издали летевшим в тарантасе и который, разъезжая на лихой своей тройке, по словам Суетного, словно Илья-пророк гремит. Редко можно встретить

такую благообразную наружность, какою был одарен Абрам Петрович. Это был мужчина лет пятидесяти, довольно высокого роста, плотный, благовидный... точно апостол какой-то! Апостольский вид придавали ему его густые брови, умная складка на лбу, красивая борода, а в особенности открытый высокий лоб, сливавшийся с небольшою полукруглой лысиной, оголявшей спереди его выпуклый череп. Серьезное, или, правильнее сказать, мыслящее, лицо его отличалось свежестью и белизной кожи, а темные серые глаза каким-то особенным спокойствием. На старых портретах попадаются часто такие глаза, когда портретисты, не гонясь за деталями, умели придавать лицу выражение. Словно ничто не могло возмутить Абрама Петровича, и не могло возмутить потому только, что вследствие мышления он все предугадывал и предвидел. Говорил он тоже как-то по-апостольски: тихо, поучительно, серьезно, нараспев. Во время разговора закрывал глаза, вздыхал, а когда приходилось делать вопросы, внимательно смотрел в глаза допрашиваемого. Можно было сейчас же по его глазам узнать, верит ли он человеку или же только снисходительно выслушивает. Голос у него был мягкий, вкрадчивый, поступь важная, движения медленные...

Во время крепостного права Абрам Петрович был, однако, самым последним мужичишкой, и звали его тогда не по имени и отчеству, а просто Абрашкой. Изба у Абрашки была срам взглянуть, лошаденка избитая, коровенка паршивая, а сам Абрашка ходил не в суконных поддевках, и не в сапогах, как теперь, а в лохмотьях и в лаптях. Жигулевский барин порол его чуть не каждый день, желая исправить человека, но как барин ни старался, а Абрашка все-таки оставался неисправленным. Таким же последним человеком Абрашка был и на барщине. Уж староста лупит, лупит его, бывало, всю руку себе отмахает, а Абрашка все-таки не поспевает за людьми, все позади всех. «Ленища!» — крикнет староста, плюнет да отойдет. И действительно, Абрашка был «ленища», потому что и в собственном своем хозяйстве был последним на селе человеком. Чтобы выгнать Абрашку на барщину, десятнику недостаточно было постучать в окно бадиком, как делалось это с другими, а необходимо было войти в избу, стащить с печи или с полатей, дождаться, пока

он обуется, оденется, и затем уже в шею гнать его вон из избы. Несколько раз Абрашка обращался к барину с просьбой освободить его от барщины, на оброк пустить... «Что, говорит, хотите положите с меня, только ослобоните. Я не пахарь, не посевщик, какой из меня толк? ни себе я не работник, ни вам, а оброк я буду платить исправно!» Но барин оброчных людей не любил, доказывал, что оброки развивают «вольницу», и всякий раз, когда Абрашка заикался об оброке, гнал его вон со двора.

Только один приходский поп не мог нахвалиться Абрашкой — этим последним человеком в селе. И действительно, религиознее, усерднее и богомольнее Абрашки не было в приходе крестьянина. Ни одного праздника, ни одного воскресного дня не пропускал Абрашка, чтобы не побывать в церкви. В рабочие дни не добудятся его, а как только праздник, так Абрашка вскакивал по первому удару колокола и в церковь являлся раньше попа даже, станет где-нибудь в уголку на колени и давай кресты отмахивать, а как только является батюшка, так Абрашка шел на крылос и читал вместо дьячков. Дьячки не нарадовались, глядя на него. Службу Абрашка знал, как свои пять пальцев, знал все апостольские и евангельские начала, когда какой тропарь поется, устав церковный... «Глас пятый!»» — скажет, бывало, и затянет «собезначалие слова», или: «Глас первый! Камень запечатану от иудей». Дьячки даже из церкви уходили, когда Абрашка на крылосе стоял, словно им до церкви и дела не было никакого! Защурит глаза, сложит на груди руки крестом, запрокинет назад голову и зальется на всю церковь, а дьячки за шапки и домой.

Чтобы избавиться от барщины, Абрашка даже бегал несколько раз, скрывался по монастырям, прислуживал там, рубил дрова, копал гряды, но побеги эти ему не удавались. Его ловили, водворяли по этапу на место жительства, а жигулевский барин с новой энергией принимался за исправительные меры. Пробовал было усовещать своего любимца и старик поп: делал ему внушения, проповедовал, что раб должен радеть о господине своем, что господин поставлен над рабом самим господом богом, что возлюбивый господина возлюблен будет и господином небесным, пробовал даже ругать и срамить его в храме божьем перед всеми пра-

вославными, ставил его на колена, но и это не помогало. Абрашка слушал и по-прежнему оставался «ленищем».

Таким бездомником был Абрашка во время крепостного права, но как только это право рухнуло, как только текст, гласивший об обязанностях раба к господину, сделался абсурдом, а попам пришлось говорить проповеди в совершенно ином смысле, так и Абрашка стал словно изменяться. Общее ликование освобожденного народа превосходило даже шум, производимый жигулевским барином. Ликовали шумно, бестолково, как только могут ликовать люди, сорвавшиеся с цепи. Народ поднимал образа, читал манифесты, пьянствовал, служил молебны и бушевал словно море. Сумбур шел великий. Раб считал себя господином, а господин либеральничал и хитрил насчет малых наделов. Читалось «Положение», писались уставные грамоты, выбирались старшины, старосты, открывались волостные правления, собирались сходы... Жигулевский барин, попавший в посредники, загнал уже несколько троек, и, при виде всего этого, Абрашка словно вырос. Ни одной сходки не пропускал он. «Берите большой! — кричал он шумевшему, ликовавшему и пьянствовавшему народу.— Что вы, в уме, что ли, что на малый засесть хотите. Берите большой! Что вы без земли-то делать будете! вшей давить! Я не пахарь, мне все одно, я пахать не буду, а вы пахари, на огородах да на выгонах-то плохая пашня!» Но пророку не было чести в отечестве... толпа осилила, и Абрам Петрович потерял веру в разум оборванного народа. Он перестал ходить на сходы и от общества отшатнулся.

Так прошло несколько месяцев. Либеральные господа лезли вон из кожи. Либеральный жигулевский барин тоже не дремал, и жигулевские рабы, забыв о господстве, пошли на малый. Глядя на них, пошли на малый село Дергачи, Сластуха, Свинуха и все соседние села и деревни. Абрашка куда-то скрылся, где-то пропадал, а затем, возвратившись, зажил особняком от общества. Словно ему дела никакого нет до мирской нужды, словно он был не от мира сего, а когда выбрали в старшины плюгавого, безграмотного ничтожного мужичонку да наняли в писаря барского пьяного конторщика, так он торжественно обругал даже этот мир баранами и дураками.

Выходкой этой он уже окончательно порвал все нити, связывавшие его с обществом.

Вскоре народ стал замечать, что к Абрашке стали наезжать какие-то незнакомые люди. Люди эти приезжали обыкновенно в сумерки, просиживали у Абрашки ночи, а на рассвете снова уезжали. Стали замечать, что после таковых таинственных посещений Абрашка подолгу не выходил из избы, а если и выходил, то ни с кем не говорил и все словно о чем-то думал и что-то соображал. Уйдет, бывало, в поле, в лес, да по целым дням и пропадает. Пробовали было допрашивать Абрашку о ночных гостях: откуда они, зачем приезжали, что делали? Но Абрашка от ответов таких уклонялся, скажет, бывало, «знакомые» — и делу конец. Прошло еще несколько времени, и народ начал замечать, что Абрашка стал реже ходить в церковь, узнали, что он купил где-то библию и за библией этой проводил дни и ночи. Дьячки стали жаловаться попу, что Абрашка совсем свое дело забыл, службу начал пропускать и что без Абрашки им теперь очень трудно стало. Старик поп тоже рассердился. «Ты что это, курицын сын,— кричал он.— Вот я на тебя отцу благочинному напишу, тогда и узнаешь ты кузькину мать! Иди на клирос, читай!» Абрашка молча шел на клирос и принимался за чтение. Однако увещания эти действовали плохо, и Абрам все реже стал ходить в церковь.

Так прошла зима, наступил великий пост. Народ повалил в церковь, говеть принялся, а Абрашка, вместо говенья, затеял избу ставить, да такую большую, какой не было даже у самого богатого жигулевского крестьянина — сосновую о двух срубах. Избу эту поставил он не на улицу окнами, а среди двора, словно для того, чтобы люди не видали, что делается и как живется в этой избе. Народ видел и только дивился: «Откуда это Абрашка денег достал, зачем такой скит ставит!» Поставив избу, Абрашка принялся за постройку двора. У всех жигулевских крестьян дворы были плетневые, а Абрашка завел двор дощатый и покрыл его не соломой, а тесом. Даже жигулевский барин изумился: «Что за притча! — кричал он, с шумом проезжая мимо постройки.— Абрашка! эй, где ты? Поди сюда, ну, это что, а? Из последних в первые, а?» Но Абрашка только улыбнулся и так-таки ничего не ответил шумевшему барину.

Наступила пасха, но Абрашка и на пасху в церковь не попал. Пошел поп по приходу с хоругвями, образами, в воздухе трезвон гремел, каждый домохозяин встречал иконы у ворот с хлебом и солью, прикладывался к иконам, христосовался с батюшкой, а Абрашки даже и дома не было, когда батюшка пришел к нему в новую избу. «Где же хозяин-то?» — спросил батюшка Абрашкину жену. «Уехал куда-то!» Батюшка посмотрел на бабу и давай ругать Абрашку на чем свет стоит, а баба, вместо того, чтобы поплакать, погоревать, стоит себе, улыбается и батюшку даже присесть не попросила.

По селу пошли тогда разнообразные толки. Одни говорили, что Абрашка в молокане перешел, другие — что он клад разыскал и на найденные деньги построил избу и двор, третьи сообщали таинственно об убийстве какого-то купца и говорили, что деньги у Абрашки нехорошие, четвертые же, наконец, прямо уверяли, что Абрашка душу черту продал и что таинственные посетители, по ночам приезжавшие к Абраму, не люди, а черти, принявшие только образ человеческий.

Но пока народ судил, рядил и путался в догадках, Абрашка продолжал себе приумножать свое благосостояние: то купит себе лошадку, то корову приведет, то овец откуда-то пригонит. Из лаптей Абрашка обулся в сапоги, дрянной зипунишко переменил на суконную поддевку. Отстроив избу и огородив ее со всех четырех сторон дощатым двором с навесами и двумя крепкими воротами, Абрашка ни попа не позвал, ни образов не поднимал, ни молебна не отслужил, а так себе перешел в новую избу, и конец делу. В Абрашкином поведении усомнился старшина, усомнился сотник, и принялись подсматривать за Абрашкой, но ничего не подсмотрели. Правда, как-то ночью услыхали они, что в Абрашкиной избе как будто шло какое-то пение, хотели было в окна заглянуть, но так как новая Абрашкина изба стояла среди двора, а ворота оказались запертыми, то сотник со старшиной походили, походили вокруг да так ни с чем и ушли. Пошел сотник в село Дергачи, стал допрашивать Абрашкиного свата Николая Суетного, но Суетной хотя и не переставал навещать свата, но про таинственную сторону Абрашкиной жизни знал столько же, сколько и другие.

Так шло время, как вдруг, в один воскресный день,

после обедни, народ увидал Абрама, идущего по направлению к дому священника. Абрам был разодет по-праздничному: в новой суконной поддевке, в новых сапогах и в новом картузе с блестящим козырьком. Шел он степенной поступью, раскланиваясь со всеми встречавшимися, и нес в руках какой-то узелок, в котором были завязаны не то дощечки, не то книги. «Ну,— заговорил народ, глядя на Абрама,— мотри, малый-то образумился, к попу пошел!» И действительно, подойдя к батюшкиному крылечку, Абрам снял картуз, пригладил ладонью волосы, смахнул с сапогов пыль платком и, не торопясь, вошел в дом. «Ба! Абрам! — крикнул батюшка,— насилу-то вспомнил! Здорово, здорово! Чайку не хочешь ли?» Но Абрам ни на образа не помолился, ни под благословение не подошел, а только молча подал батюшке узелок. В узелке оказались иконы. «Это что такое! — взвыл батюшка.— В уме ли ты, подлец этакий. Что ты затеял, греховодник, аль анафемы не боишься!» Но Абрашка только поклонился батюшке, молча вышел, оставив батюшке узелок с иконами, и той же степенной поступью отправился домой. Весть, что Абрашка перешел в молокане, в тот же день облетела все село. Поп поскакал к благочинному, а жигулевский барин к Абраму. Надев на себя знак посредника, он хотел было, по старой памяти, выпороть Абрашку, но Абрашка только улыбнулся, глядя на расходившегося посредника, запер у него под носом ворота — и был таков. Барин покричал, пошумел, погрозил «весь двор разнести», но не разнес и уехал с тем же, с чем приехал. Послали куда следует донесение, приезжал становой, исправник, миссионер какой-то в камилавке и с наперстным крестом, стали таскать Абрашку то в стан, то в город, но Абрам словно лбом в стену уперся и на все угрозы, усовещевания отвечал одной только улыбкой.

Прошло еще два года, и Абрашку трудно было узнать. Он завел себе городскую тележку, беговые дрожки, санки, завел толстых, ножистых лошадей и принялся приторговывать. Сначала торговал он кое-чем, а немного погодя стал у крестьян скупать шерстку, пшеничку, ленок и проч. Самовар по целым дням кипел у него на столе, и из тщедушного он сделался здоровым, толстым и благообразным. «Вишь какое брюхо-то отрастил,— говорили про него жигулевцы,— словно купец

какой!» И народ, при виде этой толщины, при виде этой степенной благообразности, стал называть его не Абрашкой, а Абрамом Петровичем. Абрама Петровича узнали окрестные помещики, крестьяне, окрестные купцы. У первых он покупал хлеб, а последним продавал его. Абрам Петрович богател, жирел и жил себе совершенно особняком. Таинственные гости продолжали между тем посещать его, и вдруг прошел слух, что Абрам Петрович возведен молоканами в какие-то попы, совершает «по-ихнему» разные требы и тайком совращает православных с пути истинного. Стали замечать, что в селе Жигулях еще несколько человек перестало ходить в церковь, и преследования против Абрама Петровича возобновились с новой силой. Старый заскорузлый поп, ходивший с косичкой и в какой-то зеленой рясе, коротенькой, чуть не по колено, принялся сочинять проповеди, но ни одной путной сочинить не мог. Взялась за дело полиция, следователь, засадили Абрама Петровича в острог, предали суду за распространение лжеучения, но так как никаких улик не оказалось, то Абрам Петрович и выпущен был из острога. Молоканство между тем все распространялось, и не раз было замечено, что как только поведет кто знакомство с Абрамом Петровичем, так и в церковь перестанет ходить. Жигулевский барин скатал в город, наболтал архиерею, что всему виною старый, из ума выживший поп, начал просить о присылке молодого и ученого. Старого попа по шапке и заменили новым. Приехал молодой с воротничками, запонками и цепочкой. В первое же воскресенье явился он в церковь в рясе из манчестера [6], в голубом полукафтанье, в лаковых штиблетах, в панталонах навыпуск, отслужил щегольски обедню, а после обедни сказал такую ученую проповедь, что даже сам жигулевский барин, прискакавший посмотреть на нового попа, ничего не понял. В тот же вечер назначена была в церкви беседа о лжеучении сектантов, но никто на беседу не пришел. Поп обозлился, завел исходящую книгу, возбудил «молоканский вопрос» и принялся писать доносы. Полиция опять поднялась на ноги. По улицам села Жигулей опять загремели колокольчики исправника и станового, производились внезапные обыски, принялись допрашивать Абрама Петровича, но толку все-таки не выходило никакого. Поп кипятился и целые дни проводил то за составлением

доносов, то за сочинением громовых проповедей, благочинному он положительно надоел, ездил к нему в неделю раза по два, просил его содействия и наконец кончил тем, что написал донос и на него. Приехал наконец и сам владыка. Приехал он в карете шестериком, с блестящей панагией[7], с двумя звездами, отстоял обедню, заглянул мимоходом в церковные книги, в свечной комод, а после обедни к нему подлетел жигулевский барин и пригласил к себе на чай и на пироги. В доме помещика владыка переговорил с благочинным, с попом, высказал им свое неудовольствие по поводу возникших между ними раздоров, высказал им все это спокойно, плавно, вскидывая глаза к небу, перебирая пухлыми пальцами дорогие янтарные четки, и затем, благословив обоих, выразил желание побеседовать с Абрамом Петровичем. Жигулевский барин тотчас же откомандировал за ним сотника, но Абрам Петрович к архиерею не пошел, отозвавшись недосугом. Владыка поехал сам к нему в сопровождении навязавшегося жигулевского барина, но Абрам Петрович запер ворота на запор и, выслав сказать, что его нет дома, не впустил архиерея. Жигулевский барин принялся кричать, шуметь, опять было пригрозил «разнести усадьбу», но владыка уговорил его успокоиться и, распростившись с гостеприимным помещиком, поехал дальше по епархии.

Месяца через два притих и молодой поп. У него появилась парочка добреньких лошадок, у матушки бархатная ротонда[8] с куньим воротником, и поп повеселел. «Дух времени!» — говорил он и, оставив в покое молокан, принялся сочинять таксу для православных. При виде этой перемены молокане только ухмылялись, но упорно молчали. Так «молоканский вопрос» и канул в вечность.

V

Абрам Петрович как сказал, так и сделал. На другой день, часов в шесть утра, он был уже у меня. Приехал он на той же самой лошади, на тех же самых дрожках, на которых был вчера на Микишкиных болотах. Он опять подъехал шагом, громыхая бляхами, только на этот раз он был не один, а с Николаем Суетным, сидевшим сзади него с кошелкой в руках.

— Привез, утку привез! — крикнул Суетной, увидав меня сидевшим на крылечке.— Вота она, всю дорогу орала... Спроси хошь свата!

Но сват не обратил даже внимания на слова Суетного. Увидав меня, он остановил лошадь, передал вожжи свату, приказал ему поставить коня в холодок, не торопясь слез с дрожек, расправил поясницу, степенно подошел ко мне и снял фуражку.

— Доброго здравия-с,— проговорил он.

— Здравствуйте.

— Благополучно ли изволили дойти вечор-с?

— Отлично.

— Устали небось. Сват сказывал, что дичи да рыбки купили у него... Поди, тяжеленько было?

— Своя ноша не тяжела.

— Это точно-с.

Я встал и пригласил Абрама Петровича в комнату.

— Благодарим покорно-с,— проговорил он.

Но войти в комнату не торопился. Он опять снял картуз, вынул из кармана ситцевый платок, отер пот с высокого, открытого лица и, глядя на безоблачное небо, проговорил:

— Благодать-то какая-с... теплота-то какая! Все живет, все дышит... Земля как парник какой! сейчас полями проезжал — душа не нарадуется... Ежеминутно господа бога благодарить надо... Сколько щедрот-то! И дождями землю орошает и солнышком согревает. Давно ли, кажись, яровые-то в землю брошены, а теперь посмотри-ка: раскустились так, что галку не увидишь в них. Великие богатства обещают поля, только теперича надо просить создателя небесного, чтобы милосердие свое довершил, чтобы по грехам нашим гневом своим справедливым не посетил нас.

И вдруг, переменив тон, спросил, защурив глаза:

— Ржицу-то теперича посмотреть прикажете али после-с?

— А вот погодите, чайку напьемся.

— Как угодно-с... По мне, пожалуй, я и не глядя куплю-с, потому хлеб известен-с.

— Нет, все-таки посмотреть нужно.

— Как угодно-с.

— Известно, посмотреть лучше, сват,— проговорил Суетной, тоже подойдя к крыльцу с кошёлкой в ру-

ках.— Ну, вот тебе и утка,— добавил он, обращаясь ко мне и подавая кошёлку.— На, бери, владей... Береги мотри...

— Еще бы не беречь золото такое! — иронически заметил Абрам Петрович.

— Золото, сват, золото.

— А коня-то поставил?

— Поставил, сватушка, поставил... не сумлевайся, под навесом стоит там на конном... разнуздал и сенца бросил.— И потом, вдруг обратясь ко мне и кивнув головой на Абрама Петровича, проговорил:— Ведь дал.

— Что такое? — спросил я.

— Нешто забыл! двести рублей-то, на избу-то...

Но Абрам Петрович даже головой покачал.

— Не я дал тебе, сват, а долг человеческий! Чего тут такого удивительного! Вот если бы я не дал тебе, имея возможность дать, ну тут подивиться было бы чему. Я бы, к примеру, тонуть стал, а ты бы взял да руку мне подал... неужто такому твоему поступку дивиться надо было бы. Это был твой долг. Коли мы друг другу помогать не будем, так нечего нам и людьми называться... тогда место нам не в избах, не в домах, а, с позволения сказать, в свиных хлевах... вот где...

— Спасибо, сватушка, спасибо! — тростил между тем Суетной.— Такое спасибо, что по гроб жизни не забуду. Только вот горе-то,— обратился он ко мне,— деньги-то дал, а расписки не берет... уговори хоть ты его...

— Как не берет? — спросил я.

— Так и не берет... Сват, успокойте вы меня, возьмите расписочку...

— Будет тебе городить-то...

— Сватушка! в смерти, в животе бог волен,— говорил Суетной, стоя перед Абрамом Петровичем без шапки и отвешивая ему низкие поклоны.— Яви божескую милость, возьми расписку. Бог знает, что будет впереди-то... Может, зазнаюсь я, совесть потеряю в больших-то хоромах.

— Будет, будет тебе... нечего и барину надоедать пустыми этими разговорами. Я сказал тебе: отдашь — хорошо, а не отдашь — еще лучше, потому что тогда душе моей еще больше спасения будет... Вот тебе и все.

Николай Суетной только руками развел.

— Знакомая комнатка-с,— проговорил Абрам Петрович, вздохнув, когда мы вошли в залу.— Вот на этом самом кресле генерал покойник сидеть любил. Сидит, бывало, да так-то в окошечко посматривает.

Мы уселись за чайный стол.

— Вы как, внакладку или вприкуску пьете? — спросил я.

— Признаться, я пью с медком-с...

— Ну, меду у меня нет...

— Так позвольте вприкусочку-с.

Как ни был счастлив Суетной, как ни сияло радостью лицо его, как ни был он разговорчив и весел, а все-таки войти в залу и сесть с нами за чайный стол он отказался наотрез и остался в передней. Как-то боком уселся он на конник [9], положил одну ногу на другую, поставил на тот же конник чашку с чаем и суетливо, словно белка, откусывая сахар, еще суетливее подносил к губам обеими руками чайное блюдечко. Абрам Петрович, наоборот, держал себя с достоинством, солидно. Он сидел на кресле и, уставив блюдечко на все пять пальцев левой руки, втягивал в себя чай, закрыв глаза. Отказываться он начал от чая после первой же чашки, что не мешало ему, однако, выпить их штук до десяти.

— Я все про вашего покойного дядюшку, про генерала, вспоминаю,— проговорил он, откусывая сахар.— Суровый был, но зато и разум большой имел... Как он этих самых разделов крестьянских не любил! Бывало, вспыхнет весь, затрясется, задрожит, когда к нему придут позволения на раздел просить. Затопает ногами, за волосы себя схватит и давай костерить на чем свет стоит... «Подлецы вы, кричит, олухи, дурачье!» И сейчас, бывало, за веником побежит. Принесет веник, принесет прутик какой-нибудь и опять к мужикам: «Смотрите, говорит, дурачье! Вот вам прутик, а вот вам веник, то есть несколько прутьев, связанных в пучок... Ну, говорите теперь, что сломить легче: прутик али веник? Так-то и семья. Одиночка — это прутик, а веник семья!» Обругает, бывало, да со двора долой...— И, переменив тон на презрительный, он добавил:— А теперь-то мудрое наше начальство готово и одиночек-то надвое перерезать... Что это такое, ваше высокоблагородие, порядка у нас нет никакого, ни в ком-то разума нет. Кого хотите возьмите, и сейчас вы увидите, что в

человеке нет разума. Посмотрите хошь на мужика. Ничего себе, мужик как мужик: и грязный, и неумытый, и сквернослов, и кабак помнит, и зубоскал, а вывернешь его наизнанку, так индо руками разведешь... Вот как-то недавно я в немецкой колонке был... Меня даже досада взяла, как эти немцы аккуратно дело ведут. И нельзя ведь сказать, чтобы народ уж очень умный был, пожалуй, глупее много мужика нашего, а насчет аккуратности говорить нечего, молодцы. Живут — посмотреть любо. Домики чистенькие, перед каждым домиком садик, улицы выметены, вокруг кирки чистота, колодцы, мостики, больничка есть, аптечка, школка небольшая, труба пожарная... едят сладко, спят мягко! А рядом русское село... Смотреть тошно! И земли столько же, сколько у немцев, село казенное, и земля одинаковая, и река тоже протекает, а смотреть тошно. Избы грязные, крыши соломенные, в ограде церковной телята поповские, навозищу полны дворы, едят скверно, спят во вшах... да чего! Больше половины села у немцев в работниках живет... Я даже заплакал... скорее на лошадь, и дай бог ноги. Заходил я и в правление ихнее, порассмотрел все, порасспросил... У них и общественный капитал есть... А у нас? Вот у нас в волости три кабака, дают они дохода тысячу восемьсот рублей в год... Вот уже шесть лет кабаки платят нам деньги эти... ведь это десять тысяч восемьсот рублей, говорят! Ведь какой капитал-то... На случай беды какая бы подмога-то была! А у нас все-то эти денежки тем же путем да опять туда же, в кабак. Дураки мы, как есть дураки... Дали нам волю, а мы взяли да на малый надел пошли, земли испугались... А вы, подп, и сами знаете, каково жить-то на малом-то наделе. Да вот, возьмем хошь свата в пример. Вы, кажись, изволили быть у него?

— Был.

— Изволили видеть избенку-то?

— Видел, избенка незавидная.

— А ведь вот человек и не пьяница и не мот. Двадцать лет он в этой избенке-то прожил, двадцать лет трудился, покоя себе не знал, а накопил, вишь, всего триста рублей... ведь это по пятнадцати рублей в год выходит только. Каково же жить тому, кто, окромя хлебопашества, никакого себе занятия не имеет? А кто виноват, как не общество, как не наши глоты да миро-

еды. Повесить их за такое дело и то мало. Дали нам и самоуправление. «Нате, говорят, управляйтесь сами! Выбирайте себе старшин, старост, судей, сборщиков... собирайте сходы, думайте, как бы лучше свои мирские нужды приладить!» А мы набрали такого народу, что всех-то их в омут затолкать и то не жалко. Общество — великое дело, оно и думать должно по-общественному. Тут должно быть все сообща, не об одном себе думать, а обо всех: помогать друг другу, исправлять друг друга, уму-разуму учить... А мы-то из-за какого-нибудь клочка сена, из-за какой-нибудь борозды лишней готовы друг на друга войной идти. Придешь на этот сход-то: послушаешь, посмотришь да плюнешь... Какие это рассуждения, когда только и норовят, как бы с кого побольше водки выпить! Нет-с, при таких порядках с обществом и связываться нечего, а лучше всего от него, как от греха, подальше-с...

Проговорив это, Абрам Петрович опрокинул чашку на блюдечко, положил на дно чашки обгрызенный кусочек сахара, встал, отер руку о платок и, подав мне ее, проговорил:

— Покорнейше благодарим.

Показался в дверях передней и Суетной.

— Спасибо за чай и за сахар, спасибо, спасибо.

— Ну-с, а теперь пойдемте рожь смотреть...— проговорил я.

Немного погодя мы были уже в амбаре.

Хотя Абрам Петрович и говорил, что рожь моя была ему известна, что видел ее и на корню, и во время уборки, и даже в сусеках, тем не менее он принялся осматривать ее с таким усердием, как будто не имел об ней ни малейшего понятия. Он лазил по всем закромам, совал руку в хлеб по самое плечо, вытаскивал со дна зерна, нюхал, жевал их, вскидывал на руке, перевешивался всем туловищем через закрома, так что одни только ноги торчали, заставил проделывать все это и свата и наконец, весь обливаясь потом и едва переводя дух, объявил, что хлеб осматривать нечего. Затем, немного отдохнув, он принялся за торг... Торг производили мы тут же, возле амбара, на открытом воздухе, причем Суетной немало способствовал скорейшему окончанию его. Босоногий, без шапки (шапку он оставил в передней, а сапоги не надевал, потому что «от них, от жидов, только нога потеет»), он толошил-

ся возле нас, подбегал то ко мне, то к свату, и все уговаривал: меня — скостить с цены, а свата — накинуть.

Наконец дело сладилось... Мы ударили по рукам, причем Суетной крикнул: «В час добрый!», и Абрам Петрович купил у меня рожь, выдал мне задаток (это называл он «озадачить человека»), обещал завтра же прислать за хлебом подводы и привезти остальные деньги. Вдруг шум! За амбаром послышался грохот, звон колокольчиков, бубенцов-глухарей, конский топот, и из-за угла амбара, окруженный облаком пыли, вынесся тарантас. В тарантасе, подбоченясь, сидел какой-то барин в летней парусинной паре и в фуражке с красным околышем. Барин метнул глазом и крикнул кучеру: «Стой! стой!»

Тройка остановилась.

— Николашка! поди сюда! дичи тащи...

— Да ведь я вечор вам доставил,— проговорил Суетной, подбегая к тарантасу.

— Эко, хватился... Гости были и съели все... Чтобы завтра же дичь была на кухне, а то после завтраго мое рождение...

— Хорошо, как попадется...

— Чтобы попалась... понимаешь!

— Слушаюсь.

— И сазан чтобы был, вот этакий большой...

И барин развел руками аршина на два.

— Да ты не вздумай щуку какую-нибудь притащить...

— Не ловятся они, сазаны-то...

— А ты поймай.

— Хорошо, как...

— Ну, вот тебе и хорошо... Чтобы было...— И потом, понизив голос, спросил:— Абрашка-то чего тут мудрит?

— Рожь купил...

— У кого?

— У барина здешнего.

— Это барин в шляпе-то?

— Барин.

— Как зовут?

Николай сказал.

— Давно приехал?

— Нет, недавно, вишь...

— Слушайте-ка, вы, сосед дорогой! — крикнул ба-

рин, обращаясь ко мне.— Вы не очень этому архиерею-то доверяйтесь! Шельма естественная!

Абрам Петрович только улыбнулся снисходительно.

— Такая-то бестия, каких свет не производил... Недаром молокане в архиереи его произвели... Почем продали?

Я сказал цену.

— Ну, вот и продешевили!

— А вы, сударь, почем продали Медведеву-то?— спросил Абрам Петрович.

— Да уж подороже...

— Так ли-с?

— Известно, так.

— Не дешевле ли копеечек на двадцать?

— Кто это тебе сказал! Кто это тебе сказал!

— Да уж мы-то знаем-с...

— Знаем!—передразнил его барин.— Молоканские обедни служить—это ты точно знаешь, а больше ничего! Тоже знаем-ста! Ох уж ты... ваше преосвященство...— И затем, снова обратясь ко мне, крикнул:— Слушайте-ка! Разве так люди порядочные-то делают?

— Что такое?

— Живете у меня под носом и не можете заехать...

— Я еще ни с кем не знакомился...

— Вот, после завтраго приезжайте... всему миру свидание будет!

— Может быть...

— Ну а ты, сыч галанский,— прибавил он, обратясь к Суетному,— чтобы дичь и сазан у меня завтра же... слышишь?

— Надо постараться.

— Смо-отри!

— Надо постараться!

— То-то!.. Пошел!—крикнул он.

Кучер свистнул, ахнул, тройка помчалась, и шум снова раскатился по окрестности.

— О ревуар!—долетело до меня, и тарантас скрылся.

— Жигулевский барин это, что ли?—спросил я Абрама Петровича.

— Узнал?—подхватил Суетной.

— Еще бы не узнать...

— Его сразу узнаешь... приметный...

— Шелуха как есть!—заметил Абрам Петрович

презрительно и, протянув мне руку, прибавил: — Ну-с, а затем счастливо оставаться. Завтра пришлю подводы и остальные деньги доставлю-с.

— Хорошо.

Николай Суетной сбегал между тем за лошадью, подъехал на ней к амбару, сидя на дрожках боком, и крикнул:

— А вот и лошадка ваша, сватушка дорогой.

— А ты как, сват? — спросил его Абрам Петрович. — Со мной, что ли, поедешь али домой запрыгаешь?

— Я домой, сват, вишь ведь, слыхали... надо сазана поймать да дичи настрелять.

— Известно, надо... Чего ему в зубы-то смотреть... Гладь с него — благо жрать здоров.

Немного погодя Абрам Петрович сидел уже на дрожках. Он надел опять зеленые замшевые перчатки, разобрал вожжи и, еще раз простившись со мной, медленным шагом отправился по направлению к селу Жигулям, а Суетной побежал в дом за оставленной шапкой.

VI

Года через два после описанного на усадьбу Суетного любо было посмотреть. С помощью трехсот рублей, накопленных в течение двадцатилетних трудов, и двухсот рублей, ссуженных сватом, он так хорошо обстроился, что все дергачевские крестьяне с завистью посматривали на его усадьбу. Она состояла из избы о двух половинах, срубленной из прямых сосновых бревен, амбара, конюшни и погребицы. Все это соединялось между собой плотным плетнем с навесами и представляло собой квадратный двор с тесовыми воротами и таковою же калиткой. Изба была о трех окнах, с наличниками, расписными ставнями, с тесовым коньком и соломенной крышей, залитой раствором глины. Вследствие этого, крыши у Суетного всегда были в порядке, не растрепаны, а, наоборот, словно напомаженные и тщательно приглаженные. Позади усадьбы, вплоть до реки Дергачевки, тянулся огород, обрытый канавой и обсаженный ветлами, а на берегу реки был разведен небольшой садик с несколькими деревцами яблок и вишен. Когда усадьба была отстроена, Суетной пригласил священника, отслужил молебен с водосвятием, попросил батюшку окропить св<ятой> водой все строение, скотину и все свое доб-

ро. Угостив как следует батюшку водочкой, пирогом и рыбой, Суетной позвал на другой день и соседей. Отпраздновали новоселье Суетного и мы с Абрамом Петровичем.

— Вишь, вишь, какая веселая изба-то! — восхищался Суетной.— Умирать не надо... вишь, как солнышко-то играет!

И действительно, изба отличалась и светом, и чистотой. Лавки были широкие, сосновые, чисто выстроганные, стены тоже, большая русская печь тщательно выбелена. В избе не было ни соринки, весь мужичий хлам прибран. По стенам виднелись картинки, какие-то пучки сухих трав, висели рыболовные снасти, как-то: удочка, жерлики, перемёты и тут же знаменитый «турецкий мушкетон». На окнах мотались клетки с птичками, и птички эти до того громко распевали, что даже заглушали человечьи голоса.

Вся эта усадьба помещалась не в селе Дергачах, а на выгоне, отступая от села на несколько десятков сажен. Кругом усадьбы зеленела травка. А прямо перед окнами избы росла прелестная пушистая ракита. Новая усадьба Суетного смотрела так весело и так было вокруг нее чисто и просторно, что место это сделалось самым любимым гульбищем дергачевских обитателей. Сюда собирались по праздникам толпы разодетых баб, девок и парней и шумно водили хороводы. В улице и пыльно и душно, здесь же, на выгоне, и воздух был чистый, и пыли не было.

Немалых, однако, трудов стоила эта усадьба Суетному. Несмотря на близость железной дороги, он ни одного бревна не привез по чугунке (лес приходилось покупать в городе), рассчитав, что привезти лес на собственных своих лошадях было хотя и хлопотливее и шемкотнее, но зато выгоднее. Целую зиму он возился с этим лесом, словно муравей, и наконец, натаскав его достаточное количество, принялся за постройку. Рубить избу он нанял плотников, сам же принялся за плетни, навесы, вереи[10] и ворота. Работа кипела; глядя на Суетного, не дремали и нанятые плотники, и к празднику пасхи Николай перешел уже в новую избу.

Когда я познакомился с Николаем, ему было лет сорок. Семья его состояла всего из трех лиц: самого Суетного, жены его Афросиньи и сына Нифатки. Николай был небольшого роста, худой, но до крайности живой,

энергичный и суетливый. Насколько сват его Абрам Петрович держал себя степенно и важно, настолько Суетной, наоборот, тормошился и в движениях своих так же, как и в разговоре, был резок и угловат. Абрам Петрович начнет говорить, так бровью не поведет, речь журчала ручейком, а у Суетного во время разговора все лицо ходенем ходило, небольшие серенькие глазки бегали, губы подергивались и приводили в движение и редкие тараканьи усы, и жиденькую клинообразную бородку. Абрам Петрович ходил медленно, прямо, выпячивая живот, а Суетной, нагнувшись, быстро, словно бегал и на бегу прискакивал, махал руками и поминутно озирался по сторонам. Зато он, бывало, увидит непременно и мышонка, нырнувшего в норку, и ястреба, парившего под облаками, и перепела, притаившегося в траве. Говорил он так же, как дьячки часы читают, сыпал словами, сопровождал разговор поясняющими жестами, и язык его словно не поспевал за мыслью.

Охотник Суетной был страстный и неоценимый. Он знал, где и в какое время держатся бекасы, дупеля, гуси, куропатки, утки; знал, когда преимущественно берет лещ, окунь, голавль; подслушивал, где именно «квохчут сомы», ставил на это место перемёт, и сомы попадали на крючки.

«Вот здесь беспременно заяц будет!» — скажет, бывало, указывая на какой-нибудь кустик полыни, и действительно, заяц поднимался именно из этого куста. Собак ружейных Суетной не любил, уверял, что собака только «пужает дичь» и что сам он и разыщет и достанет дичь лучше всякой собаки. Идешь, бывало, с ним по лесу во время весеннего пролета вальдшнепов и вдруг видишь, Суетной махает руками. «Что такое?» — «Вишь, напакощено — тут и ищи!» И точно: сделаешь два-три шага, и из-под ног поднимался вальдшнеп.

Суетной предсказывал бурю, грозу, дождь, засуху, и предсказания его почти всегда сбывались. «Завтра дождь будет, — скажет, бывало, — лопух запрокинулся!» И потом тут же прибавлял: «Опосля дождя этого подгруздник пойдет, надо будет в лес сбегать!» — и смотришь: на другой день действительно. пролил роскошный дождь, обильно смочил землю, а дня через три Суетной тащит уже громадный кузов, доверху наполненный белыми подгруздниками. «На-ка, — скажет, бывало, — посолить вели, они скусные, не хуже груздей настоящих», —

и, поставив кузов, поспешно уходил. «Куда же, постой!» — крикнешь ему, бывало, но Суетной махал руками и кричал: «Недосуг, бегу лен прополоть: трава совсем заглушила после дождя!»

Подобные люди, склонные к созерцанию явлений природы, большею частью подвержены мечтательности в ущерб обыденным хозяйственным занятиям, но Суетной и в хозяйстве своем был тем же неутомимым и тягучим. Занимаясь охотой, грибами, рыбной ловлей, он и в хозяйстве своем ничего не упускал из вида. Хлебопашца усерднее Суетного не было, кажется, во всей округе. Он снимал землю у соседних землевладельцев и только в крайних случаях прибегал к найму работников. Он и сын его Нифатка делали все сами, собственными руками своими. Сами пахали, сеяли, сами косили, сами молотили и сами же свозили хлеб свой на базары. Эта страсть избегать чужой помощи и все делать самому доходила в Николае до смешного и упрочила за ним навеки кличку «Суетного», данную ему дергачевцами. Он не гнушался даже бабьими занятиями, и, когда жене его Афросинье случалось хворать, он лично исправлял все женские хлопоты. Сам стряпал, сам месил тесто, сам доил коров и даже сам мыл белье на реке. Возьмет, бывало, коромысло на плечи, навешает белья, залезет по колено в воду и давай полоскать. Бабы соберутся, хохот подымут, а Суетной в ус себе не дует, выполощет белье, схватит валек да так примется выколачивать, что даже брызги летят во все стороны. «Ах, Суетной! Ах, Суетной!» — говорили бабы, помирая со смеху.

В свободное от полевых занятий время Суетной занимался охотой, ходил в лес, собирал ягоды, грибы, сушил их и затем вез все это в город и продавал. Он собирал какие-то травы, лечил от водобоязни, ловил сетями перепелов, куропаток, а с наступлением зимы пускался в извозы и ставил капканы. Зайцев ловил он в громадном количестве и торговал как шкурками их, так и тушками. Волки попадались, конечно, реже, но все-таки не проходило ни одной зимы, чтобы он не поймал двух-трех волков.

Жена Суетного Афросинья была женщина хилая, болезненная, но даже и эта хилость не мешала ей хлопотать с утра и до ночи. Только тогда, когда становилось ей не под силу, она оставляла работу, забиралась на печку и с печки этой не слезала вплоть до выздо-

ровления. Афросинья одевала всю семью свою. Она ткала холсты, сукна, шила рубахи, зипуны, и во всем доме не было ни одной покупной одежды.

Нечего говорить, что на Нифатке сосредоточивались все симпатии семьи Суетного. Сам Николай начал восторгаться им чуть ли не с первого дня его появления на свет, и, по мере того, как мальчик рос, росло и восхищение Суетного. Он выделывал ему удочки, ветряные мельницы, а как только начинала приближаться весна, как только начинала синеть река, поднимая и вспучивая ледяные свои покровы, так Суетной с Нифаткой со двора не уходили. «Смотри, смотри, Нифатка,— крикнет, бывало, Суетной, указывая в воздушное пространство,— смотри-ка, сколько журавлей-то летит, слышишь, как кричат!» И Нифатка поднимал голову, смотрел на летевшую угольником стаю журавлей и прислушивался к их звонкому крику, сливавшемуся со стоном реки и грохотом ломавшихся льдин. И оба радовались наступлению весны. На посевы Суетной стал брать своего Нифатку чуть не с пятилетнего возраста. Рассеет, бывало, зерна по вспаханной земле, запряжет лошадь в борону, посадит Нифатку верхом и крикнет: «Ну, подлец, боронуй!» И Нифатка с серьезным видом, с растопыренными врозь босыми ножонками, принимался ездить взад и вперед по загону и забороновывать посеянное отцом.

Когда Нифатке минуло лет девять, он сделался уже не на шутку помощником отца. Заборонововать загон он отправлялся уже один, один убирал скотину, привозил с гумна солому. Он умел и лошадь запрячь, и прорубь прорубить, и лапти сплесть, и дров приготовить. Тоже, как и отец, он был постоянно занят и тоже, подобно отцу, в свободное время или бежал на реку рыбу удить, или в лес за грибами, или же брал сети и ловил птичек.

Но забавы эти скоро прекратились.

Как-то раз осенью Суетной, возвратясь из города, привез азбуку. «Ну, подлец Нифатка,— проговорил он,— будет тебе баклуши-то бить, ныне неграмотному человеку житье плохое. У нас точно нет училища, а вон в городе посмотрел я, что ни улица, то школа. Мальчишки и девчонки то и дело с книжонками попадаются, есть и такие, что заборы переросли, бороду, усы бреют, а все-таки с книжками идут. На-ко вот и

тебе книжку, азбукой она прозывается... Нечего нам с тобой от людей-то отставать... Валяй-ка завтра к дьячку Меркулычу, читальщик он ловкий, и чтобы к светлому празднику ты у меня читать умел. Слышишь, что ли?» «Слышу!» — проговорил мальчик и на другой же день утром, убрав скотину, побежал к дьячку с азбукой под мышкой. Суетной ни разу не спросил у сына: хорошо ли идет учение? Ставил себе капканы, ловил волков, ездил в город. Только в городе, бывало, как только увидит какого-нибудь мальчугана с книжками, так сейчас добродушно улыбнется, остановит мальчика, погладит по голове и проговорит: «Учись, клоп, учись, и у меня вот такой же парнишка тоже учится!» И долго, бывало, смотрит вслед маленькому школьнику.

Но каково же было изумление Суетного, когда, придя на пасху к заутрене, он услыхал на клиросе знакомый голос, а заглянув в ту сторону, увидал своего Нифатку, читающего толстую церковную книгу. «Молодец, Нифатка!» — заорал Суетной на всю церковь, но, увидав, что народ обернулся и с удивлением смотрит на него, а священник так даже церковную занавесь отворотил немного, Суетной переконфузился, вышел поспешно на паперть и только там, окутанный со всех сторон мраком ночи, решился отереть радостную слезу, навернувшуюся на глаза.

На другой год Нифатка выучился писать. Правда, писал он безграмотно, криво, часто пропускал не только буквы, но даже целые слога, но тем не менее Нифатка сделался в селе Дергачах необходимым человеком. Его стали водить в волостную, и там, усевшись за стол, он засучивал рукава, а то так и вовсе снимал мешавшую ему одежду, и неумелой рукой, потея и выводя губами какие-то гримасы, расписывался за неграмотных.

Без Нифатки не обходился ни один контракт, ни одно условие, и хотя он даже и не знал содержания подписываемого им документа, но тем не менее серьезно «отбирал руки», расписывался, и общество села Дергачей видело в нем твердую свою опору. «Грамотей, как следует, — говорили все, — теперича с ним как у Христа за пазухой!»

Дальше, однако, грамотность Нифатки не пошла, так как и сам дьячок Меркулыч более этого ничего не

смыслил, а школы в селе Дергачах, не отстававшем от других подобных ему сел и деревень, не было.

Глядя на столь добродушный характер Суетного, ничего нет удивительного, что и в отношениях своих к обществу, к миру, то есть, он сохранял ту же мягкость и покорность. Он уважал волостного старшину, уважал писаря, старосту, сборщика, судей не потому, что каждый из них занимался отправлением известных обязанностей, а потому, что они были избранниками «обчества». Насколько Абрам Петрович сторонился от общества, не признавал его авторитетности, даже презирал его за неспособность, настолько, наоборот, Суетной прислонялся к этому обществу, как к теплой печке, которая и отогреет и обсушит. На общество, как соединение нескольких единиц, Суетной смотрел как на семью или как мой дядя на тот веник, о котором рассказывал Абрам Петрович. «Как можно,— говорил Суетной,— один человек или «обчество»! Одного-то человека сейчас подшибить можно, а обчество-то небось не скоро подшибешь. Все одно что в обозе ехать — аль одному. Один-то едешь, и недобрый человек тебя и обидеть может, и метель закрутит тебя, завертка лопнет, так и ту не скоро справишь, а в обозе, с людьми все нипочем. Как возможно, один человек аль обчество!» Суетной не пропускал ни одной сходки и хотя на сходках этих не принимал участия ни в прениях, ни в распитии водки, а все-таки шел, садился на завалину и слушал, что говорили старики. Соберутся, бывало, дергачевцы мирской покос делить. Чтобы сравнять каждого, делили этот покос по числу имеющейся скотины, полосками, соображаясь с качеством травы, и потому приходилось то здесь махнуть косой, то в другом, то в третьем месте. Работа страшная. Измерение производилось шагами и продолжалось по нескольку дней. Сколько, бывало, травы помнут, сколько времени потеряют, сколько «греха на душу возьмут», а Суетной все-таки верил в необходимость такой дележки и только головой покачивал, когда, однажды случайно попав на эту дележку, Абрам Петрович принялся ругать на чем свет стоит все «обчество». «Ну чего время-то зря проводите,— говорил он,— чего траву-то мнете! Скосили бы луг всем обществом, сметали бы траву в копны да копнами бы и делили!» «Упрямый человек,— говорил про него Суетной,— все-то у него не по-людски делают, а

как можно по-другому, коли все «обчество» так порешило!»

Случился как-то пожар в Дергачевке. Принялись гореть избы одна за другою, прискакал старшина и давай колотить народ палкой... Прибил и Суетного за то, что прибежал с пустыми руками. Суетной только поклонился старшине, поблагодарил за «науку», а приехал Абрам Петрович и совсем по-другому заговорил: «Прежде бы, ваше степенство, колотили, чтобы у всякого струмент нужный был, да и себя-то самого за то, что нет у вас ни трубы, ни багров... а теперь уж колотить поздно!» Нечто вроде этого случилось и во время одного молебствия о дожде. Долго дождя не было, собрали сходку и порешили молебствовать. Подняли образа, позвали попа и давай таскать его по полям, да на бога роптать. Мимо проезжал Абрам Петрович, услыхал этот ропот. «На себя, говорит, ропщите... на ваши поля хоть целое лето дождик лей, и все-таки толку не будет!» — «Это как так?» — загалдело несколько голосов. «Известно как! Коли земля кое-как всковырена, не вовремя засеяна, да вся-то пырьем заросла, так тут бог-ат ни при чем!» Мужики обиделись, передали эти слова старшине и потребовали Абрама Петровича к ответу. Но на сходку Абрам Петрович не пошел, он только вынул рублевку и, передав ее посланному за ним старосте, сказал: «По сходкам шататься мне недосуг, у меня дела много, а вот вместо себя посылаю вот эту грамотку, кушайте на доброе здоровье!» Вино было выпито и оскорбление забыто. Долго Суетной удивлялся этой выходке. «Ишь ведь,— говорил он,— обчество образа поднимает, а он вон куда загнул!»

Будучи всей душой предан «обчеству», Суетной избегал только быть избранным на какую бы то ни было общественную должность. Раз выбрали его в сельские старосты, так Николай дня три поил стариков водкой, целую «пятишницу» потратил и уж кое-то как выпоил себе «ослобождение». Другой раз выбрали его в судьи, но Суетной и от судейства избавился. На этот раз выкупом был общественный мост через реку Дергачевку, протекавшую как раз посреди села. Он обязался исправить этот мост на свой счет. Целую неделю и он и Нифатка провозились с этим мостом, сколько одного хворосту да назьму перевозили они на «подчатку», топор сломал, долото в воду упустил, а дергачевцы толь-

ко зубы скалили: «Что,— говорили они,— попался! Погоди еще, мы тебя в старшины выберем!» Посмеялся над ним и Абрам Петрович. «Вишь, анжинер, мост-то какой поставил,— говорил он, проезжая на своих дрожках,— хоть сейчас губернатора подавай, так и тот спасибо скажет».— «Как же быть, сватушка, дело обчественное!» — говорил Суетной. «А коли обчественное, так пускай все общество и работает, а не один человек».— «Нельзя, сват, не уравняешь никак. Вон та половина села по мосту скотину гоняет, а эта нет. Один по мосту то и дело ездит, а другой раз в год!» — «То-то я говорю,— заметил сват,— что вы изо всякого дерьма, с позволения сказать, друг на друга готовы войной идти. А долго ль всему-то обществу мост починить... Полдня всего!»

Не участвовал, бывало, Суетной и в съемке земли с обществом. Дергачевцы снимали землю по нескольку сот десятин, целым селом, за общей круговой порукой, выбирали для этого уполномоченных, которые и заключали от себя условия с владельцем земли. Имя Суетного хотя и значилось всегда в числе других домохозяев, но земли этой он никогда не брал. «Нет, братцы,— говорил он,— уж вы возьмите мою землю себе, платите за нее, а меня ослобоните, потому я в другом месте взял». Общество на это охотно соглашалось, и Суетной производил свои посевы особняком.

— Почему же ты так делаешь? — спросил я как-то Суетного.— Сам же ты говоришь всегда, что сторониться от общества не приходится.

— Ну, в этом деле никак нельзя, братец.

— Отчего?

— А вот отчего... дележка неспособная.

— Чем?

— Вот чем. Сам знаешь, земля неровная, эта десятина хорошая, эта пырьистая, эта с «соланчиком», эта с камушками, тут лощинка, там дорога, в другом месте сурчинка, в третьем — западина — весной вода долго стоит... уравнять-то ее трудно. Вот обчество и делит ее полосками, чтобы никому не обидно было... иной раз такая полоска выдастся узенькая, что с бороной по ней не проедешь... Нешто так возможно! И с сохой-то ты мечешься по разным местам, и с бороной-то... То тут попашешь, то в другом месте... на одни переезды сколько времени уйдет... Да и греха-то не оберешься...

— Какого же греха?

— Как какого? Крик, шум, драка... Перепутают эти полоски, ну и пойдет кровопролитие... А когда я особняком-то сниму, так и польце-то у меня все в кучечке, в одном месте, соху мне не перетаскивать, и идет она у меня, моя голубушка, своим порядком, прямехонько, словно кнутом ударили. И крестцы у меня не разворочены, и снопы целы...

— А там-то неужто воруют...

— Да ведь, обчество, сам знаешь, всякого народу много...

VII

Как, однако, ни хлопотал Суетной, как ни надрывал свои силы над работой, а все-таки лишнего гроша никогда у него не водилось. Правда, изба у него была красивая, светлая, двор плотно и прочно огороженный; правда, на конюшне у него стояли две плотненьких круторебрых лошадки; имел он корову с подтелком, десяток овец, и все-таки кончилось тем, что он едва концы с концами сводил!

— Что ты станешь делать! — говорил он, бывало, разводя руками.— Ничего не поделаешь... Кабы сыновьев побольше было, а то один Нифатка, да и тому восемнадцать лет всего еще... Вот постой-ка, женю его, тогда совсем статья иная пойдет...

— Какая же иная-то?

— Работница лишняя... Уж я небось плохую не выберу... Вот, постой-ка, теперь уж недолго ждать... На будущий год осень и женим... Будь-ка у меня два, три сына, я какой бы посев-то махнул... В носу бы зачесалось... Робят бы в поле послал, а сам бы иным делом занялся... Пчельник бы развел, а то ветрянку бы построил... Эти ветрянки нашему брату мужлану большущее подспорье... Сиди себе да помол собирай... Глядишь и прокормил бы семью чужим хлебушком...

— За чем же дело стало... Вот женишь сына — и валяй...

— Управка не берет... «пенензев» этих проклятых нет...

А то, бывало, прибежит и давай охать:

— Ах, ах...

— Что охаешь? — спросишь его.

— Лошадку больно хорошую на ярманке видел! И не дорога была... Всего за пятьдесят монет пошла... Уж такая-то лошадка, что надо бы лучше, да некуда: грудистая, толстоногая, круторебрая...

— На что тебе лошадь? ведь у тебя и так две.

— Как это ты так рассуждаешь, милый человек... Будь-ка у меня три-то лошади, у меня и работы спорее пошли бы, да и в извоз-ат на троем бы ездил...

— Так что же не купил?

— Купилы нет... Пенензев нет. (Деньги Суетной называл пенензами.) Ну уж и лошадка! Всю ярманку с нее глаз не сводил... А когда купили-то ее да с ярманки повели, так меня индо слеза прошибла... Поп какой-то подхватил...

Несмотря, однако, на таковое отсутствие «пенензев», гостеприимнее Суетного трудно было бы встретить человека. Бывало, не знает, как принять, чем угостить... И рыбы, и дичи подаст, и медом накормит, и грибов, и ягод наставит...

— Зачем это ты делаешь? — спросишь его, бывало.

— А как же по-другому-то?

— Жалуешься все, что денег нет, а сам ради гостей не жалеешь ничего...

— Да ведь все свое... Рыба своя, дичь тоже, мед тоже не купленный... целых три колодки на огороде торчит...

— Можно было бы продать все это...

— Ну, братец, всех денег не наберешь... Уж на этом-то не разбогатеешь...

Суетного навещали и старшина, и писарь волостной, и земский фельдшер, которого Николай называл почему-то аптекарем, но чаще всего навещал его приходский поп. Как, бывало, захочется попу этому поесть послаще, так он и к Суетному, да не один еще, а с матушкой, во время же каникул и сына захватит. А сын был семинарист здоровенный, пучеглазый, из философского класса, рот чуть не до ушей, нос с перехватом, как просфора. «А я к тебе матушку, да детище свое кровное привел!» — проговорит, бывало, толстобрюхенький батюшка, и все втроем сейчас же за стол залезут. Батюшка хоть приличие соблюдал, в карман не клал ничего, а матушка да детище, так те, мало того, что наедятся до отвала, еще полные карманы накладут всякой всячины. «Николаюшко! — проговорит, бывало, ма-

тушка.— Ты запасливый такой, нет ли у тебя рыбки залишней, хошь бы судачка солененького мне бы подарил... Я бы вот детище свое угостила. В городе-то там когда бог приведет, народ все жадный, за все денежки подай!» И если у Суетного случалось лишняя рыба или дичь, он спешил удовлетворить просьбу матушки. Наевшись и заручившись провизией, семейство батюшки, легохонько икая и отмахиваясь платочками, возвращалось себе домой. Дергачевские мужики по следу узнавали, когда батюшкина семья у Суетного в гостях бывала. «Ну, три следа,— говорили они, рассматривая следы, отпечатавшиеся на мягкой уличной пыли,— батюшка с матушкой и детищем к Суетному ходили!» «Ах, зубоскалы, ах, зубоскалы!» — проговорил батюшка, узнав как-то про эту выходку дергачевцев.

Как-то раз, зайдя к Суетному, я застал его в большом огорчении.

— Что случилось? — спросил я.

— Да вот корову со двора сводить хотят.

— Кто?

— Обчество старосту присылало... Десять рублей штрафу требуют... «Коли завтра, говорят, штраф не уплатишь, корову сведу!»

— За что же штраф-то...

— То-то вот и дело-то, что ни за что... Вишь ты, какая история вышла. Обчество, значит, землю снимало у купца, «кондрак»[11] написали, и в нем было поставлено, что коли обчество в срок «ренту» не заплатит, то штраф. Дело до суда доходило, полномоченные наши в город ездили, да ничего толку не вышло, штраф все-таки взыскать присудили. Теперича на мою долю и приходится десять рублей.

— Да ведь ты в съеме земли с обществом не участвуешь?

— Вот то-то, братец ты мой, и есть, что в «кондраке»-то и я записан, еще мой Нифатка и расписывался-то, землю-то не беру, а в «кондраке»-то значусь, круговая то есть порука. Как это дело-то вышло, так меня и притянули.

— За что же?

— А вот за этот за самый штраф, что деньги не вовремя заплачены.

— Да ведь тебе платить не следовало?

— Не следовало.

— Чем же ты виноват, что общество просрочило с арендной платой?

— А «кондрак»-то?

— Так ты докажи, что земли не брал.

— Кому же это доказывать-то?

— Ну, мировому прошение подай, объясни, что неправильно требуют, что землею ты не пользовался, что вся земля была в распоряжении общества, что в контракте ты не участвовал...

— Это судиться, значит? — перебил меня Суетной.

— Конечно.

— С обчеством-то?

— Ну, да.

— Нет уж, это опосля когда-нибудь... Нет, брат, с обчеством-то не скоро сладишь...

— Так плати...

— Слова бы не сказал, да пенензев нет. Хочу вот к жигулевскому барину сбегать... Пятишница-то есть у меня, а другой-то пятишницы не хватает.

— Неужели у тебя десяти рублей в доме нет?

Суетной даже фыркнул как-то.

— Чудак ты, посмотрю я на тебя! — проговорил он.

— Воля твоя, я не понимаю. Делаешь ты посевы, промыслами разными занимаешься, а денег все-таки у тебя нет. Ты сколько платишь податей?

— Шестнадцать рублей! — с души по восьми рублей.

— Всего-навсего!

— Нет, за «штрафовку» еще пятнадцать.

— За какую это штрафовку?

— За усадьбу по три копейки с рубля штрафовка.

— Отлично. Итак, податей ты платишь шестнадцать рублей, страховых пятнадцать рублей, следовательно, в год приходится платить тебе тридцать один рубль только.

— Верно.

— Как же деньгам-то у тебя не быть?

— А земли-то душевой знаешь сколько? — спросил Суетной.

— Сколько?

— Известно, сколько на малый-то надел приходится! Полторы десятины на душу... У меня две души, стало, владею я тремя десятинами... Вот ты с трех-то десятин и плати тридцать один рубль... А чего с нее возьмешь-то, тут и выгон, и усадьба, и гумно...

— А твои посевы на стороне-то?
— Да ведь на стороне-то землю тоже даром не дают...
— Конечно.
— Вот ты и посчитай.
— Давай посчитаем...
Суетной вмиг вскочил с места, бросился к образнице, выдвинул какой-то ящик, постучал, погремел там, достал счеты и подал их мне.
— Бери,— проговорил он,— считай.
Я вооружился счетами.
— Ну, вот теперь клади,— проговорил он.— Под рожь я снимаю шесть десятин по двенадцать рублей. Выходит семьдесят два рубля. Так?
— Так.
— Клади семьдесят два.
— Ну, положил.
— Каждая десятина дает мне пять четвертей. С шести десятин сколько это выйдет?
— Тридцать четвертей.
— Верно... Шесть четвертей покинь на семена.
— Остается двадцать четыре.
— Это много ль составит пудов,— спросил Суетной,— коли в четверти девять пудов считать?
— Двести шестнадцать пудов.
— Ладно. Нас трое едоков, на каждого едока в месяц по одному пуду тридцати фунтов. Сколько же это на всех в год придется?
Я стал считать, и вышло, что три едока съедят в год шестьдесят три пуда.
— Шестьдесят три?—спросил Суетной.
— Да.
— А много ли всего-то было?
— Кроме семян, двести шестнадцать.
— Скащивай шестьдесят три.
Я скостил.
— Сколько осталось?
— Сто пятьдесят три пуда.
— Клади теперь... Пуд ржи по средним ценам стоит пятьдесят копеек. Сколько выйдет денег?
— Семьдесят шесть рублей с полтиной.
— Так,— подхватил Суетной.— Значит, со ржи я получу семьдесят шесть рублей пятьдесят копеек... Теперь давай считать овес. Овса сею я восемь десятин,

плачу за землю по десяти рублей — восемьдесят рублей. Овса возьму я с десятины... ну клади хоть десять четвертей, уже это много... Значит, восемьдесят четвертей, на семена надоть накинуть шестнадцать четвертей, четверти четыре на лошадок. Остается, значит, шестьдесят четвертей... Так, что ли?

— Так.

— Ну, почем овес? — спросил Суетной.

— Клади по три рубля.

— Дорого, ну, да пусть будет по-твоему. Сколько денег?

— Шестьдесят четвертей по три рубля составит сто восемьдесят рублей.

— Ладно. Теперь считай: рожь дала нам с тобой семьдесят шесть с полтиной, ну клади для ровного счета семьдесят семь рублей, овес сто восемьдесят рублей. Сколько это?

— Двести пятьдесят семь.

— Теперь клади расход. За шесть десятин семьдесят два рубля, за восемь под овес восемьдесят рублей. Это сто пятьдесят два, мотри?

— Сто пятьдесят два.

— Не мало денег-то! Скости-ка, сколько?

— Сто пять рублей.

Суетной даже в затылке почесал.

— Теперь считай помол... Съедим мы без малого восемь четвертей... Уж я не считаю, что и лошадкам, и коровкам помесить надо... стало, за помол надо отдать мельнику восемь мер... Ну, что стоит, по-твоему, восемь мер ржи?

— Если считать в мере пять фунтов, то восемь мер стоят четыре рубля пятьдесят копеек.

— Скости четыре с полтиной.

— Остается сто рублей пятьдесят копеек.

— Теперь надо травки купить.

— Да ведь у вас свои луга есть...

— С своих лугов мне более воза не достанется... потому что мы с весны и выбиваем больно лошадьми. Надо, значит, два сотенника у кого-нибудь в людях снять... Ты почем хорошую-то продаешь?

— Рублей двадцать.

— Скости сорок рублей. Много ль остается?

— Шестьдесят рублей с полтиной.

— Теперь надо расходов снять под скотинку да па-

стуху заплатить. За расходы платим мы с крупной скотины по два рубля, а с мелкой по тридцать коп., так, значит, у нас по нашей накладке выходит. Крупной скотины у меня четыре головы, а мелкой десять. Выходит, за расходы надо мне отдать одиннадцать рублей. Скости!

— Остается сорок девять с полтиной.

— Теперь пастуху считай, они, жиды, ноне страсть как дороги стали! За крупную надо отдать ему по семьдесят копеек, да за мелкую по двадцать... Всего приходится ему четыре рубля восемьдесят копеек. Скащивай.

Я скостил.

— Сколько?

— Сорок четыре рубля тридцать копеек,— проговорил я.— Но ведь ты забыл про надел...

— А подати-то! — подхватил Суетной.— А тридцать один рубль податей-то! Нет, душевую-то землю и считать нечего, потому с нее и податей-то не выцарапаешь... Вот что, друг любезный... Ну, так как же, много у нас денег-то?

— Сорок четыре рубля тридцать копеек.— И потом, вдруг мотнув головой и как-то прищелкнув языком, он прибавил:— Так-то-с...

— А промыслы-то твои?

— Да ведь и нуждов-то еще много, друг любезный! Ты полагаешь, что на сорок четыре рубля управишься... Нет, шалишь. Надо, братец, просца посеять, чтобы каша была, льну малую толику, а то без рубах останемся... Надо для всего этого опять землю снимать, да дорогую, не выпашку... Надо на храм божий... ведь тоже иной раз свечечку поставишь, в кошелек подашь... Попу, а попы-то вон нонче такции на все придумали, окромя того, что каждый год из двора в двор все души переписывать ходят, и за это ведь опять подай... Надо синельнику отдать за синьку пряжи, овчиннику за выделку овчин — из сырых-то овчин тоже ведь тулупа не сошьешь, кузнецу за кое-какие работишки. Надо сапожишки, валенки, рукавицы, картузишко, шапку, дегтю, колес, веревок, сбруи, кадушечки, горшочки, лопат, кос... А ведь ноне, сам знаешь, все дорого стало... А сколько этих штрафов-то переплатишь... Чуть телок на чужую землю забежал, как целковый — рупь... А как его убережешь, проклятого, коли на ду-

шевой-то земле кошку за хвост не повернешь... Тоже ведь мудрено! А сохрани господи, несчастье какое случится, сам захвораешь, лошадь украдут али просто падет... Чего делать-то! Вон ты сейчас заговорил про промыслы мои... Нет, ведь ныне и за это заплати. Прежде, бывало, на Микишкиных-то болотах я даром уток-то палил, а теперь десять рубликов аренды подай.

— А чьи эти болота?

— Барина жигулевского.

— И он с тебя берет?

— А то смотреть будет! То же самое и за рыбную ловлю денежки подай. Прежде, бывало, по Хопру-то я из конца в конец ходил, словно Стенька Разин какой, а теперь тпру! И деньги заплатишь, а все-таки ловить рыбу как твоей душе угодно нельзя. Летось как-то я Хопер-то сетью перегородил из берега в берег, нанял человек пять рабочих и давай ботами ботать... а тут вдруг становой, забрал снасти, составил акт да к мировому...

— И что же?

— Ну, и ботнули. Снасти отобрали, да пять рублей штрафу присудили... Не по закону, вишь, ловил... Так-то, друг любезный, бросай-ка лучше счеты-то, коли в одном кармане вошь на аркане, а в другом — блоха на цепи... А тут еще свату должным состою. Помнишь, чай, двести рублей на избу-то занимал...

— Не заплатил еще?

— Заплатил, да не все.

— А много осталось?

— Да рублей с сотенку, мотри, будет. Спасибо еще, не тревожит. Когда принесу, возьмет, а не принесу — так и не спрашивает. Тут меня еще один купец поддел недавно.

— Как так?

— Двойные деньги за землю взыскал. Расписку-то я потерял, он с меня и стеребил другие. Я было отдавать не хотел, да приехал пристав судебный, цап прямо лошадь под уздцы, ну я и перепужался, отдал.

— Много?

— Десять рублей, да прогоны еще, да за повестку за какую-то.

И потом вдруг Суетной захохотал.

— Чего же ты хохочешь-то? — спросил я.

— Да уж больно смешно, как этот самый пристав лошади в ноги кланялся...

— Как так?

— Цепь у него, знаешь ли, на шее-то висела... а лошадь у меня чужих людей передом бьет, он как цапнул ее под уздцы-то, та и махни ногой, да прямо за цепь и попала... махает, знаешь, ногой-то, а он-то ей кланяется, он-то ей... Народу тут много было... так все со смеху и покатились...

И, упав грудью на стол, Суетной принялся хохотать... Но немного погодя, что-то вспомнив, он вдруг выскочил из-за стола, снял со стенки «мушкетон», подпоясался каким-то ремешком, заткнул за пояс холстяной мешочек с дробью и с порохом и, взяв фуражку, проговорил:

— Надо к жигулевскому барину за деньгами бежать... хочешь вместе? Мимо болот ведь идти... может, убьем чего...

Я согласился.

Выйдя на двор, мы увидали Нифата, возвращавшегося с сохой. Он отворял ворота и вводил во двор лошадь.

— Что, передвоил? — спросил его Суетной.

— Передвоил.

— Ладно. А теперь ступай на огород... Там старуха картошку окапывает, помоги ей, а я к барину жигулевскому сбегаю.

— Сейчас он мне встретился, — проговорил Нифат.

— Куда ехал?

— Домой, мотри... в ту сторону катил...

— Ну, и ладно... может, застану...

И мы пошли.

VIII

Абрам Петрович навещал свата довольно часто. Почти каждую неделю дергачевцы могли видеть его проезжавшим по улице на дрожках, в зеленых перчатках и громыхавшей бляхами сбруе. Хотя и знало все село, что Суетной состоит в долгу у Абрама Петровича, однако, тем не менее, столь частые поездки «молоканского попа» порождали в народе различные толки и предположения. Говорили, что Абрам Петрович ездит «неспроста» и что деньги тут ни при чем, только для одного отвода. Стали посматривать за Суетным, но ни-

чего подозрительного замечено не было. Божница его по-прежнему была полна иконами, да вдобавок такими еще, каких отроду не было у самого дергачевского батюшки: с фольгой и под стеклышками; возле божницы были налеплены разные картинки духовного содержания, чего, как известно, у молокан не водится; посты Суетной тоже соблюдал во всей исправности и даже не ел скоромного по средам и пятницам, как делали то другие дергачевцы и кое-когда сам батюшка, в церковь ходил исправно, причащался ежегодно и даже, как нам известно, водил знакомство с самим отцом духовным.

Посещения эти, однако, даже и меня вводили в подозрение.

— Что-то сват к тебе слишком часто ездить начал! — заметил я как-то Суетному.

— А что? — спросил он и словно смутился.

— Да так...

— Должен я ему, вот он и ездит.

— Частенько же он тебе о долге напоминает.

— Ну, нет, братец ты мой, никогда он мне про долг не говорит. Кабы у меня совести не было, так я бы мог и еще с сотняшку прихватить у него...

— А совратить в молоканство он тебя не пытался?

— Было дело! — проговорил вдруг Суетной и даже с места вскочил.— Да не на того напал. «А хочешь, говорю, к исправнику!» Так он сразу и язык прикусил. «Ну, говорит, господь с тобой. Я, говорит, так только, пошутил!» — «То-то, говорю, шути, да меру помни!» А потом напустил на него старуху, так та чуть ему глаза не выцарапала.

— То-то он тебе и денег-то без расписки дал...

— Должно что запутать хотел... Ведь они, молокане-то, хитрые...

— А про порядки про свои рассказывает?

— Это точно, иной раз к слову и расскажет...

— Ну что же, нравятся тебе их порядки?

— Порядки у них ничего, хорошие.

— Чем же именно они хороши-то?

— Да вот, водки не пьют...

— Так ведь это и православные могут сделать...

— Как же они могут, коли такого заведения нет! Нельзя никак...

— Вероятно, и у них есть тоже пьяницы.

— Известно, в семье не без урода, только уж тогда

молокане от такого человека отступаются, считают его негодяем, знакомства с ним не ведут и ничем не помогают.

— А хорошему человеку помогают?

— Страсть...

— Смотри, не соблазнись!

— Ну, нет, уж это дудки... Отцы, деды христианство соблюдали, так оно не приходится.

— Ведь соблазнился же Абрам Петрович, а уж на что богомольный человек был, ни одного праздника не пропускал, чтобы в церковь не сходить, заместо дьячков был...

— Батюшка наш говорил мне, что все это и вышло оттого, что он зачитался больно... Надо, вишь, и в книгах-то меру знать, тоже, вишь, и там нельзя перекладывать-то... Вон он читал, читал, на него затмение и нашло... разум-то и помутился...

Несколько раз и сам я заставал Абрама Петровича у Суетного, но никогда никаких религиозных разговоров слышать мне не доводилось. Он только критически относился всегда к людям, к укоренившимся порядкам и как будто силился достичь чего-то другого. Насколько Николай все свои убеждения основывал на «отцах и дедах», настолько Абрам Петрович поступал в силу мысли и доводов. Суетной не сознавал этой творческой силы мысли, Абрам же Петрович, наоборот, хотя и не выходил из теоретического созерцания, но все-таки словно чувствовал потребность теорию эту применить к жизни.

Как-то раз пришел я к Суетному. Больная жена его лежала на печке, сам же Суетной сидел с Абрамом Петровичем за столом и пили чай. Увидав меня, Николай выскочил мне навстречу.

— Жена совсем помирает,— говорил он.— За попом уж Нифатку послал.

— Что такое случилось?

— Горит вся словно в огне... без памяти...

— А ты бы к фельдшеру...

— Был уж.

— Ну, что же?

— Лекарства, говорит, нет никакого, значит, говорит, и ходить мне нечего. Напой, говорит, малинкой али мятой... Вот я ее и пою, а легче все-таки нет ничего...

Увидав меня, Абрам Петрович тоже встал из-за стола.

— И вы здесь! — проговорил я.

— Да-с, приехал свата навестить... Да кабы знал, что старуха помирает у него, не приехал бы ни за что.

— Вот это хорошо,— проговорил я.— Наоборот, больных-то и навещают.

— Это точно-с... Только когда помочь нечем, так уж лучше и не навещать.

Оказалось, что у Афросиньи была горячка.

— Да-с,— проговорил Абрам Петрович,— фершал теперича был бы очень полезен.

И потом, немного погодя вздохнув и защурив глаза, прибавил:

— Удивительное дело-с! Человек помирает, а помочь нечем... лекарства нет...

— А прежде-то, сват? И прежде ведь то же было... Отцы, деды сколько прожили, а тоже никаких «аптекарей» не было... Об лекарствах-то и знать не знали!

— Так, значит, и жить все по-старому!

— Тоже больше бога-то не будешь, в смерти и в животе он один волен... Коли смертный час подойдет, так тут хошь «разаптекарь», и тот не поможет.

— Зачем же ты за ним послал-то?

— Да все думается...

— А ты бы уж и не думал, коли по-старому жить хочешь... Нет, сват любезный... живем-то мы по-старому, только деньги-то берут с нас по-новому. Прежде «аптекарей» точно не было, так ведь мы за то и не платили им...

— Это справедливо...

— То-то и есть-то! Нет, сударь,— проговорил он, обращаясь ко мне,— поистине тяжелые мы времена переживаем, а все главная причина потому, что порядку нет никакого... По-настоящему все бы должно было лучше идти, а на самом-то деле ничего этого нет... Мужик извелся до такой степени, от него одна шелуха осталась... Извелся тоже и барин... Так и мечутся все, словно рук не к чему приложить... Все побросали... хошь трава в поле не расти. Забыли, как семье жить надо, как отец себя должен соблюдать, как мать, как муж с женой жить должен, как детей держать, а дети, глядя на отцов, тоже не знают, что им делать... Так и пошло все... Да чего-с! Забыли, как землю пахать надо,

как хлеб убирать, как свое добро соблюдать... Денег мы платим прорву, а распорядиться этими деньгами никто не умеет. Человек захворал — лекарства нет, село загорелось — тушить нечем, учиться захотел — учителя нет, ехать собрался — бери с собой оси да оглобли, потому дорог нет, украли у тебя безделицу какую — рукой махни, работник сбежал — поклонись ему вслед, на слово поверил — дураком обзовут, расписку взял — не по форме написана... Только один кабак и процветает... Пьют, как никогда не пивали. И с какой радости, и на какие деньги пьют — придумать не могу... Кажется, у другого штанов нет, а пьян... Весь в крови, в грязи валяется и забыл про то, что люди увидать его могут.

Приехал батюшка, причастил больную и засел за стол.

— Ах, ах! — проговорил он, поставив дароносицу и поглядывая подозрительно на вошедшего в избу Абрама Петровича.— Ах, ах, Абрамушка, Абрамушка... как это возможно... что ты наделал... ах, ах...

Но Абрам Петрович только улыбнулся.

— А ты кушай, кушай, батюшка,— проговорил он,— вишь, хозяин-то водочки принес, выкушать просит тебя...

Батюшка оглянулся и, увидав возле себя Суетного, державшего на тарелке графинчик с водкой и рюмку, налил рюмку, перекрестился, перекрестил рюмку и, прошептав «Во имя отца и сына и святого духа», выпил ее залпом.

Когда батюшка, надлежащим образом закусив и выпив, стал собираться домой, он вызвал Абрама Петровича в сени.

— Ты вот что,— проговорил он настолько громко, что я мог слышать его разговор.— Ты того... смотри...

— Чего того? — как-то насмешливо, но все-таки степенно проговорил Абрам Петрович.

— Ты-то уж, господь с тобой... отрезанный ломоть... и прихода не моего... а все-таки того... Ты вот... часто больно к свату наезжать стал...

— Да ведь и ты, батюшка, не забываешь его. Нет-нет и зайдешь, да еще с матушкой и с детищем...

— Да я-то что! Я закушу и домой...

— Ну и я то же самое... благо человек-ат угощать любит...

— Ах, ах... все ты не то говоришь...

— Ну, а больше мне и сказать тебе нечего...

И, проговорив это, Абрам Петрович отвернулся от батюшки и вошел в избу.

Как тяжело ни хворала Афросинья, однако дело кончилось благополучно. И недели через три она слезла уже с печки.

Между тем Нифату минуло уже девятнадцать лет, и Суетной принялся разыскивать сыну невесту. Поры этой он насилу дождался. Богатой невесты Суетной не искал, но искал девушку работящую, здоровую и хорошего поведения.

Объездил он все соседние села, деревни, все хутора, и наконец в какой-то глухой деревушке, в которой не было еще ни кабака, ни лавочки, ни базара, Суетной откопал искомый клад.

Он возвратился домой счастливый и довольный, и вот как он описал сыну красоту невесты: «Девка здоровенная, что в плечах, что в поясе — все одна, ровная. Груди навылет, ядреная, румяная... Сало из-под кожи так и польется... ни вередов, ни чирьев, ничего этого нет... глаз веселый, вскинет и все видит. Сама невысокая, но коренастая, ноги прочные, маненичко с кривизной внутрь; станет, так не спихнешь, пошла это она лошадь закладывать за снопами ехать... Как упрется коленкой в оглоблю, так сразу супонь и натянула. Опосля того брикнулась в телегу, заиграла песню на всю округу и марш в поле! Ловкая девка и всех этих глупостев не знает... Ни, ни... как мать родила, так и осталась!»

Девушка понравилась Нифату, Нифат девушке; и в ту же осень по уборке хлеба состоялась и свадьба. Урожай в тот год был более чем удовлетворительный, и Суетной свадьбу сына справил на славу. Он наварил браги, купил ведер десять водки, зарезал несколько баранов, кур, подготовил рыбы, настрелял уток и гусей... Из церкви вплоть до дома молодых вели в венцах, и батюшка все время в ризе и с крестом в руках сопровождал их. Пир продолжался с неделю... И в избе, и вокруг избы народ толпился с утра до ночи... Пляски и песни не прекращались... Было проделано все, что только проделывается на свадьбах... И хмелем осыпали, и горшки били, и молодых заставляли целоваться... Суетной был на верху блаженства, желанная

мечта его наконец исполнилась... Семья его прибавилась. Молодая, здоровая сноха внесла в эту семью такое счастье, какого Николай даже не ожидал.

Все более или менее почетные люди тоже перебывали на свадьбе. Был батюшка с матушкой, старшина, волостной писарь, «аптекарь», Абрам Петрович, письмоводитель мирового... Даже сам жигулевский барин и тот не побрезговал. На первый же день свадьбы он с шумом подлетел к избе Суетного, вошел в избу и спросил себе стакан водки, стал в торжественную позу, произнес спич и выпил за здоровье молодых. Он даже своих лошадей дал на свадьбу «под невесту», украсил их лентами, бантами, заплел гривки, дугу обмотал платками, шляпу кучера утыкал павлиньими перьями, и тройка эта так мчала невесту, что та, укрытая с головой «шелевым платком», чуть не умерла со страху.

С первых же дней своего вступления в семью Суетного молодая Прасковья (так звали жену Нифата) не замедлила показать свое проворство. Отпраздновав свадьбу и оглядевшись, она тотчас же умелыми руками взялась за женское дело, и дело это приняло иной вид. Видно было, что делом этим принялась заправлять не хилая, болезненная и надорванная женщина, а женщина с молодыми силами и железным здоровьем. Утомленная свадебными хлопотами, а пуще наплывом чрезмерного счастья, Афросинья не замедлила залечь на печку, но на этот раз дергачевским обитателям не пришлось позубоскалить над Суетным, ибо белье на реке полоскал уже не он, а его сноха, да такая, у которой валек в руке гремел на всю деревню, у которой руки были мускулистые и которая, подоткнув подол и нагнувшись, показала такие красные и здоровенные икры, такие твердые ноги и такой могучий торс, что всякое зубоскальничанье становилось неуместным. Мужики, бывало, спят еще, а у Прасковьи в печи целый пожар идет, а сама она, засучив по локоть рукава, или тесто месила, или завтрак стряпала. Пригонят стадо, так Прасковье стоило только выйти на улицу и закричать: «Вечь, вечь, вечь!» — как все Николаевы овцы гурьбой вылетали на зов хозяйки и в ту же минуту марш в растворенные ворота. Как принялась Прасковья молотить хлеб, так только пыль столбом пошла, шлепнет цепом, так даже земля загудит, словно бабкой ударила. Молотит, а сама или песни играет, или

прибаутки говорит, да такие веселые и смешные, что все со смеху животики надрывали. «Да ну те к лешему!» — заметит Суетной, а Паранька крикнет в ответ: «Ничего, батюшка, ничего, молоти знай, так-то ходчее пойдет!» Раз как-то на базаре краснорядец подлетел к Прасковье с недобрым предложением, Прасковья в ответ как размахнется, как хватит его по роже, так тот и с ног долой.

«На-ка, вот, закуси!»— проговорила она и пошла своей дорогой. Насколько Прасковья была ловка, работяща и проворна, настолько же была она почтительна и к свекру и к свекрови. Первого называла она батюшкой, а вторую — матушкой и, действительно, привязалась к ним, как к родным отцу и матери. Нифата она полюбила сразу, сшила ему три ситцевых рубахи, купила пестрый платок на шею, связала перчатки из шерсти, выкрашенной фуксином, и сшила сама занавеску к постели. «Хоша и муж с женой,— говорила она,— а все же нехорошо!»— и начнет, бывало, ласкаться: «Хороший, говорит, ты у меня, Нифатка, добрый, ласковый!»

И все это было в Прасковье так просто, правдиво и бесхитростно.

Даже Абрам Петрович, относившийся ко всему критически, и тот не налюбуется, бывало, на Прасковью.

— Ну, сват,— говорил он,— эта ничего... вывезет...

— Вывезет, сватушка, вывезет! —подхватывал Суетной и улыбался.

— Баба настоящая, как есть русская...

— Настоящая, сват, настоящая... Вечор сама огород вспахала...

— Ну?

— Вот те христос... с места не сойти...

— Так это, выходит, весной-то... в три сохи...

— В три сохи! А намедни, на помочи, во какой стакан водки долбанула...

— И ничего?

— Хошь бы в одном глазе! — И потом, подмигнув, добавил:— Эта дурака-мужа как раз к прялке привяжет!

И оба захохотали, причем живот Абрама Петровича пришел в обычное колыхание...

IX

Вдруг в народ стали прорываться слухи о предстоящей будто бы войне[12]. Жители деревень плохие политики, о существовании братьев славян никто даже не подозревал. То, что ясно как божий день человеку интеллигентному, следящему за перевоспитанием общественного и политического строя, перевоспитывающему, согласно этого строя, себя, свои нравы и привычки, то, в большинстве случаев, степному мужику является не только темным и загадочным, но даже совершенно непонятным. Только после уже, когда пролитая кровь заставит заговорить собственную кровь, когда до народа начнут доходить потрясающие эпизоды войны, когда он, по рассказам, узнает о существовании того народа, ради спасения которого проливается кровь, когда изувечат или убьют у него двух-трех близких ему существ, тогда только он начинает вникать и хотя смутно, но все-таки уяснять причину, вызвавшую совершающееся кровопролитие. «Бога вы не боитесь!» — говорит он тогда. Поэтому ничего нет удивительного, что хотя толки о предстоящей войне и прорывались в народ, но он не то верил, не то сомневался в справедливости этих толков.

Точно в таком же недоразумении находились и жители села Дергачей.

Про возможность войны они отзывались так: «Болтают, а кто ж ее знает!»

Первую весть о предполагавшейся войне распустил жигулевский барин. Он заговорил о ней еще во время сербского восстания. Объявил, что едет добровольцем, но почему-то не поехал и даже оставался дома тогда, когда после правительство приглашало на службу отставных офицеров. Это «болтают» продолжалось довольно долго.

Но вот началась мобилизация войск, стали собирать билетных[13]. Возвратившийся как-то из города Николай Суетной рассказал, что на соборной площади учили солдат маршировать, что он смотрел и дивился — как ловко солдаты эти вскидывали ружьями, как словно один человек, ходили скорым маршем, поворачивались направо и налево, барабанили и кричали «ура!». Заговорили о наборе, а вслед за тем в какой-то праздник после обедни вышел на амвон батюшка в ризе, вынул

из кармана «граматку», отер со лба пот рукой и, проговорив: «Слушайте-ка, православные!» — прочел манифест о войне. Сначала народ подумал, что это землю ему прирезать собираются, но вышло не то. «Болтают» перешло в действительность. Народ загалдел, стал расспрашивать: что и как? Кабатчик выписал местную газету «Листок», и чтение газеты этой привлекало в кабак толпы народа. Прочли «Листок» и повесили носы. Жители села Дергачей, знавшие лишь о существовании турка, француза и немца да черкеса, узнали, благодаря этому «Листку», что, «окромя» вышесказанных народов, «объявился вишь какой-то еще болгар, такой же православный, как и они, дергачевцы, только по-иному гуторящий, и что турок у болгара этого отнимает законных жен, волов, лошадей, насилует дочерей, а самого болгара режет и бросает».

С театра войны стали приходить письма, и все с письмами этими спешили к Нифату, который и прочитывал их приносившим. Сколько слез было пролито над этими письмами! Читались эти письма и перечитывались по нескольку раз, хотя, в сущности, кроме поклонов с далекой стороны, в них и не было ничего. «Вспомнил, вспомнил, родимый!» — и изба Суетного наполнялась раздирающим сердце, тихим, беспомощным всхлипыванием, к красным заплаканным глазам прикладывался конец грязного фартука, и тяжелый вздох вырывался из наболевшей груди. Пошло на войну из села Дергачей человек пять молодых людей, и опять слезы... но ведь бабьи слезы дешевы — чего смотреть на них!

За Нифата Николай Суетной не боялся. Он был одним из ревностнейших защитников «болгара» и до того заинтересовался судьбой его, что, глядя на кабатчика, выписал и себе «Листок». «Ах, Суетной, ах, Суетной! — зубоскалили опять дергачевцы. — Что делает-то! Смотри-ка, ах, Суетной!» И все политики села Дергачей, к немалому огорчению кабатчика, хлынули в избу Николая. Газета читалась вслух Нифатом и слушалась с жадностью. Война за «православных» стала интересовать дергачевцев, и они принялись спрашивать: «Что ж, скоро ли всему этому конец будет?» Кабатчик обозлился на Суетного и, чтобы снова привлечь к себе политиков, накупил лубочных картин, изображавших взрывы разных мониторов, и народ снова повалил в ка-

бак. Слушая газету и поглядывая на картины, политики выпивали, и чарка опять пошла бойко. Но торжество кабатчика продолжалось недолго. Сметив, что картины интересуют дергачевцев, Суетной привез из города целую кипу этих картин и стал торговать ими. Картины были расхватаны мигом, и вскоре не было ни одной избы, в которой, рядом с иконами, не красовались бы разные взрывы и переходы.

Как только война была объявлена, так Абрам Петрович словно сам в себя ушел. Держал себя сдержанно, серьезно и только говорил, бывало: «Что ж, дело доброе, помогать друг другу надо!» Зато жигулевский барин так и крутился вихрем: «Победа,— орал он, стоя в тарантасе и восторженно махая в воздухе шапкой,— победа, поднимай образа, молись богу, десять тысяч турок в полон взяли!» Народ радовался, поднимал образа и в победах видел скорый конец народному бедствию.

Возбужденное состояние это нисколько не мешало, однако, семье Суетного хлопотать о своем, собственном очаге. Война за «болгара» сама по себе, а война из-за куска хлеба сама по себе. Николай, Нифат, молодая работящая Прасковья и даже хилая Афросинья войну эту вели до того разумно, что, несмотря на скудный в тот год урожай, им все-таки удалось уплатить Абраму Петровичу еще одну часть долга. Суетной был счастлив. Теперь оставалось за ним всего пятьдесят рублей, но и эту часть долга он вскоре значительно уменьшил, совершив удачную победу над волками. Ему удалось убить и изловить двух старых волков и трех молодых. Волков этих он предъявил в земскую управу, получил за них по три рубля награды и за столько же продал шкурки. Итак, волки эти дали ему тридцать рублей. Шестнадцать рублей он отдал в подати, а четырнадцать отвез Абраму Петровичу.

Вдруг в народе опять стали «болтать», что война затянулась, что на войну «осерчал француз с немцем, что черкес начал бунтовать и что, мотри, как бы не добрались и до одиночек». Суетной бросился в волостную. Писарь объявил, что точно «болтают», но что ничего «досконального» под руками не имеет. Суетной поскакал в город, обошел знакомых купцов, побывал в крестьянском присутствии, в земской управе, у предводителя, потолкался по базару и воротился домой слов-

но ошпаренный. «Что?» — спросили его в один голос семейные. «Наплевать!» — объявил Суетной и возненавидел «болгара».

Народная болтовня осуществилась, и, действительно, в конце июля семьдесят седьмого года «добрались и до одиночек». Нифат словно ошалел, Прасковья опустила руки, Афросинья завыла, а Суетной обозлился. Жигулевский барин ездил и шумел: «Костьми ляжем!», а Суетной спрашивал: «Где же это такой закон нашли, чтоб одиночек брать... Нешто это возможно, турки вы, что ли, кровожадные! мы, коли так, батюшке царю на вас жаловаться пойдем!» Когда одиночки были собраны к волостной конторе, когда для них были наряжены подводы, то жители села Дергачей подняли такой крик и шум, что сотнику пришлось разогнать толпу палкой. В городе произошла та же история. Родители одиночек целыми толпами ходили к предводителю, к исправнику, стояли по нескольку часов у их подъездов и говорили о законах. Исправник толковал, толковал им, что закон не нарушен, даже охрип толковавши и наконец, не успев убедить в законности призыва, приказал городовым разогнать толпу, а молодых людей посадить пока в холодную... Так и сделали...

В народе, однако, стали опять болтать, что в какой-то губернии, где одиночки тоже были призваны в ратники ополчения, взбунтовались бабы и, побросав свои серпы, прямо с загонов, в одних рубахах, целой толпой штук в полтораста отправились к государыне императрице искать защиты*. Болтали, что полиция не хотела пускать этих баб, но бабы разбили полицию и уж идут где-то далеко и не сегодня, так завтра будут на месте. Слух об этой бабьей экспедиции немного успокоил народ.

Второго августа Нифат был принят в ратники ополчения. Суетной возвратился в Дергачи, но ни он сам, ни жена его, ни сноха даже не были в силах приняться за работу. А пора была между тем самая рабочая, хлеб созрел, зевать было нечего, и в первый раз поля Суетного были убраны наемными руками. Суетной пошел в кабак, вернулся оттуда чуть живой, пьяный,

---

* Слух этот действительно существовал в описываемой местности. *(Прим. И. А. Салова.)*

молча завалился на полати и только на другой день рассказал домашним о «бабском походе».

Весть об этих бабах с быстротой молнии разлетелась по всей губернии, и народ с лихорадочным нетерпением ждал результатов этого похода. Но дни проходили, а о бабах не было ни слуху, ни духу. Принятых между тем ратников передали в распоряжение военного начальства. Их каждый день водили за город, заставляли петь веселые военные песни с бубнами и свистками и учили маршировке под звуки барабана. Только как-то Нифату не давалась эта наука. Скомандуют, бывало: «Напра-во!» — все повернутся направо, а он налево. Скомандуют: «Смир-но!», а он вдруг вопль подымет. Раза два офицер съездил Нифата по зубам, но толку вышло немного. Начальство заподозрило, что Нифат дурачком прикидывается, отправили его в больницу, но в больнице не знали, какими лекарствами лечить его, потому что в больнице он дурачком не прикидывался, а только тосковал. Его выпустили и опять принялись учить. На этот раз дело пошло лучше, и хотя Нифат и недостаточно отчетливо вышагивал, но офицер был уже рад и тому, что Нифат не ревел белугой, когда командовали: «Смирно!»

Вдруг прошел слух, что бабы свое дело охлопотали, они выплакали перед царицей все свои бабьи слезы, вызвали слезы и матушки царицы, которая тотчас же и послала царю телеграмму, а вслед за тем в городе было получено высочайшее повеление о возвращении в первобытное состояние ратников, имеющих по семейному положению льготу первого разряда.

Вернулся и Нифат.

При виде его вся семья воскресла, все вместе сходили в церковь, отслужили благодарственный молебен, а после молебна пришел к Суетному батюшка с матушкой и детищем, успевшим к тому времени кончить курс в семинарии, залезли за стол, и все пошло обычным порядком. Только за Нифатом стали замечать что-то неладное. Раз как-то позвали его в волостную какое-то условие за неграмотного подписать... Нифат пришел веселый, как ни в чем не бывало сел за стол, засучил рукава, расписался и ушел себе домой. Бумага эта вскоре попала к мировому, мировой прочел ее и вдруг видит, что вместо обычного рукоприкладства за неграмотных на бумаге было написано: «По горам

твоим, Кавказ, пронеслась молва о нас». Мировой вызвал старшину, прочел ему надпись и пригрозил, что если ему вздумается еще раз представить такую бумагу в суд, то он ему всю бороду выдерет. Разгневанный старшина вызвал, в свою очередь, Нифата и выпорол его за «озорство». Другой раз был такой случай. Пошел как-то Нифат вместе с матерью в соседнее село на базар. День был теплый, ясный, на полпути присели они отдохнуть. «Матушка,— говорит ей вдруг Нифат,— что тебе горе-то мыкать, хочешь, я тебя зарежу!»— «Будет тебе молоть-то!» — проговорила Афросинья, но Нифат перебил ее: «Отлично было бы... Я бы вот тут же могилку тебе вырыл, крестик бы воткнул, и спокойно было бы лежать тебе в могилке... Спала бы, отдыхала бы себе...» Но Афросинья и внимания не обратила на слова сына. Отдохнувши, они продолжали путь, справили на базаре что нужно и к вечеру вернулись домой.

Наступила молотьба. В описываемой местности яровые хлеба, по отдаленности полей, молотятся там же, на полях. Народ высыпал в поле и принялся за молотьбу. Запестрело поле палатками, покрылось стройными рядами копен, загорелось кострами. Из колыхавшегося золотистого моря оно словно превратилось в лагерь военных. Словно ряды солдат стояли крестцы и копны... В палатках отдыхали люди, а обед варили в котелках на кострах. Недоставало только барабана для довершения картины. Выехал в поле и Суетной со своей семьей... На проезжей дороге расчистили они ток, стали возить копны и принялись за молотьбу. Работа пошла дружно... только Нифат как-то работал неохотно и все куда-то исчезал. Поедет, бывало, за снопами, бросит лошадь, а сам исчезнет. Так прошло несколько дней, как вдруг на ток к Суетному приехал старшина в тележке, с колокольчиком, и привез с собой Нифата. «Бог помочь! — крикнул старшина.— Вот я тебе сына привез!» и вместе с тем объявил, что народ серчает на Нифата, что Нифат все становища обходил и поел всю кашу из котлов. Суетной даже руками развел. «Что это ты, Нифатка, напроказил!» — крикнул он, а Нифатка хоть бы слово... взял цеп и давай молотить. «Ты мотри, поучи его,— говорил старшина,— на первый раз я простил, а попадется вдругорядь — спуску озорнику не дам!»

Дня два Нифат проработал как вол, а на третий, когда все спали, опять куда-то пропал. Оказалось, что Нифат снова пошел шататься по полям, зашел на купеческую землю, наткнулся на становище купеческих работников и, увидав, что на становище никого не было, подошел к котелку, поел кашу, а что не доел, разбросал по полю. Наехал приказчик и, увидав Нифата, накинул ему аркан на шею, вскочил на лошадь и, подхлестывая Нифата нагайкой, погнал его в волостное правление.

Версты четыре гнал он таким манером, наконец пригнал и доложил обо всем старшине. Его степенство приказал подать розог, Нифата растянули... Старшина сел ему на шею, сторож на ноги, а приказчику предоставили пороть. Штук сто всыпали Нифату, а он хоть бы голос подал, хоть бы пошевельнулся, а когда кончили пороть, молча натянул портки, молча поклонился старшине и молча пошел домой...

Прибежал ко мне Суетной, бледный, растрепанный, испуганный, и рассказал подробно о всем случившемся.

— Поедем, посмотри...— говорил он.

Мы отправились, но только что подъехали к избе Суетного, как увидали целую толпу шумевшего народа и тут же тарантас жигулевского барина и дрожки Абрама Петровича.

— Вяжи, вяжи его,— кричал барин,— чего смотреть-то, вяжи его, да в город к исправнику!

Мы вбежали на двор и увидали следующую картину: среди двора в одной рубахе с расстегнутым воротом стоял Нифат, двое мужиков закручивали ему веревкой руки, бабы стояли на крыльце и выли, жигулевский барин кричал и махал руками, а возле него Абрам Петрович.

— В полицию его, к исправнику! — кричал барин.— Где староста, где сотник?

Оказалось, что Нифат, зайдя в один пустой хлев, натаскал туда сухой соломы и принялся ее поджигать... Крик шел ужасный...

— Постойте, погодите-ка,— проговорил наконец Абрам Петрович,— чего его вязать-то... Что он, дерется, буянит, что ли... видите, стоит себе как агнец кроткий... И в полицию его не за что...

— Куда же его, по-твоему? — шумел барин.— Куда, говори, ну?

— Известно, куда больных девают! Болен, так и надо его в больницу везти...

Тут только догадались, что с Нифатом неладно что-то...

Для уборки хлеба Суетной нанял рабочих, заказал снохе Прасковье присматривать за ними, а сам повез сына в уездный город в больницу. Нифата освидетельствовали, положили в пробную палату, а Суетной возвратился домой.

Наконец рожь была обмолочена и ссыпана в амбары. Много денег пришлось отдавать рабочим. Пришлось расплачиваться за посев ржаного поля, за косьбу ржи, за молотьбу ее и, наконец, за уборку ярового. Пришлось опять Суетному потревожить деньги, припасенные на подати и на уплату долга Абраму Петровичу.

Все ушло туда... Но Суетной о деньгах не тужил, лишь бы только Нифата вылечить, а деньги будут, но вышло не так. Недели три спустя после того, как Нифат был помещен в больницу, приехл к Суетному волостной писарь. Писарь этот привез предписание взять Нифата из больницы, так как последний оказался душевнобольным. Сначала никто не понял, что это за болезнь такая, но подвернулся батюшка и объяснил, что это значит: человек с ума сошел. Горю не было конца... Горе это не выразилось ни воплем, ни слезами, а молчаливою, глубокою тоскою, какой умеет только тосковать русский мужик. Явился Абрам Петрович и, узнав, в чем дело, растолковал «свату», что надо везти Нифата в «губернию» в земскую больницу, где лечат душевнобольных. Убитая горем семья словно воскресла. Суетной поскакал за сыном, а через неделю Нифат был уже помещен в отделение душевнобольных.

X

Три года прошло после того, как Нифат был положен в земскую больницу, а толку было все-таки немного: то было ему лучше, то хуже. То Нифат узнавал приезжавших навещать его отца, мать и жену, то, наоборот, как будто не замечал их. Станут они все трое рядышком и молча смотрят на него, а Нифат, бледный, зеленый, с остриженной головой, в больничном

сером халате, ходит да мух ловит; поплачут, поплачут да так и уедут, не добившись ни слова от Нифата.

Трудно приходилось Суетному. Пришлось нанять постоянного работника, а для уборки хлеба, косьбы и пахоты прибегать еще и ко временным. Сам Суетной и сноха его Прасковья не знали отдыха, они делали все, что только могли. Летом Суетной надрывался в поле и зимой в извозах. На двух лошадях возил он хлеб на железную дорогу, ездил с хлебом в Пензу и привозил оттуда тес, который продавал с барышом. Перед масленой он отправлялся обыкновенно на двух подводах в Астрахань, покупал там рыбу и продавал ее по соседним селам и окрестным базарам. Поездки эти приносили ему хороший барыш, но за последнюю зиму не было и этого. Дорогой пала лошадь, пришлось купить другую, и весь барыш ушел на эту покупку. Дергачевские крестьяне, глядя на Николая, только зубы скалили: «Ах, Суетной, ах, Суетной! — говорили они.— Хошь бы минуточку дома посидел! хошь бы отдохнул маленько!» Только один Абрам Петрович, еще чаще навещавший свата, сомнительно покачивал головой.

— Нет,— говорил он,— нет, дело плохо...

— Почему же?

— По всему заметно... Нет, как он ни колотись, как ни бейся, а скоро совсем забьется... Нет, уж не то...

— Поправится сын, и опять пойдет по-старому.

— Нет, старого-то не воротишь... Был работник, да измотался... а на наемных-то надеяться нечего... Не те времена ноне... Нет, шалишь... Ныне работник-то не пособник, а разоритель... потому народ всякую совесть потерял...

— Вы, кажется, чересчур уж озлоблены на народ...

— Да не за что и хвалить-то его-с...

И действительно, на второй же год Нифатовой болезни Суетной уменьшил свои посевы. Он убедился, что наемные руки не свои, что батрак не сделает того, что он сам. Часть снятой было земли он сдал в другие руки и порешил ограничиться наймом только одного годового работника. Не проходило дня, чтобы Суетной не воевал с этим работником. Все-то делал он не по-людски: и плохо пахал, и плохо бороновал, ходил словно сонный, и все-то у него из рук валилось. Вцепится, бывало, в работника и Прасковья. «Да ты что это, окаянный! — закричит она.— Где же в тебе совесть-то!

али проел ее за хозяйскими щами да кашей! чего губы-то развесил!» Но ни война Суетного, ни крики Прасковьи — ничто не помогало. Ходил как-то Суетной жаловаться на работника старшине, мировому, но ни тот ни другой ничего не сделали.

«Как его заставишь!» — сказал старшина. «Как его укрючишь,— сказал мировой,— я и сам от этих работников-то все хозяйство бросать хочу... Грех один только!» Хотел было Суетной прогнать работника, но и прогнать было нельзя, потому что работник иначе не шел, чтобы деньги за полгода вперед. И вспомнил Суетной Нифатку, вспомнил и не вытерпел: упал на землю грудью и залился слезами.

Другой работник поступил с Суетным еще лучше; пил, ел у него всю зиму, забрал все деньги вперед, а как только пришла рабочая пора, так сбежал, оставив свой паспорт. Суетной заявил об этом старшине, дня два поискал работника по окрестным селам и деревням, но так как работник был странний, кирсановский, то поиски Суетного не увенчались ничем, и пришлось навсегда проститься с отданными работнику деньгами. Сунулся было Суетной опять к мировому, но опять без толку. Даже тоска взяла Николая... Но тосковать было некогда. В страдную пору один день целый год кормит, чуть затоскуешься, как сухое зерно наполовину вытечет из колоса. Озимой посев Суетной убрал в неделю, а управивши озимой, принялся и за яровой.

— Изволите слышать, что со сватом-то работники наделали? — спросил меня Абрам Петрович.

— Нет, не слыхал.

— Забрали денежки и поминай как звали...— И потом, вздохнув, прибавил:

— Странные, сударь, времена переживаем-с... Никакого нигде порядка нет-с. Поистине, доложу вам, ваше высокоблагородие, что и мужику плохо, да и барину скверно. Вот сейчас у господина Кестерова я был-с, так жалости смотреть. Человек плугов наделал, сох, борон, сто лошадей накупил, для людей казармы выстроил, годовых рабочих нанял, и что же-с? Лошадей всех побили, искалечили, сморили, плуги и сохи поломали, а пришла рабочая пора — и сами сбежали. Бросился человек по базарам людей нанимать, приезжает в Борки и видит своих рабочих... Хотел было их силой забрать, уряднику обо всем доложил, но, убедив-

шись, что силой ничего не возьмешь, торговаться с ними пустился, стал их рожь жать нанимать... Так они с него сто рублей за сотенник заломили... Как это вам понравится-с... Пожалуйте, да нешто так возможно-с... Ведь это всеобщий разгром.

И потом, опять вздохнув, заключил:

— Вот до чего мы дожили-с... Мужик не знает, как без земли жить, а барин — что с землей делать-с!

Урожай в этот год был так скуден, что от посева больших барышей Суетному ждать было нечего. Приходилось платить рабочим, за землю (без денег и хлеба с полей не спускали), надо было платить подати, и Суетной рассчитал, что у него недоставало хлеба даже на пропитание. Но Суетной не унывал, он сообразил, что до рождества хлеба у него хватит, а зимой, бог даст, добудет.

Вдруг на Фоминой неделе в волостное правление пришла из больницы бумага, в которой значилось, что на излечение Нифата нет надежды, что пусть отец берет его к себе, делает с ним что знает, а чтобы за лечение Нифата всего за три года и пять месяцев, считая за каждый месяц по тринадцать рублей, взыскать с общества села Дергачей, а если таковое платить не пожелает, то с крестьянина Николая Суетного, серебром пятьсот тридцать три рубля, каковые деньги и препроводить в управление больницы.

Статьи закона, на основании которых требование это предъявлялось, были объявлены Суетному, и Суетной ошалел.

На другой же день по просьбе Николая был собран сход. На сход этот явился Суетной бледный, убитый, пораженный; явился не один, а с умирающей старухой и с полной жизни и сил снохой. Старики стояли молча и ждали — что будет? Николай подвел жену, сноху, и все трое упали в ноги миру.

— Старички почтенные, — заговорил Суетной, — выручите... Вот какой грех... Не пустите по миру, не дайте умереть с голоду... век вашими работниками будем... Помогите хоть чем-нибудь... дайте хошь триста рублей, остальные наберу как-нибудь... Избу, двор продам... буду в землянке жить... Бог даст, выплачу... Заставьте за себя бога молить... Сами знаете, старички почтенные, сложа руки сидеть не люблю... Вот у свата двести рублей занимал... Почитай, все уплатил... самые пустя-

ки остались... Помогите... не дайте умереть... не погубите...

Но мир молчал, да так молча один по одному и разошелся.

— Бога вы не боитесь! — вскрикнул Суетной.

Но вопля этого не слыхал никто, ибо в минуту эту у волостной, кроме сторожа, никого уже не было.

В тот же вечер к избе Суетного подъехал Абрам Петрович. Он постучал слегка в окно, крикнул Прасковью и, приказав ей убрать лошадь и бросить кормецу, направился степенной поступью по направлению к калитке. На другое же утро ночной сторож рассказал дергачевцам, что всю ночь в избе Суетного светился огонек, что несколько раз он подходил к окну и видел в щелку ставней Абрама Петровича и Суетного. Оба они сидели за столом и, по-видимому, вели оживленный разговор, но о чем именно шла беседа — разобрать не мог. Дергачевцы стали допрашивать Прасковью, но и та ничего не могла разъяснить, ибо Абрам Петрович как только приехал, так сейчас же выслал из избы «в горницу» и ее, и старуху свекровь. В следующий вечер Абрам Петрович опять приезжал к Суетному, и не один, а с каким-то еще незнакомым стариком, седым и высоким, и опять всю ночь сквозь щелку ставни светился огонек и прямым лучом падал на землю. «Ну,— заговорили дергачевцы,— мотри, Суетной в молокане переходит!» Дошел этот толк до батюшки, и он поспешил было к Суетному, но, на грех, не застал его дома.

Целую неделю пропадал где-то Суетной, наконец возвратился.

— Ну,— проговорил он,— надо за Нифаткой ехать. Я сейчас лошадь переменю и поеду... А ты, старуха, ступай-ка к куму Герасиму... Он зачем-то просил тебя прийти... а ты, Прасковьюшка, ступай к своим побывай... давно не была... нехорошо...

Бабы не хотели было идти, но Суетной чуть не силой выгнал их, так свирепо крикнул на них, что они тут же вон из избы выбежали, а как только остался он один, упал на колени перед образами, залился слезами и принялся молиться... Плакал и молился он долго, часа два... Затем снял иконы, приложился к ним, обошел с ними избу, двор весь, окрестил ими всю свою скотину, завязал бережно в узелок и отнес к батюшке.

В тот же вечер Суетной, мрачный и суровый, на-

правился в город, а через неделю вместе с Нифатом подъезжал уже к дому. С воплем и криком встретили их у ворот и Афросинья, и Прасковья, обе были они в слезах, обе едва на ногах стояли. Нифат даже не узнал их и молча прошел в избу. Но, войдя в избу, он вдруг остановился...

— Батюшка! — прошептал он, как-то испуганно взглянув на образницу,— где же иконы святые? где же заступница скорбящих, Миколай угодник, Михаил архистратиг? где же они? кому же молиться-то... а?

Подбежала мать-старуха, сняла с себя образок медный и подала его сыну.

— Вот, Нифатушка, родимый... вот, на, помолись, болезный...— И, обливаясь слезами, она упала на плечо сына... упала к нему на плечо и Прасковья...

Но сын стоял и с ужасом смотрел в пустой угол.

Суетной запил, да запил так, как не пил еще самый последний дергачевский пьяница. Пил без просыпа и приходил домой только за деньгами. Все свои деньги, какие только были у него, он пропил, затем принялся пропивать деньжонки жены, а наконец добрался и до Прасковьиных. «Батюшка! что ты делаешь! — говорила ему сноха.— Нешто так возможно... долго ли так-то до греха... Сохрани господи!» Но Суетной не слушал никого — ни жену, ни сноху, пьянствовал целых две недели и действительно «дошел до греха».

XI

Как-то, часов в семь утра, когда я лежал еще в постели, вошел ко мне Абрам Петрович. Он был бледен как полотно. Вошел он не прежней степенной поступью, а торопливо, испуганно...

— Ведь сват-то повесился! — проговорил он.

Я даже в ужас пришел.

— Как так? — спросил я.

— Спьяну, должно... пил все... На раките и повесился. Вишь, и теперь еще висит... Станового ждут...

И он рассказал мне подробности, предшествовавшие катастрофе, умолчав, конечно, про сцену с иконами, о которой я узнал после.

Немного погодя на дрожках же Абрама Петровича и вместе с ним я подъезжал к Дергачам. Еще издали увидали мы толпу народа, теснившуюся перед избой

Суетного. Тут были и дергачевцы, и крестьяне соседних деревень, и бабы, и девки, и ребята. Но когда мы подъехали ближе, меня поразила более всего беспорядочная толпа каких-то переселенцев, громадным обозом остановившаяся на дороге, пролегавшей как раз мимо злополучной ракиты. Как-то особенно подавляюще смотрела эта молчаливая толпа и подавляла именно этим молчанием. Кибитки, телеги, набитые кадушками, котелками, тряпками, горшками, ребятами, голодные собаки, исхудалые клячи... все это покрыто грязью и пылью... Голодные лица, впалые щеки, выкатившиеся глаза... Весь этот люд в каких-то странных кичках[14], балахонах, оборванный, обдерганный, босой, изъеденный комарами, исцарапанный, стоял и смотрел на висевшего мужика... Смотрел и молчал... Это могильное, немое молчание было хуже всего... Хоть бы вздохнул кто-нибудь, хоть бы руками развел, хоть бы слезу проронил... Точно все окаменели от совершившегося воочию ужаса... И точно, ужас был великий... Николай висел вытянутый, синий, руки и ноги как плети, с упавшей на грудь головой, со спустившимися на лицо волосами... А толпа смотрела и молчала! Как раз под ногами Суетного чашка... Несколько грошей, пятаков и трешников лежало на дне этой чашки, кто-то кусочек холста бросил...

Вдруг шум... Я оглянулся и увидел жигулевского барина.

— Где, где? Что такое! — кричал он.— Эй, ты, пропусти... урядников, сотник... поди сюда...

Но, увидав Суетного, остановился и задумался.

— Повесился! — проговорил он...

— Так точно, ваше высокоблагородие,— доложил урядник, сделав под козырек.

— Когда?

— Должно, ночью-с... Сноха вышла овец выгонять, а уж он... того...

И урядник, наклонив голову и высунув язык, изобразил из себя повесившегося человека.

— Спьяну?

— Так точно-с... пил сильно-с...

Жигулевский барин опять задумался... Но немного погодя пошарил в кармане, вынул пятишницу, бросил ее в чашку, вздохнул, преклонил одно колено и, сделав три крошечных крестных знамения, встал и напра-

вился было к тарантасу, но, увидав молчавшую толпу переселенцев, вдруг опять зашумел:

— Вы что... откуда... куда... На вольные земли, что ли, а?

Но оборванная толпа молчала и глаз не сводила с повесившегося крестьянина.

— Куда, мол? — кричал барин.— Вас спрашивают, что вы, онемели, что ли, дьяволы?

— Далече! — отозвался кто-то.

— Далече! — передразнил их барин.— На медовую реку с кисельными берегами... так, что ли? а?

Но толпа его не слушала. Видно, эти дети природы только и искали вдохновения в объятиях этой матери своей.

Подлетел жигулевский барин и ко мне.

— Вот-с, вот-с,— шумел он, указывая на переселенцев.— Зачем, почему, для чего, а? Спросите... голодные, оборванные... И что же?

И, вдруг переменив тон, прибавил, тыкая себя пальцем в лоб:

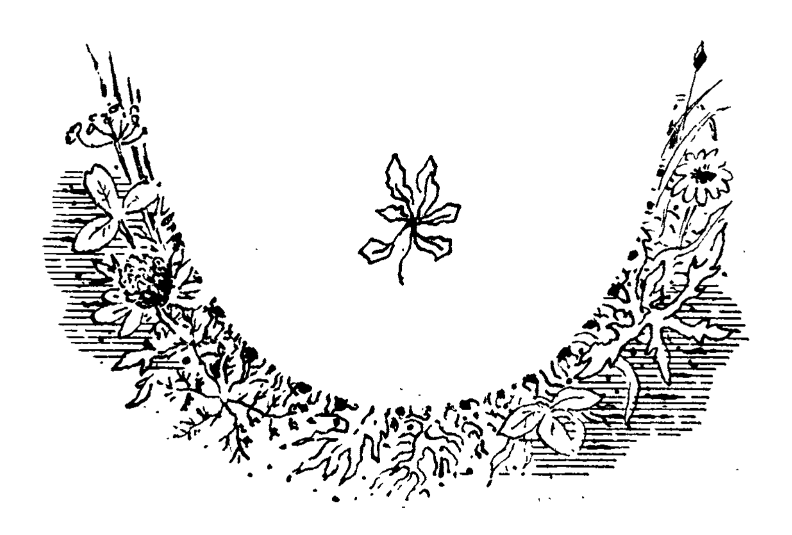
— Нет-с, это верно-с... Это факт-с... Нет-с, не скоро еще выколотишь из него, из этого зипуна-то легенду о медовой реке с кисельными берегами. Не скоро-с, не скоро-с, не скоро-с...

И затем, впрыгнув в тарантас, крикнул кучеру: «Пошел», и шум бубенцов, экипажа и лошадей наполнил на некоторое время молчавшую окрестность.

После уже, спустя некоторое время, передавали мне, что будто Абрам Петрович о смерти свата своего отозвался следующим образом: «Молоканство, вишь, принять — грех, а повеситься — ничего!»

Вспомнил я «мушкетон турецкий» и пожалел, что «мушкетон» этот не уложил Суетного на каких-нибудь Микишкиных болотах.

ВОСПОМИНАНИЯ



Умчавшиеся годы

(из моих воспоминаний)

I

По словам покойной матери, не доверять которым нет основания, родился я 6 апреля 1834 года в городе Пензе, на Московской улице, в доме Ильи Алексеевича Очкина. По случаю трудных родов появился я на свет наполовину синим, то есть наполовину парализованным, а так как и под старость меня постигла та же участь, то, следовательно, русская пословица: «Каким в колыбельку, таким и в могилку»,— сбылась со мной как нельзя лучше.

Детство провел я в родовом имении своего отца Пензенской губернии, Инсарского уезда, в селе Никольском, Ожга тож. Имение в смысле доходности не отличалось, так как состояло из песчаного грунта, дававшего плохие урожаи. Когда-то у отца был винокуренный завод, но завода этого я уже не застал, а помню только его печальные развалины. Итак, в хозяйственном отношении село Никольское было незавидное, но зато оно отличалось красивыми местоположениями, которые до сих пор ясно рисуются в моей памяти. Господский дом с мезонином и двумя балконами — верхним и нижним — помещался как раз на берегу огромного пруда и отделялся от последнего небольшим садом. Пруд, поросший местами густыми камышами, изобиловал и рыбой, и всевозможной дичью, и на этом-то пруду, будучи юношей, я пристрастился к охоте. Спишь, бывало, на верхнем балконе и слышишь кряканье диких уток, крики чибисов и свист всевозможных куликов... А чуть займется заря, уже я бежал с ружьем в руках на берег пруда и начинал охоту. Окрестности села Никольского были тоже очень живописны, в особенности мне нравился пруд, разделявший нашу усадьбу от чугунолитейного завода господина Манухи-

на. Пруд этот тянулся версты на четыре и со всех сторон был окружен сосновым лесом. Ежели читатель помнит мои рассказы «Забытая усадьба», «Француз и помещик Баклажанов», то он находил в них описание этого пруда.

Первым учителем русской грамоты был приходский дьякон Алексей Кузьмич Ласточкин, который, приходя ко мне на урок, каждый раз рекомендовался таким образом: «Чик-Перевич Алексей Кузьмич господин Ласточкин». Фраза эта до сих пор запечатлелась в моей памяти, а также и невзрачная фигура самого дьякона. Это был мужчина довольно высокого роста с рыжими густыми волосами, красным носом и веснушчатым лицом.

Удачно ли шли наши занятия, я не помню, но помню, что мать, за что-то рассердившись на дьякона, отказала ему от уроков, и вместо него стал приезжать ко мне из уездного города Краснослободска учитель тамошнего уездного училища крайне сурового, сердитого вида. Учителя этого я боялся как бог знает чего и чуть не со слезами на глазах вспоминал своего дьякона. Это был мужчина высокого роста с длинными ногами, которыми всегда, сидя на стуле, неистово качал, с нависшими бровями и суровым выражением лица. Приезжал он обыкновенно на телеге, запряженной тройкой лошадей, с трудом выбирался из этой телеги, кряхтел, морщился, а увидав меня, выбегавшего к нему навстречу, сурово кивал головой и делал рукою знак, чтоб я отправлялся в классную комнату. Этот-то учитель и научил меня русской грамоте. Помимо этого господина состоял при мне дядька, немец Андрей Карлович Трумхеллер. Трумхеллер был колонист Саратовской губернии, и явился он к нам, как теперь помню, в сюртуке из толстого зеленого сукна, каким в настоящее время обыкновенно обивают двери, с плисовым черным воротником и, отрекомендовавшись, поцеловал у матери руку, а меня ласково потрепал по щеке.

Этот Трумхеллер пришелся мне по сердцу, так как был еще совсем молодым человеком. Он охотно бегал со мной, играл в лапту, в горелки и охотно разделял со мной все мои детские шалости.

Отца я помню смутно. Помню только, что он был громадного роста, сырого телосложения и отличался

замечательной силой. Он сгибал пальцами целковый, разламывал тарелки двумя руками и останавливал за колесо телеги, запряженные в одну лошадь. Ходил он обыкновенно в халате, громко кашлял, часто закашливался и, закашлявшись, обыкновенно спешил в какой-нибудь угол комнаты и принимался плевать. Помню, как однажды зимой он посадил меня с собой в сани и, выехав на пруд, травил зайца, которого предварительно охотник привез в мешке. Вообще отец мой был страстный охотник: и борзятник, и ружейник.

Потом я помню его смерть. Как лежал он на смертном одре и как благословлял меня. Эта печальная картина врезалась мне в память, и я, как теперь, смотрю на нее. Отец мой был женат два раза. В первый раз на Авдотье Васильевне Олферьевой, от которой имел сына Андрея, а второй раз на моей матери, Анастасии Юрьевне Бибиковой, с которой и прижил двух сыновей: меня и брата Александра Александровича. Когда он умер, мне было лет пять-шесть, и потому матери пришлось возиться с двумя сыновьями. Брат мой родился тремя годами позже меня, но я, несмотря на этот младенческий возраст, отлично помню, как меня ввели в детскую и, указав на колыбель, в которой лежал брат, объявили, что вот господь послал мне брата. Помню, что брат мне крайне не понравился, что был красен как рак, почему я и просил закинуть его в пруд. Брат Андрей во время моего раннего детства с нами не жил, так как состоял на службе в каком-то уланском полку. Но он приезжал в Никольское и всегда приводил меня в восхищение своим красивым уланским мундиром. Помню, как однажды приехал он на крещение и во время водосвятия, совершавшегося на пруду, несмотря на сильный крещенский мороз, присутствовал во время этой церемонии в одном мундире. Брат Андрей пожил, однако, недолго, оставив после себя двух детей: сына Александра и дочь Екатерину, впоследствии вышедшую замуж за инженера Борейша. Но и та уже померла. Так что после брата Андрея не осталось никакого потомства.

Мать моя тоже была сиротой. Но так как отец ее, Юрий Богданович Бибиков[1], был в свое время каким-то важным генералом, то мать моя и воспитывалась на счет императрицы Марии Феодоровны и вместе со своей родной сестрой, Марией Юрьевной Бибиковой,

по распоряжению той же императрицы, была под опекой графа Александра Христофоровича Бенкендорфа и воспитывалась на казенный счет в Смольном монастыре. В описываемое время фамилия Бибиковых была в милости. Дмитрий Гаврилович Бибиков[2] был потом министром внутренних дел, а родной брат его, Илья Гаврилович[3],— виленским военным генерал-губернатором. Помню, что в детстве у матери был процесс с каким-то Севастьяновым, и процесс этот был решен не в пользу матери, вследствие чего мы должны были лишиться всего имения. Тогда мать моя поехала в Петербург и взяла меня с собой. Поехала она к своему бывшему опекуну, Бенкендорфу, который в то время был, кажется, шефом жандармов. Бенкендорф ласково принял нас и посоветовал матери обратиться к императору Николаю Павловичу, что она и сделала. Помню радость матери, когда результатом этого прошения было то, что решение суда найдено было неправильным, а прошение было возвращено с Высочайшей резолюцией «Утешить вдову Салову и дело пересмотреть». Иск Севастьянова найден потом неправильным.

Помимо немца Трумхеллера был у меня еще гувернером француз мосье Поле, называвший себя sous-lieutenant de la grande armée. Но француза этого я помню очень мало. Помню только, что он отлично ходил на ходулях, чем и пугал горничных девок. А меня брал на охоту в качестве легавой собаки. Я носил ему его патронташ, ягдташ и лазал в воду за убитой им дичью. Француз этот жил у нас очень недолго и за какую-то скандальную историю был уволен матерью от занимаемой им должности.

С братом Александром Александровичем я провел детство вместе, так как разница в летах между нами была незначительная — три с половиной года. Воспитывали нас на спартанский манер, почему мы и не хворали, по крайней мере я, сколько мне помнится, дожив до старости, никогда серьезно не болел. Нас не держали в хлопках, и выросли мы не тепличными растениями, а просто-напросто такими же неизнеженными, какими растут деревенские дети. Помню, что зимой нас одевали в заячьи шубки, крытые зеленым атласом, на ноги надевали валенки, а на голову ваточные шапки, крытые таким же зеленым атласом. В та-

ких-то неприхотливых костюмах мы в трескучие морозы лазали по снежным сугробам, катались с ледяных гор и даже не чувствовали холода. Докторов в то время не было, а был фельдшер Поликарп Иванович при чугунном заводе Манухина, который в случае надобности и лечил нас. Но прибегали к его помощи весьма редко, довольствуясь домашними средствами, как-то: липовым цветом и горчичниками.

Соседей у нас было мало. Самым ближайшим был Манухин, к которому мы ездили очень часто, и затем Платон Богданович Огарев, отец известного поэта Николая Платоновича Огарева. Старика Огарева я не помню, но сына его помню отлично, так как часто встречался с ним в селе Яхонтове в доме моего опекуна Алексея Алексеевича Тучкова, на дочери которого, Наталии Алексеевне, поэт Огарев впоследствии женился. Но встречался я с ним недолго, так как он навсегда оставил Россию.

Будучи ребенком, я, конечно, не мог достаточно оценить Огарева как поэта, но все-таки почему-то чувствовал к нему симпатию, несмотря даже на то, что отзывы о нем были крайне для него неблагоприятные: его осуждали, что он занимается такими пустяками, как сочинять стишонки, что это совсем не дворянское дело и что лучше было бы, если б он, вместо этих стихов, занялся своим имением. Имение это называлось село Акшино, и, когда нам с матерью случалось проезжать мимо, мы почему-то всегда останавливались в господском доме, в котором никого из господ не жило. Это была старинная барская усадьба, тонувшая в густой тени старинного парка. Я отлично помню огромный зал с хорами, на которых когда-то гремел крепостной оркестр музыки, и тот громадный парк, в котором когда-то молодой Огарев писал свои стихи. В конце парка протекала река, и вот про эту-то самую реку поэт писал когда-то:

А там, на берегу реки,
Где цвел тогда шиповник алый,
Одни простые рыбаки
Ходили в лодке обветшалой...

И все, что было там говорено
И сколько пережито,
Осталось для людей сокрыто
И навек погребено...[4]

После, когда я настолько вырос, что стал понимать прелесть поэзии, я, бывая в Акшине, всегда убегал на эту реку, садился на берег и как будто переживал то же, что переживал когда-то сам Огарев.

Несколько лет после этого село Акшино, помнится мне, перешло во владение Николая Михайловича Сатина[5], известного переводчика Шекспира. Огарев и Сатин были женаты на родных сестрах Тучковых: жену Сатина звали Елена Алексеевна, а жену Огарева — Наталья Алексеевна.

Сатина я помню тоже очень хорошо. Это был видный и красивый мужчина: высокого роста, с длинными волосами на голове, с бледно-матовым лицом и изящной бородкой. Он первый выучил меня пить шампанское.

В трех верстах от Никольского был так называемый Акшинский винокуренный завод, принадлежавший Огареву. Сатин часто бывал на этом заводе, и вот там-то я и встречался с ним. Приезжал он туда, конечно, по хозяйству, так как Огарева уже в России не было, но это нисколько не мешало Сатину заниматься переводами Шекспира, и, помнится мне, он как раз в это время переводил «Бурю».

Сатин так же, как и Огарев, не пользовался расположением тогдашнего общества, и про обоих про них отзывы были самые неблаговидные: их осуждали и за писание стихов, и за переводы, и за бороды, носить которые в то время было запрещено.

Точно такую же бороду носил и мой опекун, Алексей Алексеевич Тучков, бывший в то время уездным предводителем инсарского дворянства.

В селе Яхонтове, в доме у Тучкова, я неоднократно встречал брата его, Павла Алексеевича Тучкова, впоследствии сделавшегося московским военным генерал-губернатором.

Там же встречался я и с Анной Алексеевной Тучковой, родной сестрой моего опекуна, на дочери которой я впоследствии женился. Анна Алексеевна знала меня еще мальчиком и всегда, восхищаясь моим миловидным личиком, уверяла всех, что моя головка напоминает ей головки Греза[6]. Это я отлично запомнил, и потом, много лет спустя, бывши в Париже в каком-то музее, я нарочно разыскал картины Греза, с целью узнать в них себя. И, боже мой, какое было разочаро-

вание!.. А что бы было с этой госпожой Тучковой, если б она могла посмотреть на меня теперь!

Был у нас и еще один сосед. Это некто Мартынов, но так как он умер прежде моего отца, то я его не помню. Знаю только, что это тот самый Мартынов, сын которого много лет после описываемого имел дуэль с Лермонтовым.

Самый ближайший сосед Манухин, у которого мы бывали каждое воскресенье, так как до построения храма в Никольском мы состояли приходом в селе Сивин, посессионном имении господина Манухина. Отстояв обедню, мы обыкновенно с матерью заезжали к нему и пили чай. Поездки эти запечатлелись в моей памяти, думаю, потому только, что дорога, ведшая из села Никольского в село Сивин, была крайне живописна. Летом она пролегала по громадному сосновому бору, который всегда восхищал меня своей грандиозной колоннадой сосновых деревьев, по ветвям которых быстро перелетали красивые белки с одной сосны на другую. Зимой же дорога пролегала тем самым прудом, о котором я говорил выше, и была короче летней и отличалась тем, что на ней не было ни одного ухаба. Запряжем, бывало, голубую повозку тройкой и мчимся во весь дух от своего подъезда до самой церкви.

Господин Манухин был крайне благообразный старичок: седенький, чисто выбритый и всегда изящно одетый. Он был купец, но ничего купеческого в нем не было, а, напротив, выглядывал барином лучше иного барина. Жил он открыто, дом имел большой, хорошо меблированный, и был великий хлебосол. При доме у него имелась большая галерея, уставленная тропическими растениями и представлявшая из себя нечто вроде маленького зимнего сада. У него были свои оранжереи, свои теплицы и красивый сад с роскошными цветниками. Но более всего мне нравился тот пруд, о котором я только что говорил. Боже мой, какой только не было на нем дичи в весеннюю и летнюю пору! Стоило только заехать в камыши этого пруда, как миллионы уток всевозможных пород шумно поднимались с воды и оглашали своим кряканьем воздух, а в конце этого пруда, затоплявшегося весенней водой, были луга, переполненные всевозможной болотной дичью. Тут были и дупеля, и бекасы, и гаршнепы, и всевозможных сортов кулики.

Был со мной на этих лугах следующий случай, заставивший меня всю жизнь бояться грозы. Отправился я раз на охоту по бекасам. Луга были уже скошены и заставлены стогами сена. С утра день был превосходный, но к обеду надвинулась громадная туча и полил дождь, сопровождавшийся страшной грозой. Чтоб укрыться от дождя, я прижался к стогу, а по соседству к другому стогу прижался пастух, пасший овец и завтракавший вареным яйцом. Ел он стоя, прислонившись к стогу. Вдруг грянул гром, и я не успел опомниться от этого страшного удара, как вдруг увидал, что стог, возле которого был пастух, вспыхнул и задымился черным густым дымом. Я был тогда уже в гимназии и мне было лет 14—15. Я побежал туда и увидал, что пастух был уже перекинут на другую сторону стога. Он лежал совершенно голым и наповал убитым молнией. Только тогда я понял, в чем дело, и, не дожидаясь конца дождя, опрометью бросился домой, до которого было версты две-три. С той поры и до самой старости я боялся грозы и только теперь, угнетенный поразившим меня недугом, желал бы умереть таким путем, каким умер пастух.

Помнится мне, что каждый раз Манухин, как только мы бывали у него, надоедал матери упреками, что она слишком нерасчетливо тратится на окончание постройки церкви, которую начал покойный отец.

— Помилуйте,— говорил Манухин, понюхивая табак из своей золотой табакерки.— К чему, например, разделывать стены под мрамор и делать церковь теплой? Лес у вас и без того порублен. Мужик на ваш мрамор даже не обратит внимания, а зимой, как бы ни была тепла церковь, все-таки тулупа с себя не снимет. А вы могли бы простоять обедню и в салопе.

Но мать ничего и слышать не хотела. И действительно, на отделку церкви она ничего не жалела. Стены и четыре колонны, поддерживающие потолок, были разделаны под мрамор и украшены художественной живописью. Такой же живописью был украшен и потолок. Как теперь помню, что на первом плане потолка была изображена фигура ангела, державшего в руке церковное паникадило, а на втором Бог Саваоф, окруженный сонмом херувимов. Живописью наша церковь действительно отличалась, так как ею заведовал известный в то время в Пензе живописец Мака-

ров, сын которого, Иван Кузьмич Макаров, сделался впоследствии известным художником. Этот-то, тогда еще очень молодой человек, писал у нас местные иконы, запрестольный образ и некоторые картины на стенах. В описываемое время он еще не имел звания художника и, будучи учеником отца, работал в его мастерской. Но кисть молодого Макарова превзошла кисть своего учителя. Мне отлично помнится, что мать первая обратила свое внимание на молодого художника и посоветовала старику Макарову похлопотать о том, чтоб его сыну было предоставлено звание художника, и вызвалась даже помочь ему в этом деле. Старик долго не соглашался на это, сомневаясь в успехе, но молодой Макаров, обрадованный и польщенный предложением матери, принялся приставать к отцу с той же просьбой и после долгих приставаний добился наконец его согласия. В то время он принялся писать картину, изображавшую группу мордовок в их оригинальных национальных костюмах. Помню даже, как из соседнего мордовского селения Шайгува привозили к молодому Макарову мордовок, с которых он и писал свои этюды. Картина эта предназначалась для представления в академию на получение звания художника. Мать писала по этому случаю кому-то в Петербург, но сослужили ли эти письма какую-нибудь службу Макарову,— я не знаю, знаю только, что старания молодого человека не пропали и что он за эту картину получил звание художника. Молодой Макаров проработал у нас все лето до 1 октября, то есть до самого того дня, когда состоялось в Никольском освящение новосооруженного храма во имя Спаса Нерукотворного. Освящение совершал преосвященный Амвросий, бывший в то время пензенским епископом. Преосвященный Амвросий прожил у нас со своей свитой три дня и каждый день совершал в новоосвященном храме всенощные и литургии. Народу нахлынула такая масса, что мне никогда еще не приходилось встречать такого громадного стечения. Пришлые богомольцы помещались вокруг церкви, где и ночевали, кто в разбитых палатках, кто под телегами, а кто и просто под открытым воздухом. Были привезены и всевозможные больные, чаявшие получить исцеление, а в особенности много было так называемых кликуш, которые обыкновенно во время чтения Евангелия или великого выхода принимались неисто-

во кричать и бесноваться. Их считали тогда одержимыми бесами.

По воскресеньям и праздничным дням ко мне и брату Александру Александровичу приходили обыкновенно наши кормилицы. Мою кормилицу звали Марфой, а братнину Еленой. Это были простые крестьянские бабы, всегда приносившие нам гостинцы, состоявшие из нескольких каленых яиц или калинников (ржаные лепешки с запеченной в них калиной). Последнее кушанье мне очень нравилось. И вот, уписывая за обе щеки эти калинники, я слушал, бывало, рассказы кормилицы о кликушах и всевозможных порченых людях. И наслушивался таких страстей, что долгое время не мог ходить без оглядки: мне так и представлялось, что вот-вот сейчас встречу какую-нибудь колдунью, которая и начинит меня дьяволами.

Первым священником в селе Никольском был некто Петр Сергеевич Охотский, только что окончивший семинарию и посвященный во священники в нашей же церкви. Священник этот тоже учил меня русской грамоте и закону божию. Я забыл сказать, что учили меня по-старому, то есть заставляли долбить склады: буки — аз-ба, веди — аз-ва и т. д. Азбука, по которой я учился, была с картинками, и, как теперь, помню: на первой странице было аз — ананас, буки — бык, веди — водовоз, глаголь — гусь, добро — дровосек и т. д. Несмотря на такой анафемский метод, русские люди все-таки выучивались грамоте и умели читать и писать. Священник Охотский был, так сказать, на втором плане, главным же моим учителем был тот суровый господин, о котором я говорил прежде. Но кто из них более успевал в деле моего обучения — я не помню. С Трумхеллером мы занимались обыкновенно по вечерам. Этому немцу как-то посчастливилось, и я в скором времени научился не только читать и писать по-немецки, но даже и говорить. Вероятно, это произошло оттого, что Трумхеллер не умел говорить по-русски, и я волей-неволей принужден был объясняться с ним по-немецки. Трумхеллер, которого мы просто называли Андреас, жил со мной в одной комнате, в которой мы и спали. Помню я то великое огорчение, которое я перенес, когда меня отняли от няньки и перевели в комнату в мезонин к Андреасу. Я заливался слезами и первую ночь положительно не мог заснуть. Я привык к своей дет-

ской, к тому образу в уголке, перед которым на ночь зажигалась обыкновенно лампадка, привык к своей няне, так любовно убаюкивавшей меня в моей постельке, привык даже к той занавеске, которая висела на окне нашей детской, рисунок которой изображал какой-то швейцарский вид с каким-то пешеходом, взбиравшимся на гору... И вдруг — ничего!.. Ни няни, ни швейцарского вида, ни той иконы, ярко освещенной лампадкой. И вместо всего этого один Андреас. Он даже опротивел мне в эту ночь. А когда послышалось его храпение, я готов был спрыгнуть со своей кровати и бежать в детскую к своей няне. И убежал бы, если бы только не боялся разных привидений, о которых мне так много говорили и няня, и кормилица. Возненавидела немца и нянька, которая долгое время не могла даже с ним разговаривать. Нянька не давала прохода даже и матери:

— Что уж это,— ворчала она,— нагнали каких-то колбасников и отдали им барское дитё. Вот как из барского дитё немец-то сделает какого-нибудь сапожника, в те поры и спохватитесь.

Однако барское дитё к колбаснику привыкло быстро, так как колбасник этот был, в сущности, премилый человек. Мы с ним удили рыбу, бегали по лесу, собирая ягоды и грибы, а зимой занимались преусердно ловлей певчих птиц. Новая моя детская была увешана клетками с прыгавшими в них пестрыми щеглами, красивыми снегирями и чижами. Птицы эти заводили такую музыку, что иной раз, бывало, ничего не слышишь, что говорили люди. Мы с Андреасом сами делали для этих птичек клетки, и делали их так изящно, что они превосходили покупные.

Иногда Андреас занимался со мной и русским диктантом и, помнится мне, при этом страшно коверкал слова. Раз он диктовал мне так:

«Тогда Петр Амиенский надел на голова каблук и со скандалом на ногах»... Это значило: «Тогда Петр Амьенский надел на голову клобук и с сандалиями на ногах»... и т. д.

Но диктанты эти продолжались недолго, так как мать, заметив эту ерунду, запретила ему браться не за свое дело.

Вскоре после освящения церкви в Никольском совершилось и перенесение праха моего покойного отца

из села Сивин, где он дотоле покоился, в село Никольское. Помню я то ужасное впечатление, которое произвели на меня раскопка могилы отца и тот момент, когда могильщики докопались до гроба. Помню, я с напряженным любопытством стоял на краю могилы и следил за каждым движением лопаты. И вот вдруг мелькнуло что-то серебряное, что-то блеснувшее в глаза, и вдруг это блеснувшее опять запорошилось землей. Но вот лопата шмыгнула еще раз, выкинула из могилы кучку земли, и блеснувшее снова мелькнуло у меня в глазах. Я притаил дыхание, нагнулся над могилой и увидал, что то был парчовый крест, прибитый к крышке гроба. Дальнейшая церемония совершилась обычным порядком. Гроб был извлечен из могилы, опущен в другой железный, поднят на носилки и понесен народом в Никольское. При этом присутствовала, конечно, и полиция; был исправник, становой и еще какие-то чиновники. Затем, когда гроб был принесен в Никольское, его встретила там новая духовная процессия, во главе которой был архимандрит Краснослободского монастыря, отец Никон. Старичок этот часто бывал у нас, был знаком с покойным отцом моим и потому отлично сохранился в моей памяти.

II

Когда мне минуло десять лет, мать объявила мне:

— Ну, голубчик, будет тебе щеглов-то ловить! Поедем-ка в Пензу, я тебя определю в гимназию.

А на другой день у подъезда нашего дома стояла уже, запряженная четвериком, коляска и толпа дворовых, вышедшая провожать господ.

Мать уселась в коляску, посадила меня с собой, поместился в той же коляске Андрей Карлович, и мы на своих лошадях отправились в Пензу, до которой было верст полтораста. Дело это было в конце июля, и, кажется, в 1844 году.

Тогдашние гимназии и тогдашние порядки гимназические не походили на нынешние, и потому мне придется остановиться на них подольше.

Директором Пензенской гимназии был в то время Михаил Самсонович Рыбушкин, старичок лет шестидесяти, худенький, лысенький и с длинным острым носом. В класс он приходил обыкновенно в форменном виц-

мундире, которые тогда шились не сюртуками, а фраками, и с серебряными очками на конце носа. Когда же он выходил на улицу, то надевал на себя какое-то длиннополое пальто с талией, на манер наполеоновского, и всегда по-наполеоновски же надевал на голову треугольную шляпу. Этот-то самый Рыбушкин и экзаменовал меня.

Экзаменовал он меня в какой-то особой комнате, в которой не было никого, кроме матери и брата Александра Александровича, увешанного игрушечными ружьями и саблями. Какие задавались мне экзаменатором вопросы и удачны ли были мои ответы — я не помню, помню только, что он меня гладил по голове своей костлявой рукой, а я смотрел ему на нос, с конца которого капали результаты нюхательного табаку. Мать моя сидела рядом с ним и о чем-то непрерывно разговаривала. А возле матери стоял брат, потрясая ружьями и саблями.

Экзамен продолжался недолго, а по окончании экзамена директор объявил матери, что принят и чтобы она озаботилась: 1) остричь мне волосы и 2) обмундировать меня. Это последнее распоряжение директора пришлось мне крайне по сердцу, так как, насмотревшись на гимназистов, мне очень хотелось облечься в их форму. Тогда и форма была не та, что теперь. Тогда были и вицмундиры, и мундиры, и куртки. Вицмундиры шились на манер военных или студенческих, с красным стоячим воротником, а мундиры состояли из фрака с остроконечными фалдочками, красным стоячим воротником, серебряными петлицами и такими же красными обшлагами на рукавах с тремя пуговицами. Шинели у нас были тоже на манер военных: с капюшонами и стоячим красным воротником, почему уличные мальчишки и дразнили нас красной говядиной. Тем не менее, однако, я был в восторге, обмундировавшись в это платье, корчил из себя какого-то военного офицера и гордо проходил мимо мальчишек, дразнивших меня красной говядиной. Лавров на фуражках у нас никаких не было, зато были другие лавры, которые по пятницам покупались на базаре и которые просто-напросто назывались березовой кашей, пробовать которую мне, однако, не приходилось, так как дворян не секли, а заменяли это наказание карцером. Учился я, надо думать, хорошо, так как в первом и втором классе был

на золотой доске, но озорник был не последний. Помню, что в первый же день моего поступления в гимназию я чуть не сломал палец одному из моих товарищей. Случилось это так: у нас были доски, устроенные таким образом — две колонки, а на колонках этих вращалась доска на двух железных осях. Товарищ подошел к доске, положил палец на одну из этих осей, а я совершенно машинально повернул доску, и вдруг ужаснейший крик... Дверь с шумом отворилась, в классную комнату вбежал надзиратель Федор Иванович Потатуев и, уцепив меня и того товарища, которому я прищемил палец, за уши, повел на расправу к инспектору Брунону Матвеевичу Ольшевскому. Расправа была недолга: товарищу перевязали палец мокрой тряпкой, а меня отвели в карцер. Карцер состоял из маленькой комнаты с небольшим окном под потолком, а потому в комнате этой царил постоянный полумрак.

Гимназия в то время находилась в сквере рядом с гауптвахтой и губернаторским домом. Это было одноэтажное деревянное строение с двумя подъездами по концам. Один из подъездов назывался учительским, а другой гимназическим. Весь этот дом разделялся коридором на две половины, в которых и помещались классы, а в конце коридора — физический кабинет, учительская комната и небольшая комната с медным бассейном на манер громадного самовара с несколькими кранами, из которого мы и пили воду.

Библиотеки у нас никакой не было, а равно не было и так называемой «уборной», ибо уборная эта, состоявшая из небольшого тесового сарайчика, находилась вне здания гимназии, позади конюшни.

Учительский персонал при мне был следующий: батюшка Кузьма Романович преподавал закон божий, господин Дьяконов — историю, Покровский — латинский язык, математику — Василий Михайлович Безобразов, географию — некто господин Макке. Василий Арефьевич Покровский был старик лет пятидесяти, с бакенбардами на манер запятой и седыми же шершавыми волосами на голове. Учителем живописи был Петр Герасимович Жидков, толстый кудрявый мужчина с шишкой на лбу. Помню я, что мы особенно не любили Дьяконова за то, что он имел привычку щелкать нас по лбу, и так свирепо, что у нас у всех во время класса истории были лбы с красными пятнами на манер

кокарды. Василия Арефьевича Покровского мы все очень любили, вероятно, потому, что он был чудак большой руки, а еще и потому, что мы у него ничего не делали.

Василий Арефьевич был из духовного звания и почти постоянно находился в нетрезвом виде. Бывало, придет в класс и крикнет, нахмурившись: «Читайте молитву!» Всеобщее молчание. «Молитву читайте!» — крикнет, бывало, Василий Арефьевич, топнув ногой, и опять молчание. «Мельгунов, читай молитву!» Мельгунов встает и объявляет, что он молитву читать не может, так как охрип.. Василий Арефьевич начнет тыкать пальцем то на одного, то на другого ученика с приказанием читать молитву, но все опять-таки отказываются: один говорит, что осип, другой кашляет, и Василий Арефьевич начинает выходить из себя.

— Читай хоть ты, скотина! — кричит он, ткнув пальцем на Ситникова.

Встает Ситников, вежливо раскланивается и объявляет, что он, пожалуй, прочтет, но не иначе как басом.

— Хоть с квасом, а читай! — кричит опять Василий Арефьевич и замахивается на Ситникова журналом.

Ситников встает, подходит к образу и читает басом все молитвы, какие только знает. Это опять выводит из терпения Василия Арефьевича.

— Будет, довольно! Что ты, всенощную, что ли, служить затеял? Довольно!

Наконец молитва кончена, и все уселись по местам. Вдруг на задней парте раздается чей-то крик.

— Кто это кричит? — восклицает Василий Арефьевич и, вскочив на ноги, оглядывает весь класс молниеносным взглядом.

— Это Мельгунов, Василий Арефьевич, — отвечает кто-нибудь.

— Где он?

— Он еще не пришел, Василий Арефьевич.

— А, не пришел!.. Так сказать, когда придет.

— Слушаем, Василий Арефьевич!

Наконец Василий Арефьевич усаживается за кафедру и, развернув журнал, тянется за пером. Но оказывается, что и чернильница, и перо были поставлены ему совсем особенного свойства, а именно: чернильница крошечная-раскрошечная, а перо в ней громадное орлиное. (Тогда еще стальных перьев не было и мы

писали гусиными, а об остальных не имели понятия.) При виде этой чернильницы и этого пера Василий Арефьевич снова вспыхивал гневом, а весь класс начинал хохотать. Наконец все утихало, и класс начинается.

Василий Арефьевич вызывает какого-нибудь ученика. Выходит ученик, развертывает книгу и громко провозглашает: asinus et bos [8].

— Как asinus et bos? — кричит Василий Арефьевич.— Это в прошлый раз было, а к нынешнему уроку я приказал вам перевести следующую басню: brebis et pastor [9].

— Нет, Василий Арефьевич, вы забыли. Вы ошибаетесь. Точно,— продолжает ученик, подходя к Василию Арефьевичу и прикладывая руку к сердцу,— вы хотели было задать нам brebis et pastor, а потом махнули рукой: нет, говорите, не надо. Переводите старое.

Вдруг классная дверь растворяется и входит Мельгунов. Он вежливо расшаркивается перед Василием Арефьевичем, справляется о его здоровье, хорошо ли он почивал, и потом начинает рассказывать, каких прекрасных куриц привезла его мать из деревни.

— Пестренькие,— говорит он,— с голубиными хохолками и совершенно белыми хвостиками.

Василий Арефьевич был большой охотник до кур, а потому и пускается в разговор с Мельгуновым. Но в это время ему кто-то напоминает, что Мельгунов пришел, и лицо Василия Арефьевича мгновенно свирепеет, а глаза загораются гневом.

— На колени! — кричит он, указывая Мельгунову место, где он должен встать на колени.

— За что же, Василий Арефьевич? Помилуйте!..

— А за то, что ты кричал.

— Когда?

— На колени... без разговоров!

— Помилуйте,— возражает Мельгунов,— я только сейчас пришел.

— Без разговоров на колени!

Мельгунов становится на колени, а когда гнев Василия Арефьевича остыл, подползает к Василию Арефьевичу и начинает упрашивать его спросить сегодня, так как он приготовил урок как никогда.

— Пожалуйста, спросите меня! — пристает он.— Честное слово благородного человека, никогда так не го-

товил. Всю ночь зубрил... Думаю себе: сделаю удовольствие Василию Арефьевичу.

Василий Арефьевич улыбается и заставляет Мельгунова переводить басню. Но Мельгунов, даже и не думавший готовить урок, конечно, переводит басню скверно, почему и получает единицу.

Между Василием Арефьевичем и Мельгуновым начинается спор, продолжающийся несколько минут и кончающийся тем, что Василий Арефьевич так-таки и награждает Мельгунова единицей.

— Хорошо,— говорит Мельгунов,— коли так, так нет же вам ни одной курицы! А я-то сдуру хотел вам самых лучших подарить, а теперь нет вам ничего!

Однако к концу класса недоразумение, происшедшее между Василием Арефьевичем и Мельгуновым, принимает несколько иной вид. Мельгунов обещает ему подарить кур, а Василий Арефьевич — изменить поставленную единицу. А в следующий класс Мельгунов торжественно объявляет Василию Арефьевичу, что он отнес ему три самых лучших курицы, которых и передал его кухарке.

— Три, говоришь ты? — спрашивает Василий Арефьевич.

— Три, Василий Арефьевич, но вы посмотрите какие!

— Посмотрите, посмотрите...— говорит Василий Арефьевич и переправляет единицу на три.

— Это что такое? — возмущается Мельгунов.— Да разве три надо ставить? На плохой конец четыре...

— А ты сколько кур принес? — подсмеивается Василий Арефьевич.

— Три,— отвечает Мельгунов.

— Ну, значит, и я три.

Но не подумайте, чтобы Василий Арефьевич был взяточник,— нет, это просто был чудак, да еще чудак нетрезвый, и если я рассказал только что эту сценку, в действительности бывшую, то единственно с той целью, чтоб обрисовать тип этого курьезного учителя. И боже мой, чего только не творили с этим Василием Арефьевичем!

Раз как-то во время класса кто-то из учеников заиграл на маленькой игрушечной скрипке... Василий Арефьевич разгневался, вырвал у ученика скрипку, засунул ее в задний карман и побежал жаловаться ди-

ректору. Но пока он бежал коридором, ученики столпились вокруг него и успели заменить скрипку редькой. Предоставляю судить об изумлении Василия Арефьевича, когда он, изложив директору суть своей жалобы, выкинул на пол, в виде вещественного доказательства, не скрипку, а редьку.

Я бы мог рассказать десятки подобных проделок но, думаю, что достаточно и этих двух случаев для характеристики этого злосчастного учителя. Да, это был чудак великой руки, но зато никто не помянет его дурным словом. Он был вспыльчив, но не зол и не мстителен. Он умер давным-давно, когда я был еще в гимназии. И помню, когда его, мертвого, стали одевать в мундир, то из карманов этого мундира была вынута целая масса стихотворений на его счет. Это были стихотворения юмористического содержания, в которых и описывались курьезные случаи, бывшие с Василием Арефьевичем. Он был человек холостой, и после него никакой семьи не осталось.

Большинство наших учителей, за исключением немногих, были люди воспитанные, постоянно вращавшиеся в обществе и крайне деликатные.

Особенной любовью и уважением пользовался у нас учитель русской словесности Егор Карлович Р — ь. Это был молодой человек лет тридцати, с лицом до крайности симпатичным и несколько женоподобным. Он был очень религиозный, не пропускавший ни одного воскресного и праздничного дня, чтобы не побывать в церкви. Придя в церковь, он обыкновенно становился куда-нибудь в угол и там со слезами на глазах начинал молиться. Помимо обычных уроков Егор Карлович читал нам произведения лучших писателей. Он первый познакомил нас с произведениями Тургенева, в то время еще только начинавшего писать. Я отлично помню, как рассказ Тургенева «Хорь и Калиныч» был напечатан в «Современнике» не на первом месте, в начале книги, а где-то в смеси на конце.

Сверх того. Егор Карлович познакомил нас с произведениями Загоскина [10], Евгении Тур [11] и в то же время строго-настрого запретил читать Марлинского [12]. Откровенно сознаюсь, что он первый внушил нам любовь к русской литературе и научил отличать хорошее от дурного.

Марлинский был в то время в большой моде, и все

читали его с увлечением, но когда Егор Карлович, превосходно читавший, указал нам на произведения молодого Тургенева, объяснил его красоты, то мы как-то невольно сами собой отстали от Марлинского. Нравились мне также произведения Загоскина и Евгении Тур. Помнится мне, что тогда только что вышел ее роман «Три поры жизни», и роман этот так понравился мне, что я им буквально зачитывался. О Егоре Карловиче у меня сохранились самые теплые и светлые воспоминания. Он любил нас, а мы любили его. Я не знаю, жив ли он теперь, но ежели жив, то посылаю ему самую теплую благодарность за его развитие в нас любви к русской литературе. Даже и теперь, на склоне лет, я не забыл его и сохранил в своей душе его симпатичный образ. Любили мы также и учителя математики Василия Михайловича Безобразова, хотя и не чувствовали особенной любви к тому предмету, который он преподавал. Наш класс, помнится мне, не отличался математическими способностями, но тем не менее мы все-таки учились, стараясь изо всех сил сделать Василию Михайловичу удовольствие и тем самым поддержать, так сказать, его реноме.

Мы учились как бы для него, а не для себя.

Другой учитель математики, преподававший геометрию и тригонометрию, был Николай Васильевич Птенцов. Мы его любили за его веселый нрав и ласковое обращение с нами. Называл он нас не по фамилиям, а уменьшительными собственными именами, так, например, Григория — Гришей, а меня, Илью,— Иленькой.

Это был молодой человек лет тридцати пяти, довольно красивый, щеголеватый и большой мечтатель. Ходит, бывало, из угла в угол по классу и о чем-то сам с собой разговаривает, то улыбается, то хмурится, то пожимает плечами и разводит руками. Он, бывало, мечтает, а вызванный им к доске ученик рисует на доске, вместо заданной задачи, какие-нибудь фигуры.

— Ну что, скоро, Вася? — спросит, бывало, Птенцов, даже не оборачиваясь на доску.

— Кончил, Николай Васильевич!

— Прекрасно, Вася! Садитесь.

Вася торопливо стирал с доски нарисованную им фигуру, а Николай Васильевич торопится к кафедре и торопливо же ставил Васе балл.

Второпях он иногда ставил балл не тому ученику,

которого спрашивал, а кому-нибудь другому,— словом, ошибался клеточкой, что ему и замечали те ученики, которые сидели возле кафедры.

— Ну, Иленька, теперь вы к доске.

Я выходил к доске, а Николай Васильевич, задав мне задачу, снова принимался за прерванные мечтания, а я повторял то же самое, что проделывал мой предшественник, то есть рисовал на доске какие-нибудь фигурки. Я считался у Николая Васильевича первым учеником. Учился я действительно недурно, но далеко отставал от первых. По математике на меня как-то находило. Найдет, бывало, какая-то счастливая минута, и разрешишь, как нельзя лучше, наитруднейшую задачу, а не найдет — так не сладишь и с самой простейшей.

Помню я, как приехал к нам однажды помощник попечителя Казанского учебного округа (Пензенская гимназия принадлежала к Казанскому округу), некто господин Антропов. Вошел он к нам в класс как раз в то время, когда с нами занимался Николай Васильевич. Желая перед ним похвастаться своими учениками, он вызвал меня и... о ужас! — я срезался, как последний ученик, и не мог не только решить задачу, но даже начать ее.

— Что с вами, Иленька! — говорил мне после Николай Васильевич,— вы, на которого возлагались все мои упования, и вдруг...

— Виноват, оробел, Николай Васильевич.

Николай Васильевич был великий танцор и каждое воскресенье отправлялся в Дворянское собрание, где по воскресеньям бывали танцы, и проводил там всю ночь.

В собрания эти по недостатку кавалеров водили и нас, учеников старших классов. Заставляли, конечно, надевать мундиры, и мы должны были танцевать под наблюдением надзирателя Федора Ивановича Потатуева. Танцевать я тоже был великий охотник, а потому даже покупал у тех из своих товарищей, которые танцевать не любили, очередные наряды, так как в собрания нас водили по очереди и по нарядам. Я всегда с удовольствием посещал эти собрания, хотя, откровенно сказать, мы терпели там незавидную участь. Дело в том, что всех хорошеньких барышень разбирали кавалеры общества, а нам оставались одни бракованные.

— Ты что же вон энту барышню не берешь? — говорит, бывало, Потатуев, подбежав к кому-нибудь из нас.— Не видишь нечто, что с ней никто танцевать не хочет? Ступай танцуй!

И вот, бывало, танцуешь с этой некрасивой барышней и с завистью посматриваешь на Николая Васильевича, летающего мимо с прехорошенькой блондинкой. А на другой день, придя в класс, Николай Васильевич начинал подтрунивать и подсмеиваться над нами, перенесшими вчера столь тяжелые испытания.

Помню я и другой казусный случай, происшедший при том же Антропове, когда посетил он наш физический кабинет. Как раз в то время, когда вошел Антропов, учитель физики, Василий Михайлович Безобразов, вызвал Ситникова и заставил его объяснить, что такое лейденская банка[13].

Ситников был малый рослый, лет 25—26, бривший бороду и усы и страшно картавивший. И вот, едва Антропов отворил дверь, как Ситников принялся густым басом объяснять лейденскую банку.

— Лейденская банотька,— говорил он,— есть такая склянотька, на которой есть клишечка, на клишечке шишечка, а на шишечке тяпочка висит.

Дружный хохот огласил весь физический кабинет, так что расхохотался и сам Антропов.

В мое время классные занятия были распределены следующим образом: от девяти часов утра до полудня, затем с трех до шести часов. Время от двенадцати до трех назначалось для обеда и для отдыха. Исправные ученики отпускались в двенадцать часов по домам, а неисправные или в чем-либо провинившиеся оставлялись в гимназии без обеда. Они или запирались в который-нибудь из классов, или в карцер, ежели провинились в чем-либо серьезном.

В зимнее время приходилось заниматься при огне, а так как в то время керосина еще не было, то классы освещались масляными лампами, издававшими копоть и плохо горевшими. В это-то время происходили у нас следующие шалости: разжевывали, бывало, бумагу и, размягчив ее в виде теста, сшибали ею стекла с ламп. Зимой приходилось возвращаться домой в потемках, и за нами обыкновенно присылали лошадей.

Однажды у нас захворал кучер, а на дворе была метель, и необходимо было прислать за мной лошадь.

Мать, долго не думая, посадила на козлы свою горничную Анисью, краснощекую и толстую девку, нарядив ее в кучерской кафтан и шапку. Этот замаскированный кучер не ускользнул, однако, от зорких и наблюдательных глаз гимназистов. Все обступили нашу лошадь, и десятки молодых голосов принялись кричать: «Анисья, Анисья!» Результатом всего этого было то, что товарищи прозвали меня Анисьей, чем, конечно, и выводили меня из себя. Точно так же и экзамены наши происходили не весной, как теперь, а в августе месяце. Это имеет свою и дурную, и хорошую сторону. Дурно было потому, что в ожидании экзамена гимназист все-таки находился в тревожном состоянии, а хорошо потому, что неисправному ученику была возможность приготовиться и повторить то, чего он не знал. Экзамены эти тоже отличались и простотой, и наивностью. Билетики мы нарезали сами, и потому они почти все имели свои приметы. На одном билетике, например, штемпель фабрики, на другом какое-нибудь незаметное пятнышно, а на некоторые наклеивались волосочки и т. п. Вызывали нас к экзаменаторскому столу по алфавиту, и выходили мы с программами в руках. Вынешь, бывало, билет и в ожидании очереди отойдешь от стола к сторонке. Ежели билет попадался знакомый, то на него и отвечали, а ежели незнакомый, то мы настолько располагали временем, что могли обмениваться билетом. Вскоре после экзамена происходили торжественные акты. Во время этих актов приглашались архиерейские певчие, а иногда даже и оркестр музыки, принадлежавший тогдашнему пензенскому губернатору Александру Алексеевичу Панчулидзеву. На актах этих сперва, конечно, прочитывался отчет гимназии за истекший год, а затем начинали раздаваться награды отличившимся ученикам, которые раздавались обыкновенно или губернатором, или архиереем. После наград мы начинали читать разные речи и стихотворения. Так как я хорошо владел немецким языком, то мне на этом языке и приходилось читать речи. Обыкновенно они начинались так: Geehrteste Anwesenden и т. д. В произнесении этих речей мы упражнялись заранее, сопровождая их известными жестами и подходящей мимикой. Тут же, в этом же актовом зале, стоял стол, покрытый красным сукном, на котором и были разложены в живописном беспорядке учениче-

ские классные работы. Я никогда не умел рисовать, и каково же было мое изумление, когда однажды на этом столе я увидал голову Спасителя, нарисованную тушью, а внизу подпись: «Рисовал ученик 4 класса И. Салов». Оказывается, голову эту рисовал сам учитель Жидков, за что мать была ему очень признательна и от умиления даже расплакалась.

— Посмотрите,— говорила она,— как мой Илюша рисует-то! — И картина эта пошла по рукам публики, а я едва поспевал на все стороны раскланиваться.

Когда я был в младших классах, жили мы на Верхней Пешей[14] улице в доме учителя музыки Кабаневского, рядом с большим домом Лысова. Дом этот, стоявший посреди огромного двора, скорее походил на деревенскую усадьбу. По бокам этого дома возвышались службы, а позади дома парк. Вот в этом-то парке я с своим товарищем, соседом по квартире, неким Чупахиным, и занимался ловлей птичек. Ловили мы их силками, западками и сетью, почему даже очень часто не ходили в гимназию. Парк этот, состоявший из больших липовых деревьев и наполнявшийся весной соловьями, производил на меня грандиозное впечатление. Зайду, бывало, в этот парк, усядусь на какой-нибудь полусгнивший пень и, прислушиваясь к опьяняющим трелям соловья, забуду про все и про всех.

Научных экскурсий или прогулок в наше время не существовало, зато мы сами в праздничные и воскресные дни сговаривались между собой и делали свои экскурсии за так называемую монастырскую рощу, за которой широко расстилались монастырские луга с извивавшейся по ним рекой Сурой. Это была очень живописная местность.

Мы брали с собой закуску: самовар, чай, сахар, удочки, бредни — и целый день с утра до ночи резвились там, как нам хотелось. Некоторые играли, а некоторые ловили удочками или бреднями рыбу в Суре. К обеду у нас пылал где-нибудь котелок, и мы варили уху, но такую уху, какую не всегда приходилось есть. Сурские стерляди и поныне отличаются своим вкусом. И вот из этих-то стерлядей мы варили уху следующим образом: из мелких стерлядок варили бульон, затем выкидывали их, а в бульон клали новых стерлядей, более крупных. Раков ловилась там масса, а потому раки эти во время нашего обеда, который происходил

тут же, вокруг котла, лежали целыми грудами. А после обеда опять игры, хоровое пение, купание, и мы веселились, как может только веселиться цветущая и свежая юность. А что всего было восхитительней — это то, что полнейшая свобода и отсутствие каких бы то ни было надзирателей, гувернеров и вообще гимназического начальства. Иногда присоединялись к нашей веселой толпе и семинаристы.

И вот какой был однажды со мной случай. Я и один из бурсаков, некто Гавриил Разумовский, купались в Суре. Заметив, что Разумовский, сорвавшись с обрыва, начал тонуть, я протянул ему руку, но на ногах не удержался и вместе с ним попал в омут. Подтянув меня к себе, Разумовский сел на меня верхом и так прижал мне руки, что я не мог двинуться. Сидевшие на берегу думали, что мы шалим, и, глядя на нас, подтрунивали. Я помню, что, опустившись на дно, я пополз по нему, но что было дальше — не помню. Опомнился я только тогда, когда очутился на песчаном и отлогом берегу Суры, по которому с испуга долгое время продолжал ползти и везти на себе Гавриила Разумовского. С той поры и до самой старости я всегда был крайне осторожен, когда приходилось купаться в открытой и незнакомой реке. Не знаю, цела ли та монастырская поляна, так как теперь мимо самого монастыря пролегает железная дорога, строящаяся со Ртищева на Пензу.

Помнится мне, что одно время гимназию нашу, кажется, по случаю ремонта, перевели временно в помещение уездного училища. Дом уездного училища был как раз напротив духовной семинарии и против той улицы, которая спускалась к реке Пензе и упиралась в так называемый Казанский мост. И гимназистов, и семинаристов распускали в один и тот же час, и тогда между нами непременно завязывалась драка, кончавшаяся обыкновенно тем, что семинаристы, отличавшиеся и ростом, и дородством, одерживали над нами верх и буквально загоняли нас в мелководную реку Пензу, из которой все, перепачканные грязью, и выходили только тогда, когда семинаристы с хохотом расходились по домам. Драки эти повторялись почти ежедневно.

Во время моего пребывания в гимназии одним из моих любимейших развлечений было посещение театра. Пенза отличалась тогда преобладанием дворянского

элемента, среди коего было много любителей драматического искусства, одного из которых могу назвать, например Ивана Николаевича Горсткина, до того любившего драматическое искусство, что в его доме был устроен театр, который, кажется, до сих пор еще существует.

В Пензе в мое время содержал труппу некто Залесский, вся семья которого играла на сцене.

Пензенский театр не отличался особой изящностью, но все-таки имел, помнится мне, три яруса лож, галерею и довольно поместительный партер. Вся беда была в том, что он освещался так же, как и гимназия, масляными лампами. На потолке, конечно, висела люстра и, конечно, зрителям галерей препятствовала смотреть на сцену. Был при театре и буфет с громадными графинами водки и кое-какими закусками. Папиросы тогда еще не были в ходу, а курили трубки и табак Василия Андреевича Жукова, а потому в буфете было устроено несколько горок для чубуков и трубок, которыми посетители и могли пользоваться за известную плату. Люди небрезгливые курили прямо из чубуков, не рассуждая о том, у кого во рту был предварительно этот чубук, но брезгливые требовали непременно, чтобы в чубук было воткнуто гусиное перышко, каковых и заготовлялось великое множество. Нечего говорить, что когда публика закурит эти трубки, то в буфет не было возможности войти, а ежели к этим дымным облакам мы прибавим еще копоть от ламп и запах водки, то можно судить, на что был похож этот буфет. Пива тогда еще не пили, о лимонадах и шипучих водах никто не имел понятия, но зато меды варились такие, каких теперь не встретите. И вот тогдашняя публика, вместо прохладительных напитков, упивалась этими медами. В театре играла музыка губернатора Панчулидзева, и спектакли ранее его появления начинаться не могли. Я отлично это помню. Бывало, оркестр играет, назначенный для спектакля час проходил, а занавес все-таки не поднимается. Выражать свое нетерпение тогдашняя публика не смела, да никому и в голову не приходило, а все сидели и молча ожидали появления его превосходительства. Но вот в партере появился полицеймейстер Клушин и объявляет: «Губернатор едет», а вслед за этим в партере показывается и сам Панчулидзев. Это был старик среднего роста, гладко остри-

женный и гладко выбритый. Взгляд у него был строгий, быстрый, нос орлиный, вообще тип лица не русского происхождения, но тем не менее старик производил впечатление крайне симпатичное. Одевался он всегда щеголевато и в театр являлся не иначе как во фраке и с двумя звездами. «Губернатор, губернатор»,— раздавалось в партере шепотом, а он быстро направлялся к первому ряду, раскланивался во все стороны, а достигнув своего места, опускался в кресло. И вот именно в этот-то момент занавес взвивался и начинался спектакль. Мне, мальчишке, все это даже очень нравилось, и я находил это совершенно приличным и необходимым. Мне нравилась и осанка губернаторская, и его молниеносный взгляд, и даже следовавшая за губернатором фигура полицеймейстера.

Точно такие торжественные входы совершал Панчулидзев и в собор, с той только разницей, что в соборе губернаторского появления не ожидали, а начинали литургию в свое время.

Труппа Залесского приезжала в Пензу лишь на летний сезон, так как зимой играла, кажется, в Саратове. Залесский и некоторые артисты и артистки в большинстве случаев снимали себе квартиры на Верхней Пешей улице, во флигеле при доме генерала Юшкова. Это был домик о пяти окнах с мезонином и был наискось от нашей квартиры, так что, отправляясь в гимназию, мне каждый раз приходилось проходить мимо этого домика. Дело прошлое... по некоторым артисткам я вздыхал, а потому и судите о том волнении, которое я испытывал, проходя мимо этого домика, особливо когда у растворенных окон сидели артистки с работой в руках и посматривали на проходящих. На досуге ли тут было думать об алгебре да геометрии?

Охотник был до театров и Николай Васильевич Птенцов. Заведешь, бывало, с ним речь о вчерашнем спектакле, и на душе снова сделается легче. Я помню в труппе Залесского комика Михайлова, у которого, кажется, было две дочери: одна была водевильная актриса, а другая — танцовщица, танцевавшая в дивертисментах. Пьесы давались в то время трагические, например: «Уголино», «Цампа, или Дочь разбойника», «Эсмеральда», «Тридцать лет, или Жизнь игрока» и т. п.

Помню я, был у Залесского трагик Караулов, так

тот, бывало, такого нагонит страху, что всю ночь не заснешь. Помню даже, как этот Караулов в пьесе «Уголино», когда он был заточен в тюрьму, пишет что-то на стене углем, а потом вдруг, с ужасом отскочив от написанного, бросает в надпись углем и разражается громовым хохотом. Хохот этот всегда производил потрясающий эффект. Зал оглашался рукоплесканием, а я, вскочив с места, орал: «Караулова, Караулова!» Зато когда, бывало, после этого «Уголино» начинался какой-нибудь водевиль и на сцену выходил Михайлов, у меня словно гора сваливалась с плеч и я буквально отдыхал от ужасов предыдущей пьесы. Помню я, когда Милославский был в Пензе освистан в пьесе «Тридцать лет, или Жизнь игрока», то я, чуть не молившийся на Милославского, до того расплакался, что вынужден был бежать из зала. Меня поразили те козни, жертвою которых сделался этот талантливый артист, именно славившийся исполнением этой пьесы. Любил я и Берга, который был тогда еще женат на первой жене, вскоре умершей. В «Эсмеральде» он играл синдика, а жена — заглавную роль. Помню я то ужасно трогательное впечатление, которое производила на меня сцена с башмачком. Нравился мне в этой пьесе и Караулов в роли Квазимодо. Тогда он мне казался таким добрым и ласковым уродом, что я готов был броситься на сцену, чтобы обнять и расцеловать его.

На Петров день в Пензе открывалась так называемая Петропавловская ярмарка. На ярмарке этой строился огромный тесовый балаган, в котором и давались театральные представления. Это было каникулярное время, и ежели нам случалось почему-либо оставаться в Пензе, то я целые дни проводил в этом театре. По знакомству с Бергом и его женой мне разрешалось присутствовать при репетициях, ходить за кулисы, на сцену, и вообще я там был своим человеком. Вот однажды Залесский подходит ко мне:

— Послушайте, мамочка,— говорит он мне (у него была привычка говорить «мамочка»),— сегодня идет у нас «Русалка», а у меня русалок-то не хватает, не поплаваете ли вы у меня сегодня?

Признаться, я этого не ожидал.

— Как, где плавать? — спрашиваю я.

— Да вы, мамулечка, не бойтесь: плавать не придется, а вы пройдите только раза два-три промеж во-

дяных декораций, помахивайте вот этак головой (он показал, как надо помахивать), а руками махайте, как будто плывете.

И, схватив меня за руку, он побежал к водяным кулисам и показал, что именно я должен был проделать. Мне было тогда лет 12—13, и я тотчас же согласился быть русалкой. В этот же день вечером на меня надели какую-то рубашку, обнажили шею и плечи, и я в компании с другими русалками плавал взад и вперед по реке и был очень доволен. Зато мать, когда узнала о моем поступлении в число русалок, преисправно наказала меня, и с тех пор уже я никогда русалкой не был.

На Петровскую ярмарку приезжал обыкновенно и цирк, который в то время назывался не цирком, а труппой волтижеров. Труппа эта возвещала обыкновенно гражданам о своем прибытии не афишами, а просто разъезжала по улицам в своих блестящих костюмах, оглашая воздух трубными звуками. Когда совершалось это шествие, то труппу сопровождала целая толпа зевак и уличных мальчишек, а окна домов быстро распахивались и из них высовывались головы обывателей. Волтижеры эти немало портили дела драматической труппы, и актеры, бывало, не без злобы относились к представлениям этой труппы. Представления эти были самые примитивные: по канатам, например, ходили с длинными шестами, которые служили балансом, а когда волтижер терял равновесие, то просто-напросто упирался этим шестом в землю, причем лицо его искажалось от страха упасть с каната. Клоунов в то время не было, а были либо простые паяцы, либо кто-нибудь из труппы выводил танцевавшую собачку либо обезьянку.

Я хотя и посещал эти представления, но особенного влечения к ним не чувствовал. Бывал я на них только тогда, когда почему-либо в театре не было спектаклей.

— А вы никак, мамулечка, вчерась у волтижеров были?

— Был, — каялся я, — да ведь и вы, кажется, были? — прибавлял я.

— Ах, мамулечка, да ведь я делаю это из вежливости, — и они у нас бывают, так надо же визит отдать, а вы-то с какой стати? Ай-ай-ай!

Зато когда кончалась ярмарка и когда труппа За-

лесского куда-то уезжала, я чувствовал себя положительно как бы осиротевшим. Серенький домик Юшкова пустел, ставни его окон запирались, и, когда я проходил мимо него, у меня невольно вырывался тяжелый вздох из груди.

Лет десять тому назад в Саратове я был в театре и во время какого-то антракта зашел в буфет. Вдруг подходит ко мне какой-то дряхлый старичок, согбенный, и, потирая руками, ласково проговорил:

— А вы не узнаете меня, Илья Александрович?

— Виноват,— говорю,— не узнаю.

— Я — Залесский.

Я прямо в восторг пришел, увидав его живым, обнял старика, расцеловал его, и в ту же минуту передо мной словно снова воскресла моя юность и то счастливое время, когда я был русалкой.

III

Из всех пензенских знакомых моей матери более всего сохранились в моей памяти бывший в то время вице-губернатором Иван Васильевич Олферьев, Елизавета Филипповна Вигель (родная сестра Филиппа Филипповича Вигеля[15], когда-то печатавшего в «Русском вестнике» свои интересные заметки) и Людмила Григорьевна Захарьина[16], мать нынешней медицинской знаменитости. Я уже сказал прежде, что первая жена моего отца была сестра Ивана Васильевича Олферьева. Мы считались с последним как бы в родне и были приняты в его доме как бы членами его семьи. Это был старик лет пятидесяти, крайне добродушный и честнейший. Недвижимого имения он, за исключением небольшого дома в Пензе на Верхней Пешей улице, в котором и жил,— не имел и существовал лишь тем жалованьем, которое получал и которое в то время было, кажется, не особенно значительное. Тем не менее, однако, в доме его постоянно останавливались все его родные и хорошие знакомые. Он имел пару лошадей и в хорошую погоду ездил обыкновенно в пролетке, а в дурную — в двухместной карете на стоячих рессорах. Как теперь, смотрю на него, едущего в своей карете в губернское правление с каким-то орденом на шее и в серой шинели с бархатным воротником. Все уважали его в Пензе за его честность и прямоту. Родной брат

его, Павел Васильевич Олферьев (генерал-лейтенант), когда-то командовал корпусом и был в большой силе.

У него было свое имение в Пензе, и он кое-когда приезжал в Пензу. Ивану Васильевичу очень часто приходилось исправлять должность губернатора, что мне всегда очень нравилось, так как в это время у подъезда его дома всегда стоял верховой жандарм. Форма тогдашних жандармов не походила на теперешнюю. Тогда у них мундиры шились фраками, на плечах были густые эполеты, на голове каска с причудливо выгнутыми волосяными плюмажами, на груди мотались аксельбанты, а усы были всегда до того густо нафабрены, что имели вид стальных, и белые перчатки с такими же белыми крагами. Другой такой же жандарм торчал обыкновенно в его передней. Придешь, бывало, к Ивану Васильевичу и не налюбуешься на этих жандармов.

Зато в самом Иване Васильевиче не было ничего воинственного. Одевался он по-стариковски, нюхал табак из золотой табакерки и ласково улыбался, разговаривая со мной. Он очень любил покушать и кушал хотя и тяжело, но вкусно; в особенности он любил гречневую кашу, которую всегда обильно пропитывал сливочным маслом, прихлопывал ложкой, так что каша принимала вид лепешки, и потом аккуратно брал ее ложкой, приглаживая края каши. За столом у него всегда была бутылка хересу, которого он и выпивал за обедом рюмки две.

Мне никогда не случалось видеть, чтоб он был один: всегда у него кто-нибудь гостил, даже случались такие гости, которые приезжали к нему целыми семьями и жили подолгу. И всегда Иван Васильевич был рад гостям.

Очень любил я, когда к Ивану Васильевичу приходил с докладом какой-нибудь чиновник. Иван Васильевич усаживался, бывало, за свой письменный стол, а я забивался куда-нибудь в угол и следил за выражениями лиц как Ивана Васильевича, так и чиновника. Чиновник доложит, бывало, бумагу и, доложив, передаст ее для подписи. Помню, раз, когда чиновник подсунул бумагу Ивану Васильевичу, тот вдруг освирепел и, швырнув бумагу на пол, ударил кулаком по столу.

— Я уже сказал, что не подпишу этой бумаги!

Лицо чиновника приняло какое-то умильное выра-

жение, и, почтительно пригнувшись к уху, он что-то прошептал.

Иван Васильевич рассвирепел еще пуще.

— А хотя бы и сам черт желал, и тогда не подпишу! Пусть подписывают другие...— И бумага опять полетела на пол.

— Так и прикажете доложить? — спросил чиновник.

— Так и доложите... Не подпишу.

Так и не подписал. А между тем, как я узнал впоследствии, бумага эта очень интересовала некоторых высокопоставленных лиц.

Елизавета Филипповна Вигель была древняя-раздревняя старушка, согбенная, худая, и ходила не иначе как с костылем, постукивая им по полу. Ездила она в карете цугом, непременно с двумя лакеями на запятках, одетыми в ливреи и треугольные шляпы.

После, много лет спустя, когда я был в Москве на первом представлении драмы Островского «Гроза»[17] и когда вышла на сцену старуха с двумя лакеями, то я даже вздрогнул, подумав, что это явилась Елизавета Филипповна Вигель.

Она была крайне набожная и богомольная старуха, чуть не каждый день ездила к обедне и, приехав в церковь, первым делом начинала прикладываться к иконам, а иконам, которых не могла достать, посылала воздушные поцелуи. У нее были любимые иконы, которые она особенно чтила и к которым прикладывалась не только губами, но даже и лбом. В числе этих-то любимых икон была икона Николая чудотворца с выпуклыми сапожками. Однажды как-то Елизавета Филипповна пожелала видеть эту икону у себя в доме, о каковом желании и сообщила местному священнику.

— Только смотри, отец, того самого угодника, про которого я тебе говорила.

Священник обещал, но, когда пришло время нести икону к Елизавете Филипповне, даже забыл про свое обещание. Он вспомнил о нем только на полдороге. «Ну, да сойдет,— подумал он,— сослепу-то и не разберет даже». И вот икона была принесена в дом к Елизавете Филипповне, которая по старости лет плохо видела, но когда Елизавета Филипповна приложилась к образу и ощутила, что сапожки у Николая угодника были невыпуклы, то вышла из себя и даже хотела отправить икону назад, да уговорил кое-как священник.

Захарьины были, собственно, саратовские мелкопоместные помещики, и нынешняя знаменитость обучалась, сколько мне помнится, в Саратовской гимназии, но его мать Людмила Григорьевна почему-то очень часто приезжала в Пензу, подолгу гостила там и всегда ходила к моей матери, так как была с ней очень дружна.

Людмила Григорьевна была иудейского вероисповедания, но приняла православие. Ее очень тревожило непонимание некоторых религиозных вопросов, и тревожило до такой степени, что она вчастую расплакивалась... И вот в такие-то именно моменты она всегда обращалась с просьбой к матери съездить с ней к преосвященному Амвросию, тому самому, который у нас освящал в Никольском церковь и которого мать моя искренно чтила. И вот я помню, что Людмилу Григорьевну очень беспокоил следующий текст Св. Писания: «Блаженни убивающие свои младенцы о камни». Помнится мне, что и я присутствовал у преосвященного, когда он объяснял ей это место таким образом, что под словом «младенец» следовало разуметь зародыши страстей наших. Я в это время, будучи в гимназии, зубрил катехизис и, услыхав такое объяснение преосвященного Амвросия, вспомнил следующий вопрос катехизиса: «Как сие нужно понимать?» — и ответ на этот вопрос: сие надо понимать духовно... И мне так сделалось смешно, что, вероятно, я рассмеялся бы, если б не ел в это время моченое яблоко, до которых Амвросий был большой охотник и которыми угощал своих гостей.

Людмила Григорьевна была женщина маленького роста, худенькая, согбенная и с больными глазами, из которых постоянно точились слезы, а так как она беспрерывно их вытирала платком, то и имела какой-то плаксивый вид. Когда она смотрела на вас, она смотрела всегда искоса, как будто плохо видела вас, и осматривала всегда с ног до головы. Сколько ей тогда было лет, я не знаю, но, думаю, что лет за сорок. Одевалась она весьма скромно: в темное платье с кружевной пелериной и почти всегда в руках у нее был ридикюль. Одновременно с ней приезжала к нам и ее дочь Елизавета Антоновна, девушка лет 16—17, вышедшая замуж за князя Мансурова (ежели только не ошибаюсь в фамилии, но хорошо помню, что за кня-

зя). Бывал у нас и этот князь, и чуть ли не у нас в доме познакомились эти молодые люди. Надо думать, что смолоду Людмила Григорьевна была очень хороша, а потому и немудрено, что дочь ее была очень красивая девушка. Она была очень веселого и симпатичного характера. Старика Захарьина я почему-то никогда не видал, а потому не имею о нем ни малейшего представления. Помню, что когда нынешняя знаменитость кончила курс в гимназии, то Людмила Григорьевна, не имея средств отправить сына в университет, обратилась к знакомым с просьбой помочь ей в этом и открыть подписку.

Приезжал в Пензу по делам службы и мой опекун Алексей Алексеевич Тучков. Алексей Алексеевич почему-то был не в ладах с губернатором Панчулидзевым, и когда попадал к нам в дом прямо от губернатора, то всегда был расстроен и не в духе. Зато в другое время всегда был весел и говорлив и сообщал много анекдотов о бывшей в то время французской революции. Однажды, приехав к нам, он вынул из кармана какую-то книжечку и, обратясь к матери, весело проговорил:

— Представьте, что обо мне написал наш поэт Денис Васильевич Давыдов.

И он принялся читать какое-то стихотворение, указывая пальцем на следующие строки:

А глядишь, наш Лафайет,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей...[18]

И, расхохотавшись, прибавил:

— Как вам это понравится?

— Почему же вы думаете, что это именно про вас говорится? Разве у вас у одних свеклосахарный завод?

— Конечно не у одного, но я один, которому делают честь называть Лафайетом. Но поэт ошибся: 1) я не Лафайет, а 2) мужиков под пресс не кладу... Думаю, что всему виной моя борода, обрить которую ко мне пристают.

И действительно, я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь из крепостных людей Тучкова враждебно к нему относился, а, напротив, все любили его и отзывались о нем как о самом «простом» барине.

Жил он в своем имении, селе Яхонтове. У него

был, помнится мне, очень красивый дом, окруженный садом, совсем не похожий на обыкновенные помещичьи дома. Он даже и жил не так, как жили помещики того времени, а как-то по-иному, не по-русски. В то время дочери его не были еще замужем и при них состояла гувернантка-француженка м-ль Мишель. Разговоры в доме Алексея Алексеевича происходили на французском языке, и барышни одевались совсем не так, как одевались другие. Наталья Алексеевна, впоследствии Огарева, была очень веселая и бойкая барышня, к которой я питал не только симпатию, но нечто даже более серьезное... Помнится мне, что моя комната приходилась над комнатой барышень, так что мое окно было как раз над их окном. И вот, воротясь в свою комнату, я, бывало, начинал угощать их разными сластями: грушами, сливами, персиками, которые и спускал им, привязав к ниточке.

Однажды я до того замечтался, что, улегшись в постель, забыл потушить свечу, которая стояла возле моей кровати на соломенном стуле. Опрокинул ли я свечу, или она сама обгорела и упала, я не помню, помню только, что меня пробудил какой-то яркий свет, бросавшийся мне прямо в глаза. Я проснулся, бросился в испуге с постели и только тогда увидал горевший стул. В комнате был рукомойник, из которого я принялся тушить пожар. Однако дело кончилось благополучно, и о пожаре этом, конечно, никто бы не узнал, если б вода не протекла в комнату барышень.

Иван Николаевич Горсткин, о котором я уже упоминал, был очень дружен с Тучковым, постоянно сопровождал его и бывал у нас. В то время он был женат, кажется, на Олсуфьевой, ему тогда было лет пятьдесят. Он имел типичное лицо с выдающимися вперед подбородком и нижней челюстью, почему лицо его имело крайне саркастическое выражение, высокий лоб и большие выразительные глаза. Я уже сказал, что это был страстный любитель театрального дела, построивший в своем доме описанный мною театр. Кабинет его был как раз под сценой, и из этого кабинета был ход за кулисы. В этом-то театре в зимнее время и давались любительские благотворительные спектакли, которые всегда привлекали массу публики и всегда приводили ее в восхищение. Горсткин был режиссером этих спектаклей и всегда в них участвовал. Лучшими исполни-

телями считались тогда Иван Николаевич Горсткин, Софья Алексеевна Панчулидзева, Сушкова, Сергей Маркелович Загоскин (племянник писателя М. Н. Загоскина), гг. Всеволожский, Соболевский и другие. Спектакли эти отличались, помимо прекрасного исполнения, и роскошной обстановкой, когда таковая требовалась. Приносилась изящная мебель, сцена украшалась растениями, картинами, бронзой... Как теперь, помню один спектакль, на котором давались: «Параша Сибирячка» и водевиль «Андрей Степанович Бука». Парашу играла Софья Алексеевна Панчулидзева, а отца, то есть сосланного, Иван Николаевич Горсткин. Андрея Степановича Буку исполнял Соболевский. Спектакль этот был настолько удачен, что до сих пор врезался в моей памяти.

По окончании этих спектаклей занавес обыкновенно подымался и на сцене происходили танцы, а затем накрывались столы и подавался ужин. Злые языки того времени (а когда только их не было и когда только их не будет?) говорили, что все эти ужины делались на счет бедных, но я полагаю, что эта была клевета, так как любители были люди весьма богатые и действительно заботившиеся о бедных. Ничего нет удивительного после этого, что спектакли эти длились почти до рассвета и что очень часто участвовавшие оставались там до утра. О спектаклях этих обыкновенно печатались отчеты в местных губернских ведомостях, сопровождавшиеся рецензиями. Кроме «Губернских ведомостей», в Пензе местных газет не было, кажется, нет даже и теперь, когда значительно развилась провинциальная пресса. В этом случае нельзя не упрекнуть город Пензу.

С наступлением каникул мы обыкновенно уезжали в деревню, в село Никольское. Для этого нанимался ямщик, который за известную плату и должен был доставить нас из Пензы до Никольского, которое было от Пензы верстах в 160—170. Запрягался обыкновенно четверик лошадей в громадную тяжелую коляску, нагружались туда всевозможные чемоданы, узлы и подушки, и вот на эти-то подушки рассаживались и мы, то есть мать, я, брат, две горничных и собачонка Эсперка. Помню, что ямщик, прежде чем пускаться в путь, брал в руки эту собачонку и давал каждой лошади обнюхать ее.

— Это зачем ты делаешь? — спросил я однажды ямщика.

— Чтобы лошади не потели, — отвечал ямщик.

И я был вполне уверен, что ямщик прав и что лошади потеть не будут, хотя почти всегда лошади, не успев сделать 5—6 верст, были уже в мыле. Но ямщик приписывал это жаркому времени, а нисколько не собачке и не тяжести экипажа.

Мне и брату сидеть в этой коляске было хуже других: так как сажали нас обыкновенно в середину, то нас придавливали либо горничные, либо мать, либо какие-нибудь узлы и подушки, почему я очень часто садился либо на козлы, рядом с ямщиком, либо к лакею на заднее сиденье. Несмотря, однако, на столь неудобное путешествие, мы с братом всегда восторгались, оставляя пыльный город... И стоило только выехать нам в поле, как мы выскакивали из экипажа, а за нами выскакивала и Эсперка и бежали, что было мочи, восхищаясь и полями, и лесами, и даже той песчаной дорогой, которой приходилось бежать, утопая ногами в песке. Очень радовался этому и ямщик, так как тоже слезал с козел и шел пешком рядом с экипажем. Мать мою это очень сердило, так как приходилось ехать шагом.

— Ну, не замай их, барыня, пущай побегают... Поди, им в городе-то прискучило сидеть на одном месте... Пущай порезвятся!

Но ямщик хлопотал, конечно, не об нас, а о своих лошадях, которым представлялся случай пройтись шагом.

Путешествие это продолжалось обыкновенно дня три-четыре. Для кормежки лошадей мы заезжали на постоялые дворы, а ночевать обыкновенно потрафляли в какой-нибудь город либо к кому-нибудь из знакомых.

Как теперь, помню, что первым нашим ночлегом был город Мокшан, по реке Мокше. В этом-то городе Мокшане был у нас такой случай.

Остановились мы на ночевку в каком-то низеньком доме. Мне постлали постель на полу под открытым окном. Рядом с этим окном в простенке стоял стол, к которому и были прислонены мои подушки. В этой же комнате расположились и мать, и брат, и одна из горничных. Мать, раздевшись, положила свои часы на тот стол, который был в моем изголовье. Утомленные

дорогой, а пуще всего той жарой, которая царила весь день, мы вскоре заснули. Ночь была лунная, светлая. Долго ли я спал, я не помню, помню только, что, както проснувшись ночью, я вижу, что над моим лицом протянулась чья-то рука из окна. Я до того перепугался, что не смел пошевельнуться и только успокоился тогда, когда рука эта скрылась, а под окном послышались чьи-то удалявшиеся торопливые шаги. Завернувшись в одеяло, я снова заснул и проспал до самого утра. Когда подали самовар, мать приказала нам вставать. Мы встали, умылись, оделись и сели за чайный стол. Но каково же было изумление матери, когда она убедилась, что часов ее нет.

Только тогда вспомнил я про ту руку, которую видел ночью, и сообщил об этом матери. Услыхав это, горничная Прасковья даже руками всплеснула:

— Да ведь и я видела! — вскрикнула она.— Вот, ей-богу, видела!

— И видела, как он тянулся за часами? — спросила мать.

— Видела, матушка.

— Почему же ты не разбудила нас?

— Невдомек было, матушка... Заспала...

Так часы матери и пропали.

А другой случай был следующий.

Остановились мы кормить лошадей на постоялом дворе в каком-то селе, и так как час был обеденный, то мать и решила тут пообедать. Хозяйка постоялого двора, простая крестьянская баба, начала собирать обед, а я начал рассматривать прибитые к стене лубочные картинки. Одна из этих картинок изображала следующее: на заднем плане возвышался сосновый лес — лес, вымазанный за один мах зеленой краской,— а в лесу два мужика, неистово колотившие друг друга. Внизу этой картины была следующая надпись: «Два дурака дерутся, а третий смотрит». Вот я и принялся разыскивать, где же третий мужик, и как я ни пялил глаза на зеленый лес, стараясь разыскать третьего в чаще этого леса, но разыскать никак не мог. Только тогда я догадался, где именно был третий, и, догадавшись, покатился со смеха.

Вторую или третью ночь нам приходилось ночевать у помещицы Ольги Васильевны Кошкаровой, большой приятельницы матери. Это была типичная старуха,

пройти которую молчанием нельзя. Она была дочь сельского дьячка и четырнадцати лет вышла замуж за местного помещика Кошкарова, по уши в нее влюбившегося.

Когда мы бывали у нее, ей было уже лет 60, но, несмотря на этот почтенный возраст, она была до крайности красива и эффектна и поразительно походила на Екатерину Великую: такой же рост, так же причесанные седые волосы и та же свежесть лица.

Жила Кошкарова великолепно. Дом ее был громадный, двухэтажный, с большими комнатами, с паркетными полами и огромной залой в два света. Меня больше всего удивляло, что в дверях каждой комнаты, вытянувшись стрункой, стоял лакей в башмаках и чулках. Лакеи эти торчали на своих местах даже и тогда, когда в комнате никого не было. Кошкарова жила совершенно одна, так как дети ее были уже отделены и жили по своим имениям. Я очень любил, когда мы останавливались у Ольги Васильевны Кошкаровой: во-первых, потому, что она была очень приветлива, а во-вторых, потому, что постели у нее были всегда так мягки и покойны и так хорошо приготовлены, что я, бывало, всегда спал у нее и не мог досыта наспаться. Мебель у нее была изящная, много картин, бронзы, статуй и непременно в каждой комнате имелись часы под изящными стеклянными колпаками. Часы эти шли так аккуратно, что как только кончался бой в одной комнате, начинали звонить другие и т. д., а так как все эти часы били каждую четверть, то мягкий музыкальный звон их продолжался чуть ли не целый день. Меня это очень забавляло и тешило. Забавляли меня и лакеи в башмаках и чулках. Позвонит, бывало, Ольга Васильевна серебряным колокольчиком, и лакей мгновенно вздрагивал, словно его кольнул кто-нибудь, становился на цыпочки и, почтительно подойдя к барыне, весь превращался в слух. Барыня приказывала ему что-нибудь, он быстро поворачивался назад и точно так же на цыпочках подходил к следующему лакею и шепотом передавал ему приказание барыни, тот в свою очередь делал то же, а в конце концов исполнялось приказание барыни, но не тем лакеем, который его непосредственно получал, а совсем другим лицом. Эта церемония всегда удивляла мать.

— Помилуйте,— говорила она,— вы живете совер-

шенно, одни, а у вас в каждой комнате по лакею, а горничных даже и не сосчитаешь.

— Ах, боже мой! — возражала Кошкарова, — да куда же мне девать всю эту сволочь, когда у меня дворовых людей более трехсот душ?

И действительно, дворня у нее была многочисленная, и так как каждый из ее дворни имел собственный свой домик и свою усадьбицу, то вокруг ее дома был словно маленький городок.

Это была крайне богомольная старуха, каждый праздник посещавшая церковь, а накануне праздника в доме ее служились всенощные. У нее была даже особая комната, называвшаяся молельной. Стены этой комнаты с пола до потолка были увешаны иконами в дорогих ризах, и перед каждой иконой непременно теплилась лампадка, а в переднем углу был стол на манер церковного престола, возле которого возвышался аналой. Против этого-то стола становился обыкновенно священник во время всенощной. Ольга Васильевна почти всю всенощную выстаивала на коленях, почему ей и постилался всегда мягкий ковер. Молилась она усердно и часто делала земные поклоны. Ко всенощной должна была приходить и дворня, почтительно становившаяся в заднем углу и не смевшая пошевельнуться. Вообще во время всенощной тишина царила мертвая, и только одна дочь Ольги Васильевны, ежели не ошибаюсь, Екатерина Ивановна, успевшая уже овдоветь, наезжавшая иногда к матери, нарушала эту тишину и благолепие. Это была барыня лет тридцати, живая, бойкая, великая болтунья и довольно красивая собой. Вот эта-то Екатерина Ивановна и не могла никак утерпеть, чтобы с кем-нибудь не поболтать и не посмеяться за всенощной, чем и приводила всегда в смущение старуху Кошкарову.

Однажды был я свидетелем подобной сцены: дьячок начал читать какие-то молитвы, а Екатерина Ивановна, стоявшая рядом с моей матерью и со мной, вытащила из кармана какую-то книжечку, зажгла восковую свечку и принялась за чтение. Мать, заглянувшая в книгу, была крайне удивлена, увидав, что то был французский роман.

— Что это вы читаете?

— «Граф Монте-Кристо» Дюма.

— Во время всенощной?

— Ах, ma chère! [19] — чуть не вскрикнула она, пожимая плечами,— да разве есть какая-нибудь возможность разобрать, что бормочет этот противный дьячок? А роман мне дали на короткое время, с условием послезавтра возвратить его.

— Тсс...— раздается голос старухи.

— А роман так интересен, так интересен,— шепчет Екатерина Ивановна, осеняя себя крестным знамением,— что я просто захлебываюсь, читая его.

— Тсс...— раздается опять шиканье старухи.

— Советую, ma chère, прочесть его. Ах, какой гений этот Дюма!.. Какой гений!..

— Да перестань же, Катя! — замечает наконец старуха и, взглянув на дочь, удивленно пожимает плечами.

— Кончила, кончила, maman!..

И, опустившись на колени, осеняет себя крестным знамением и, поводя свечой по книжечке, продолжает чтение «Монте-Кристо».

Наконец всенощная кончилась. Две горничных подбегают к старухе и помогают ей встать на ноги. Та встает и, приняв величавую осанку, медленно направляется к выходу из молельни. Успевшие разоблачиться священник и дьякон отвешивают ей почтительный поклон.

— Дворецкий! — слышится голос Кошкаровой, обращающейся к старому дворецкому. И когда дворецкий, подойдя к ней на цыпочках, остановился, она прибавила, указывая на священника и дьякона рукой: — Напой их чаем и дай поесть чего-нибудь!

И, проговорив это, она величавой походкой выходила из молельни.

Немного погодя мы сидели уже в ярко освещенной гостиной.

— Послушайте, Ольга Васильевна,— проговорила мать, удивленная таким непочтительным обращением старухи со священником и дьяконом,— почему вы их не пригласили сюда?

— А потому, милая моя, что я еще с детства нагляделась на эту братию и знаю отлично, что это за народ. Пробовала я их к себе в гостиную-то приглашать и закаилась. Нет, им там, в лакейской, самое настоящее место, и дальше лакейской они у меня ступить не смеют.

Теперь все это покажется странным, но тогда, когда существовало во всей своей силе крепостное право, все это было делом весьма обыкновенным.

Потом нам приходилось ночевать у одного сельского священника, которого звали отец Иван.

Отец Иван тоже был тип своего рода, а потому остановлюсь и на нем.

Это был человек среднего роста, смуглый, с черными волосами и походивший скорее на цыгана, чем на священника. Он был большой болтун, говоривший всегда прибаутками, подмигивающий глазом и становившийся фертом, начиная что-либо рассказывать.

— А, наконец-то, пожаловали! — кричал он обыкновенно, завидев наш рыдван.— А лошадки-то у вас приутомились, не отдышатся! — И потом, обратясь к ямщику:— Ах, это ты, Герасим!

— Я, батюшка,— отвечал тот.

— И тебя тоже рад видеть... Пожалуйте, пожалуйте! — продолжал он, обращаясь к матери.— Я, признаться, давно поджидаю вас... Даже начал беспокоиться... Уж не случилось ли чего, думаю. Знаю, что гимназистов давно распустили, а моих приятелей все нет как нет.

Отец Иван был вдовец и жил на холостую ногу. Эт был отличный хозяин, а главным его занятием бы. коневодство. У него было штук пять-шесть породистых маток, почему на конюшне у него всегда было по нескольку молодых лошадей, которых он сам наезжал, а затем и сбывал выгодно на ярмарке либо в Пензе, либо в Саранске. Как называлось село, где он священствовал, я не помню, но очень хорошо знаю, что оно было верстах в тридцати от нашего Никольского. Мой отец был тоже охотник до лошадей, поэтому отец Иван бывал у нас довольно часто. Приезжал он к нам обыкновенно так: в какой-то куртке, в картузе странного фасона и непременно на беговых дрожках, запряженных красивым и статным жеребцом. Подлетит, бывало, к крыльцу дома и начнет кричать кучеров и махать руками.

— Ну, чего там рты-то разинули? — кричит он, бывало.— Аль не видите, что сам цыган приехал? Берите коня-то, да хорошенько выводить, а поить не сметь. Сам напою. Да смотреть у меня в оба! Не то зубы начищу,— прибавит он, расхохотавшись.

Выходил отец на крыльцо и, осмотрев кругом лошадь, спрашивал:

— От Визопура?

— От Визопура.

— А мать?

— Известно, Лебедка.

— Хорош, хорош! — говорил отец, любуясь лошадью.

— Ч. П.[20]

— Ну, положим, не Ч. П., — замечал отец, — а все-таки хорош. Рубликов 300—400 дадут, пожалуй.

Но отец Иван[21] разражался неистовым хохотом.

— Нет-с, шалите-с! Трехсоток-то пущай у других попов покупают, а мы из-за такой калечи рук марать не станем. Аттанде-с!

И вдруг, увидав борзую собаку, восклицал:

— Это откуда у вас пес-то? Я что-то не знаю его.

— Барычев подарил.

— Крымач?

— Да, крымач.

— И люблю я только этих крымачей, — вскрикивал отец Иван, лаская собаку. — И нерезво, кажись, скачут, а уж ни один русак не уйдет. У меня был один такой-то крымач «Катай», кличка была, так тот, бывало, за русаком-то верст 5—6 ковыляет и кончит тем, что загоняет да загоняет беднягу.

Помимо конного завода у отца Ивана был фруктовый садик, им самим разведенный, пчельник и ветряная мельница. Поэтому он всегда был перепачкан либо мукой, либо искусан пчелами. Он был великий хлебосол и очень любил, когда к нему кто-либо заезжал. У него постоянно имелась разных сортов наливка, запеканка, много разного варенья, смоквы и т. п.

Брат мой, Александр Александрович, в гимназии по болезни не был и получил домашнее воспитание. Он тоже жил с нами в Пензе, а на лето точно так же, как и я, уезжал в деревню. У него была очень странная слабость: он не мог хладнокровно видеть колокольню и, едва завидев таковую, бледнел и волновался. Его так и тянуло на эту колокольню, так и рвался туда, чтобы досыта натрезвониться в колокола. Когда в Никольском строилась церковь, он целые дни проводил на колокольне, с каким-то болезненным наслаждением занимаясь трезвоном. В это время глаза его разгора-

лись, лицо покрывалось румянцем, и, покачивая головой и улыбаясь, он выделывал на колоколах такие штуки, как не проделает любой звонарь. Отец Иван, который знал эту слабость брата, всегда угощал его своей колокольней, почему во время нашего приезда село это целый день оглашалось трезвоном. В настоящее время, конечно, такие слабости не поощряются,— ну, а в то время было все возможно.

Помнится мне, что тотчас за этим селом была крутая гора, по которой нам и приходилось спускаться. Внизу этой горы протекала речонка с перекинутым через нее дырявым мостиком. Гора эта была очень крутая, а потому мы всегда выходили из экипажа и обыкновенно спускались с горы пешком. Отец Иван обыкновенно провожал нас и только расставался с нами тогда, когда мы, пройдя мост, усаживались в свой рыдван, а ямщик начинал разбирать вожжи.

Однажды во время таких проводов мы увидали, что с противоположной горы, на которую нам предстояло взбираться, спускался какой-то тарантас, запряженный тройкой лошадей и поднимавший целое облако пыли.

— А ведь это становой Барычев! — вскрикнул отец Иван, рассматривая спускавшийся тарантас.— Так и есть: он, он! — прибавил он весело.— Очень рад... Очень рад! Он такой же лошадник, как и я. Устрою ему генеральную выводку и не увижу, как день-то пролетит.

И действительно, когда тарантас спустился с горы и подъехал к нашему экипажу, мы увидали в нем фигуру станового пристава Барычева, покрытого густым слоем пыли.

— Ба, ба, ба! — кричал он.— Вот неожиданная-то встреча.

И, выскочив из тарантаса, подбежал к матери и поцеловал у нее ручку.

— Ну, а я к тебе, отче,— прибавил он, обратясь к отцу Ивану.

— Очень рад, очень рад!

— Ну, не знаю, будешь ли радоваться, когда узнаешь, зачем именно я пожаловал к тебе.

— Ты пугаешь меня.

— На то мы и созданы.

— Да ты, может, шутишь?

— Нет, братец, не шучу.

И он принялся что-то нашептывать отцу Ивану, а отец Иван, слушая его, то бледнел, то краснел..

— Неужто? — спрашивал он.— Да нет, быть не может...

— Верно говорю тебе.

— Что же мне делать?.. Что же мне делать?

— В город ехать надо, хлопотать... Денег у тебя много. Захвати деньжат побольше, может, и схлопочешь.

Только что веселый и живой отец Иван моментально преобразился: словно его в воду окунули. Он молча уселся в тарантас Барычева, а мы, распростившись с ними, тронулись в путь.

Позже мы узнали, что сын отца Ивана, проживавший в Пензе, что-то такое натворил и попал под следствие.

Но мы не всегда ездили в деревню на долгих, иногда ездили и на почтовых. Тогда дорога наша изменялась. До Саранска мы ехали на почтовых по почтовому тракту, а в Саранске нас ожидали обыкновенно подставные лошади из Никольского. В Саранске жили наши родственницы, две старушки Граве, у которых имелся собственный дом. К этим-то Граве мы обыкновенно и заезжали, где и заставали выехавших за нами лошадей. Как звали этих старушек и как именно приходились они нам сродни, я не помню; помню только, что в доме у них было пропасть маленьких комнатных собачонок, которые своим звонким лаем всегда приводили меня в ужас, но зато выехавший к нам на подставу наш кучер Федор Иванович приводил нас с братом в такой восторг, что мы почти не отходили от него, расспрашивая его о Никольском и о житье-бытье дворовых мальчишек, с которыми у нас существовала великая дружба. Затем мы его тащили в конюшню и не могли досыта наглядеться на приехавших за нами лошадей, с которыми так давно не видались. Мы входили к ним в стойло, гладили их, целовали в морду, кормили хлебом, сахаром и даже расспрашивали их о здоровье.

Из Саранска до Никольского было 60 верст, которые мы делали в две пряжки. Останавливались мы кормить лошадей либо в заштатном городе Шишкееве у знакомого нам станового пристава Барычева, либо в Акшине, в доме Огарева.

Огарев уже давно не жил в деревне, а потому мы и останавливались в совершенно пустом доме. Помню я большой зал в этом доме, в два света и с хорами, балкон, выходивший прямо в густой парк, заброшенный, запущенный и поросший крапивой и лопушником. Этот пустой дом и заброшенный парк нагоняли на меня всегда тоску.

Помню, что к нам всегда являлся приказчик Огарева, из крепостных дворовых людей, являлся всегда тщательно одетый, с каким-то вычурным жабо на груди, и, остановясь у притолоки, начинал докладывать матери, где именно находится теперь Николай Платонович. Тогда Огарев, кажется, был в Италии, где проживала его первая жена.

Рассказы этого приказчика нагоняли на меня хандру еще пуще. Я, бывало, не мог дождаться той минуты, когда выкормят лошадей и когда мы снова усядемся в свою коляску.

Из Акшина мы попадали уже прямо домой. Весь этот переезд мы с братом совершали уже стоя на ногах и не спуская глаз с той родной дали, к которой стремились и душой, и телом. Вот проехали мы большое мордовское село Чериэмергу, вот въехали в лес, отделявший это село от деревни Хитровки, а вот направо, несколько в стороне от дороги, возвышается и винокуренный завод Огарева... Боже мой, нам остается только четыре версты!.. Мы весело прыгаем, хлопаем в ладоши и поминутно обращаемся к кучеру с просьбой гнать лошадей.

— Погоняй, Федор, погоняй! — умоляем мы его, а сами все не сводим глаз с родной дали.

Но вот вдали засинел темный бор купца Манухина, и на этом темном фоне загорелось что-то яркое и светлое.

— Крест! крест нашей церкви! — кричит брат.

И мы оба, вскарабкавшись на козлы к кучеру, словно замерли в ожидании увидать родной дом... Вот наконец и усадьба. Мы с шумом подъезжаем к крыльцу дома, а на крыльце нас ожидают уже приказчик Никита Григорьич, дворецкий Захар Зотыч и ключница Татьяна Федоровна.

О, родные места!.. О, родные люди!.. Но людей тех давно уже нет на свете, а родные места... Но мне не видать их более...

IV

Несмотря, однако, на то, что я был заядлым театралом, любил потанцевать и имел большую склонность к охоте,— я все-таки, надо думать, учился добропорядочно, так как ежегодно переходил из класса в класс и ни в одном не засиживался, хотя в то время засиживающихся не исключали и дозволяли сидеть в гимназии сколько душе угодно. Я бы мог насчитать многих товарищей, которые преусердно брили бороды и были почтенных лет. Про одного говорили даже, что он был женат и даже имел ребенка. Конечно, начальство гимназии подтрунивало над такими субъектами, но не притесняло их и давало возможность благополучно докончить дело образования. К таким гимназическим старожилам учителя относились даже с некоторым почтением: звали по имени и отчеству и, здороваясь, подавали им руку.

— Здравствуйте, Семен Павлович,— говорил учитель, входя в класс.— Как поживаете?

— Благодарю вас... Вы как себя чувствуете?

— Голова болит,— отвечал учитель, садясь за кафедру.

— Нехорошо-с.

Излишне говорить, что во время каникул любимейшим моим развлечением была охота с ружьем. В то время пистонные ружья не были еще в ходу и были очень дороги, а потому ружье у меня было просто-напросто тульского изделия, и кремневое. Помнится мне, что за это ружье заплатил я двадцать рублей ассигнациями. Оно немилосердно отдавало, почему я и ходил постоянно с распухшей щекой, и беспрестанно делало осечки. Вспыхнет, бывало, порох на полке, а выстрела нет. Это всегда меня очень раздражало. Ползешь, ползешь, бывало, под уток, подползешь наконец, видишь — громадная стая... Ну, думаешь, штуки две-три убью... Приподымешь осторожно голову, начнешь целиться, а сердце так и замирает... Взведешь курок, спустишь его, и вдруг — пшик! и больше ничего... А утки с шумом и криком снимались с воды и — поминай как звали!

Ружейной собакой был у меня пудель, кличка которого была Фаярь, или попросту Фаярка. Фаярку этого я стриг на манер льва, то есть выстригал ему зад и

морду, оставляя на морде два пучка шерсти, вместо усов,— такой же пучок на конце хвоста. Это была очень умная и послушная собака, не боявшаяся ни палящего зноя, ни зимних заморозков и отличавшаяся великим терпением. Подстрелишь, бывало, нырка какого-нибудь... Нырок этот начнет нырять, а за ним Фаярка. Подплывет, бывало, к нему, норовит схватить, а тот — в воду, а минуты через три вынырнет где-нибудь позади Фаярки, саженях в десяти... И вот Фаярка, высуня язык и торопливо болтая ногами, поворачивал назад и снова начинал преследовать подстреленного нырка. Повторялась та же история, и в конце концов все-таки Фаярка излавливал нырка.

Однажды, отправившись на охоту, мне пришлось идти дорогой, извивавшейся ржаным полем. Рожь уже цвела и возвышалась густой стеной по сторонам дороги. День был палящий, душный, и моя Фаярка бежала впереди, высуня язык. Вдруг, откуда ни возьмись, собака, стремглав бежавшая навстречу, как будто кем-то преследуемая. Собака бросилась было на меня, но, увидав Фаярку, круто повернула — и не успел я мигнуть, как моя Фаярка очутилась уже под собакой, с озлоблением кусавшей ее. Послышались чьи-то крики:

— Бешеная, бешеная! — кричало несколько мужиков, верхами и с дубинами в руках преследовавшие собаку.— Бешеная! Стреляй ее, барин!

Но стрелять в бешеную собаку я не мог, так как она сидела на моей Фаярке и продолжала ее грызть.

Однако, когда мужики подскакали к месту происшествия, бешеная собака бросилась в сторону, и я успел подстрелить ее. А мужики принялись доколачивать ее дубинами.

— Да бешеная ли? — спросил я мужиков, когда они покончили с собакой.

— Бешеная,— подтвердили они.— Всех собак у нас в деревне перекусала, да штуки три коров.

Мне было очень жаль Фаярку, и потому я, возвратясь домой, тотчас же послал за манухинским фельдшером, Поликарпом Ивановичем, отлично излечивавшим от водобоязни.

Поликарп Иванович был мужчина лет пятидесяти, высокого роста, сутуловатый, говоривший басом. Он брил лицо, оставляя только одни щетинистые, торчащие усы. Глаза у него походили на глаза волка: такие

же серые и с такими же мелкими черными крапинками на радужной оболочке. Где он обучался, я не знаю, видел только, что лечил он по какому-то толстому лечебнику. Откроет, было, этот лечебник и начнет водить пальцем по его страницам, разыскивая волчьими глазами то место, которое ему требовалось.

Все болезни он приписывал обыкновенно засорению желудка, почему лечение начинал всегда со слабительных и являлся к больному с карманами, наполненными разными бутылками, заключавшими его медикаменты. Маленькими приемами он гнушался, а заставлял пить лекарства стаканами.

— Вот, — говорил он, — вытаскивая из кармана шампанскую бутылку и похлопывая по ней рукой. — Выпейте эту бутылку в три приема — как рукой снимет.

Однажды, лечивши меня, он заставил меня выпить какого-то кислого лекарства, которое сохранялось в полуведерной бутыли.

— Вот, — говорит он, — выпейте это в два дня: по четверти ведра в день, а через два дня я к вам прибегу и еще чего-нибудь дам.

Однако лекарства этого допить мне не пришлось, так как после первой же четверти у меня появилась такая оскомина, что зубы мои сделались словно восковыми.

Поликарп Иванович всегда ходил пешком и в летнее и в зимнее время и всегда с ружьем на плечах, так как был страстный охотник, и вдобавок медвежатник. Ему удалось уже убить штук пять-шесть медведей, которых в нашей лесистой местности было достаточное количество, и охоту эту он предпочитал всякой другой.

Вот за этим-то Поликарпом Ивановичем я и послал, когда моя Фаярка была искусана бешеной собакой.

Осмотрев Фаярку и все искусанные места, он улыбнулся и, махнув рукой, проговорил:

— Не бойтесь — вылечим! Немало вылечивали не только собак, но и людей даже.

Затем бросился в буфетную, выпросил у Захара Зотыча пустую бутылку, всыпал туда чего-то, налил воды и, поболтав бутылку, явился ко мне.

— Слабительное? — спросил я его.

— Непременно-с... Хотя водобоязнь происходит не

от засорения желудка, но все-таки прочистить его необходимо.

И, вылив эту бутылку в горло Фаярке, он вынул из кармана какую-то тряпочку, в которой завязан был тот чудодейственный порошок, которым Поликарп Иванович излечивал обыкновенно бешенство. Секрет свой он сохранял в глубокой тайне, и только спустя долгое время после описанного мать купила секрет этот у Поликарпа Ивановича и лечила в свою очередь тем же порошком других; потом лечила им моя жена и я лично, и всегда получались самые блестящие результаты. Поликарп Иванович даже научил меня собирать эту траву, так как порошок составлялся из высушенной и мелкоистолченной травы. Это цветочки, весьма похожие на цветки лесной гвоздики, обыкновенно растущие на возвышенных местах. Их собирать следует весной, когда они достигают полного развития.

После слабительного Поликарп Иванович намазывал маслом несколько ломтей черного хлеба, обильно посыпав их сказанным порошком, велел давать Фаярке натощак по ломтю этого хлеба.

— Покормите ее так-то с недельку, а тогда и отправляйтесь на охоту.

И, проговорив это, он раскланялся и ушел, а неделю спустя я охотился уже с Фаяркой на Манухинском пруду, так как мой Фаярка был совершенно здоров, тогда как те собаки, о которых говорили мужики, все перебесились и были убиты.

Почти каждое лето приезжал к нам в Никольское крестник моей матери Василий Никитич Фок, или, как мы его тогда звали, Вася. Вася был сын краснослободского чиновника, имевшего в этом городе свой домик с обширной усадьбой и фруктовым садом. Отца его я не помню, но мать его, Марью Васильевну, помню отлично. Это была женщина небольшого роста, худощавая, со сморщенным лицом и большим открытым лбом, который при малейшем движении бровей собирался мелкими складками.

За Марьей Васильевной мать обыкновенно посылала лошадей, на которых та и приезжала к нам в сопровождении своего Васи. Вася, родившийся у нас в доме, в селе Никольском, был старше меня годами тремя, не больше, а потому всегда был моим другом детства. Василий Никитич жив до сих пор. Теперь уж он

покрыт сединами, дослужился до чина статского советника, получает довольно приличную пенсию, часто бывает у меня, и до сих пор наша детская дружба сохранилась в полной силе, что представляет в наше время явление не совсем обычное.

В то время, о котором я говорю, Вася был уже на службе, кажется, в Пензенской палате государственных имуществ. Он был франт большой руки, одевался всегда щеголевато и носил крахмальные манишки с такими же накрахмаленными стоячими воротничками, которые в то время назывались брыжами и были еще мало распространены. Он любил завивать волосы, помадиться и всегда носил с собой зеркальце, гребешочек и щеточки. Своими модными костюмами он всегда, признаться, приводил меня в смущение и даже возбуждал некоторую зависть.

У нас был крепостной портной, Николай Иванович Полозов, которого я всегда призывал к себе, как только приезжал Василий Никитич, и слезно упрашивал его подробно осмотреть фасон платья и сделать по нему надлежащие выкройки. Все это Николай Иваныч исполнял в точности, но как только платье выходило из-под иголки, то ничего похожего на щеголеватый костюм Васи в нем не оказывалось. То, бывало, резало под мышками, то на спине выходили какие-то складки, а воротник чуть не достигал до ушей.

V

Вася тоже был страстный охотник, а потому он всегда являлся к нам в полном вооружении и с легавой собакой Сбогаром. Насколько он восхищал меня своим туалетом, настолько и своими охотничьими принадлежностями. У него было хорошенькое ружье, патронташ, ягдташ, а Сбогар его проделывал такие фокусы, что всегда приводил меня в восхищение. Он подавал ему сапоги, туфли, приносил ему потерянный платок и прочее в этом роде. Приезду Васи я всегда очень радовался. Спали мы с ним всегда на мезонине, в большинстве случаев на верхнем балконе, а чуть занималась заря, мы отправлялись на охоту. Иногда мы ночевали даже на Манухинском пруду, чтобы пораньше захватить зарю. Для этого мы выпрашивали у рыбака небольшую лодчонку и, заехав на ней в камыши, ожидали появ-

ления уток. Теперь, в наше время, такого изобилия дичи, как тогда, нельзя встретить. Отчего это происходит, я решить не берусь; оттого ли, что увеличилось количество охотников, или оттого, что распаханы почти все залежи и степи, и дичи негде приютиться.

Однажды во время такой охоты с нами произошел следующий казус.

Как-то, не в меру разгорячившись и круто повернувшись на лодчонке, Вася опрокинул ее, и мы все очутились в воде. К счастью, место было очень мелкое, но тем не менее мы все-таки были вымочены до костей и перепачканы грязью, почему и должны были прекратить охоту и возвратиться домой.

Вася, кроме того, был и рыболов, и он первый научил меня ловить рыбу острогой. Делается это следующим образом: к носу лодки пристраивается железная решетка, на которой и разжигается небольшой костер из сухих сучьев. В лодку садятся двое: на корму помещается тот, кто будет управлять лодкой, а на нос тот, кто будет бить рыбу острогой. Острога — это есть трезубец с бородками, прикрепленный к легкому шесту. Охота эта производится обыкновенно ночью и по мелким местам для того, чтоб разожженный костер свободно освещал дно пруда. Я никогда не воображал, чтобы такого рода охота могла быть столь интересна и красива, как это есть на самом деле. Наш пруд в Никольском подходил как нельзя лучше к этой охоте: во-первых, потому, что он был мелководен, а во-вторых, не особенно густо порос водяными растениями.

И вот, когда наступила ночь, мы тронулись в путь. Я буквально был поражен раскрывшейся передо мной картиной и впервые увидал то, чего никогда не видел. Лодкой управлял Вася, а я стоял на носу с острогой. Едва мы отчалили от берега, как я вдруг увидал что-то черное, похожее на палку, но, пристально всмотревшись, я убедился, что это была щука. Щука, как видно, спала, а потому и стояла неподвижно.

— Щука,— шепнул я.

— Бей ее,— шепчет Вася,— только смотри, подводи к ней острогу поближе, а то промахнешься.

Я притаил дыхание, подвел острогу к самой щуке и резким движением руки ударил острогой, но оказалось, что вода обманула меня и что острога была в довольно большом расстоянии от щуки, так что воткнулась не

в щуку, которая успела ускользнуть, а в глинистое дно. Вася даже обругал меня, прогнал с носа и, усадив на корму, заставил управлять лодкой, а сам вооружился острогой.

— Смотри, тише только! — шептал он, грозя пальцем. — Да не стукай веслом, а то всю рыбу перебудишь.

Вася, несколько раз уже охотившийся с острогой, оказался опытнее и искуснее меня. Он то и дело действовал острогой и каждый раз вытаскивал какую-нибудь рыбу. Раз даже вытащил рака.

Но меня не столько занимала рыбная ловля, сколько занимало дно пруда, в особенности там, где оно несколько порастало водяными растениями. Дно это, освещенное ярким светом костра, действительно казалось нам чем-то волшебным и в то же самое время до крайности изящным.

Проохотились мы часа полтора, наловили достаточное количество и щук, и карасей и порешили вернуться домой.

— Ну, ворочай домой! Довольно.

Я хотел было повернуть лодку, но никак не мог сообразить, в какую сторону поворачивать: вокруг нас царил такой мрак, что разглядеть что-либо не было никакой возможности... Мрак направо, мрак налево, мрак впереди и сзади. Только мы одни ярко освещены костром.

— Куда же ехать? — спросил я.

— Верти налево! — говорит Вася. — Не знаешь разве, что дом-то в левой стороне остался.

Я повернул налево, и мы поплыли. Проплыли мы с полчаса, и вдруг лодка наша врезалась в густые камыши.

— Откуда эти камыши? — вскрикнул я. — Мы не туда едем.

— Валяй, валяй! — кричал Вася, — не бойся, едем туда, куда следует.

Я принялся грести, а через несколько минут, кое-как выбравшись из камышей, мы плыли по чистому месту. Перепуганные стаи уток с шумом поднимались со всех сторон и свистом крыльев оглашали воздух. А вот перед нами вдруг осветились какие-то кусты.

— Положительно мы не туда едем.

— Что за черт? — бормочет растерявшийся Вася.

И вдруг, что-то придумав, принялся заливать костер.

— Потушим огонь,— говорил он,— тогда увидим и усадьбу.

Огонь был залит, но усадьбы мы все-таки не увидали. Прежде мы могли видеть хоть то, что нас окружало, а теперь мрак слился, и мы очутились словно в подземелье.

— Ну? — спрашивал я, не имея даже возможности рассмотреть Васю.

— Ну? — повторил он в недоумении.

— Куда же? — спросил я.

— Валяй куда-нибудь. Куда-нибудь да причалим.

Я начал валять. Проплыли мы еще с полчаса, а все-таки никуда не причалили.

Вдруг позади нас сторож ударил в колокол. Судя по звуку, можно было догадаться, что мы все время плыли не по направлению к дому, а, напротив, отдалялись от него.

— Верти назад! — кричит Вася.

— Нет,— говорю я,— теперь садись ты, я выбился из сил.

Вася уселся на корму и принялся грести. Но домой попали мы не скоро, поминутно попадая то в камыши, из которых с трудом выбивались, то наскакивали на отмели.

И только когда начала заниматься утренняя заря, мы кое-как добрались до дому.

С тех пор мы с Васей на подобного рода охоту уже не ездили, а ограничивались ружейной охотой.

Иногда мы брали с собой на охоту и знакомого нам фельдшера Поликарпа Ивановича.

Раз как-то, проохотившись целый день по уткам, Поликарп Иванович сказал:

— Ну, какая это охота. Пойдемте-ка лучше на медведя.

Мы с Васей даже оторопели.

— На медведя? — спросили мы.

— Да вы чего же испугались-то? — проговорил Поликарп Иванович, подсмеиваясь над нашим испугом.

— Да ведь это страшно! — говорим мы.

— Никаких страстей нет.

— Да ведь он, пожалуй, череп своротит.

— А я вас так пристрою, что не своротит. У меня

есть один медведь на примете. Должно быть, сластник великий.

— Почему же сластник?

— А потому, что почитай каждую ночь к нашему пчелинцу за медом ходит.

— Неужели?

— Верно говорю вам... Пойдемте-ка... Я посажу вас в землянку к пчелинцу, и вы будете в безопасности, а я сяду на то дерево, мимо которого он каждый раз проходит. Медведь небольшой, говорят, ну а все-таки не в пример больше вашей утки.

— Что же мы будем делать в землянке-то?

— А будете из окна смотреть и медведя караулить.

Отказаться от предложения Поликарпа Ивановича нам было бы неловко, так как он имел бы тогда право считать нас за трусов, чего мы крайне боялись, вследствие чего мы тотчас же ударили по рукам и сговорились на следующий же день идти на манухинский пчельник и там переночевать.

Поликарп Иванович, по-видимому, был очень доволен, назвал нас молодцами, пророчил удачную охоту и только высказал опасение, как бы за это не огневались на него наши мамаши.

— Это за что? — горделиво подняв голову, сказал я. — Что мы, мальчики, что ли?

— А моя и подавно слова не скажет.

— А лучше всего, — проговорил Поликарп Иванович, — молчите про медведя-то. — Скажите, что на уток идете — только и всего.

Но Василий Никитич против этого восстал, доказывая, что он чиновник, а не какой-нибудь мальчишка и что уходить крадучись он не намерен.

На этом мы и покончили. И, гордые своей храбростью, распростившись с Поликарпом Ивановичем, направились домой.

Однако попасть на медвежью охоту нам все-таки не удалось, так как, собравшись на следующий день на пчельник Манухина, мы вдруг не нашли своих ружей, куда-то пропавших. Мы всюду искали их, обшарили все чуланы, облазили все чердаки, а ружья словно сквозь землю провалились. Мы не знали, что и думать, как вдруг смех моей матери, заметившей нашу суетливую беготню, вывел нас из недоумения. Оказалось, что

Вася действительно сообщил своей матери о нашем намерении идти на медвежью охоту. Марья Васильевна сообщила об этом моей матери; та, конечно, всплеснула руками, перепугалась, и дело кончилось тем, что как только мы заснули, то обе матери тихонько пробрались к нам в комнату и обезоружили нас.

После, спустя некоторое время, мы от души хохотали над проделкой наших матерей, но тогда, в ту минуту, мы выходили из себя и чуть не рвали на себе волосы от досады, что мы очутились в таком наиглупейшем положении. Мы умоляли матерей возвратить наши ружья, и, глядя на наше волнение, они продолжали хохотать, и только, а ружья все-таки не возвратили.

VI

Я забыл сказать, что, когда был в младших классах гимназии, в нашем семействе произошло большое изменение, и именно: брат Андрей Александрович вышел в отставку и, женившись на госпоже Запольской, переселился на житье в село Никольское. Поселился с своею молодою женой в так называемой пристройке. Пристройка эта представляла из себя совершенно особый домик комнат в пять, имела особый подъезд, особое черное крыльцо и соединялась с главным домом особою стеклянною галереей, установленной разными растениями и цветами, до которых мать была большая охотница. Брат был еще не отделен, а так как имение было отцовское, то матери пришлось выделить брату Андрею третью часть. Ему отделили так называемое дальнее поле, куда он года через два после своего переезда и перетащил пристройку, а равно и необходимые надворные постройки. Он перенес туда два флигеля, часть конного двора, каретника и, построив себе усадьбу, в ней и зажил совершенно отдельным хозяйством.

Усадьба наша приняла совершенно иной вид: дом наш сделался каким-то кургузым, а двор принял вид каких-то жалких развалин. Нечего и говорить, что и имение наше на третью часть уменьшилось, а беспокойство матери, конечно, увеличилось. Она, конечно, молчала, но я ясно видел по ее лицу и глазам ее тревожное состояние. К нам как-то чаще начал приезжать

мой опекун Алексей Алексеевич Тучков, подолгу о чем-то говорил с матерью, но о чем они говорили — я не знаю, помню только, что раз, войдя незаметно в гостиную, где они сидели, я увидал слезы матери и подслушал следующий разговор:

— Но чем же я заплачу проценты в опекунский совет[22], — говорила мать, — ежели я проживу зиму в Пензе?

— Но ведь в Пензу ехать необходимо, — говорил Тучков.

— Знаю, что необходимо, — сказала мать, — но ведь и проценты необходимо внести.

— В таком случае продайте лес, — советовал Тучков.

На этом совете мать и остановилась, а недели две спустя к нам явился какой-то толстобрюхий купец в засаленной поддевке, которого мать и пригласила в кабинет, заперев за собою дверь.

О чем они толковали — бог весть, знаю только, что когда разговор их был покончен и мать вышла из кабинета в сопровождении купца, то глаза ее были заплаканы, а лицо последнего, красное, как сафьян, сияло довольною улыбкой.

— Когда же прикажете приступить, сударыня? — спрашивал купец.

— Когда хотите, — ответила мать.

— Слушаю-с. Недельки через две можно-с?

— Когда угодно.

— Слушаю-с.

И купец, раскланявшись, вышел из дома, а минуту спустя я увидел в окно, как он, усевшись на беговые дрожки, запряженные сытым серым жеребцом, отъехал от крыльца. А на следующий день мать приказала заложить длинные дроги тройки и объявила нам с братом Александром Александровичем, что мы сегодня поедем пить чай на пчельник. Нашему восторгу не было границ, так как мы очень любили этот пчельник, во-первых, потому, что он был расположен в живописной местности, в тени громадных липовых деревьев, а во-вторых, и потому, что любили есть сотовый мед со свежими огурцами. Поехали с нами на пчельник и Марья Васильевна с Василием Никитичем. День был превосходный, и мы находились в самом превосходном настроении.

Мы с Васей захватили с собой ружья и наших собак, и так как недалеко от пчельника протекала маленькая речонка Ведьжа, изобиловавшая небольшими омутками и заводями, то мы с Васей и намеревались поохотиться там за утками. Все гармонировало с нашим веселым настроением: и безоблачное голубое небо, и чириканье птичек, перелетавших с дерева на дерево, и даже веселая и резвая беготня моей Фаярки и Васиного Сбогара. Не гармонировало только с этим весельем лицо матери, все о чем-то думавшей, да лицо Марьи Васильевны со сморщенным лбом и каким-то плаксивым выражением на губах.

Мы провели на пчельнике целый вечер. Мы с Васей успели убить двух-трех уток, а после чая успели даже сварить в котелке полевую кашицу из пшена и баранины. Усевшись вокруг котелка, мы живо обработали эту кашицу, и только одна мать даже не дотронулась до нее. Когда мы возвращались домой, начинало уже смеркаться, и вот мать, выезжая из леса, как-то тяжело вздохнула и едва слышно проговорила:

— Ну, прощай мой лесок, больше не видать мне тебя... Прощай!

И слезы потекли из ее глаз.

Но тогда я даже и внимания не обратил ни на слова матери, ни на ее слезы, а весело болтал с Васей о проведенном приятно дне и о завтрашней охоте.

Недели полторы спустя на усадьбе нашей снова появился купец на дрожках. Только на этот раз он был не один, а в сообществе какого-то молодца и целой ватагой найговских мордвов, вооруженных топорами и пилами.

Купец остановился возле конторы, в которую и вошел, приказав молодцу и мордвам подождать его.

— Вы здесь посидите,— проговорил он, обращаясь к мордвам,— а ты,— прибавил он, взглянув на молодца,— подержи коня-то... Я сейчас.

Действительно, немного погодя он в сопровождении нашего приказчика, Никиты Григорьевича, снова показался на крыльце.

— Уж вы там укажите местечко-то.

— Сейчас, только лошадь запрягут.

— Да вы со мной садитесь.

— Будет место-то? — спрашивает приказчик.

— Найдется.

И, приказав молодцу идти с мордвами, усадил Никиту Григорьевича к себе на дрожки, и минуту спустя вся эта компания двинулась по направлению к лесу.

Через неделю после описанного мы с Васей пошли на порубку леса и не могли узнать его. Опушка этого леса, так недавно еще зеленевшая стройными, красивыми деревьями липы,— уже не существовала. Поверженные на землю деревья с пожелтевшими листьями и полузасохшими ветвями лежали, словно трупы на поле битвы. Стаи грачей и галок шумно носились в воздухе, оглашая его неистовыми криками. Из-под какого-то сверженного дерева выскочил испуганный заяц и, робко озираясь кругом, метался из стороны в сторону, не находя привычной ему тропинки... А по лесу между тем слышался стук топоров, треск падающих деревьев, лязг пил и шумный мордовский говор.

Подошли мы к пчельнику, на котором так недавно еще и так весело провели вечер, и при виде его сердце мое замерло: он стоял уже не в тени леса, а на вырубленной поляне, заставленной кругом стройными рядами распиленных саженок, а между их рядами ходил тот самый молодец, который приезжал вместе с купцом.

VII

С братом Андреем мы все были в хороших отношениях. Мать любила его, как родного сына, так как с восьмилетнего возраста он был на ее руках и на ее попечении, а я, несмотря на разницу лет, был с ним в дружеских отношениях. Вышел он в отставку штабс-ротмистром. Это был мужчина очень высокого роста, с симпатичным добрым лицом, белокурый и с голубыми глазами. Ростом он был в отца, а лицом, как говорят, походил на свою мать, Олферьеву. Это был очень добрый человек, никогда никого не обидевший и никогда никого не тронувший пальцем, хотя в описываемое время давать волю кулакам не только не осуждалось, но даже поощрялось. Недаром поэт Давыдов в одном из своих стихотворений говорит:

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло...[23]

Как истый кавалерист, брат Андрей любил псовую охоту и терпеть не мог ружейной, так как с ружьем надо ходить пешком. Он даже не умел ходить и всегда ходил как-то робко, нетвердо ступая на ноги. У него была прекрасная донская лошадь, ростом вершков пяти, крепкая, с здоровой грудью и скакавшая как вихрь.

Проскачет, бывало, брат за зайцем версты три-четыре, остановится, так она фыркнет ноздрями — и конец дела, тогда как другие после такой бешеной скачки, бывало, насилу отдышатся. Лошадь эта почему-то называлась Микроскоп, хотя ничего микроскопического в ней не было. Вообще брат очень любил лошадей, и на его конюшне всегда было две-три верховых лошади и тройки так называемых разгонных, хорошо подобранных и лихих. Помню я, был у него гнедой иноходец, горбоносый, горбатый, просто свинья свиньей, но бежал иноходью так, что ни одна пристяжная, как бы она хороша ни была, не уносила постромок. Звали этого иноходца Михей Пирогов. Велит, бывало, брат запречь тройку в дроги и помчится на них либо по полям, либо по соседям.

Вскоре после раздела брат поселился на доставшейся ему земле; переселил туда же своих крестьян и выстроил себе хорошенькую усадьбу на хорошенькой речонке Ожге, перепрудил эту речонку плотиной, выкопал пруд и построил на этом пруду небольшую мельницу, на которой и перемалывал необходимый для домашнего употребления хлеб. Вообще он переселился и обстроился довольно быстро и назвал этот поселок сельцом Павловкой, вероятно, в честь своего тестя Павла Ивановича Запольского, командовавшего в то время каким-то пехотным полком, расположенным в Тамбовской губернии в городе Козлове. У Запольского было три дочери: старшая была за бароном Дельвигом, вторая — за братом, а третья, Екатерина Павловна, о которой я когда-то тайно страдал, была девицей очень миловидной и веселой.

Я очень часто бывал у брата Андрея, так как у него всегда бывало много гостей и жил он вообще весело. У них встречал я молодого Манухина, горного инженера, только что приехавшего из Петербурга и поселившегося на чугунолитейном заводе своего отца, и некоего Михаила Александровича Немира, заведовавшего в то время казенными лесами Инсарского лесни-

чества и жившего верстах в десяти от брата в казенном лесном кордоне.

Кордон этот всегда восхищал меня. Это был изящно выстроенный домик с резными балкончиками и крылечками, окруженный такими же красивыми и изящными надворными постройками и прелестным садиком с цветниками, беседками, красивым прудком, посреди которого возвышался искусственный скалистый островок с фонтаном посредине.

Лесничий этот жил открыто, имел хорошие экипажи, отличных лошадей, богатую обстановку и жизнь вел веселую. Он хорошо ел и пил, играл в карты, много проигрывал и никогда не стеснялся в деньгах. В его лесничестве числилось семьдесят тысяч десятин строевого леса. В описываемое время лесничие были в большой моде, как теперь инженеры. Они носили военную форму с блестящими серебряными эполетами, и не было ни одной барышни, которая не мечтала бы выйти замуж за лесничего. Сколько получал он жалованья,— я не знаю, так как гимназисты тогдашнего времени не интересовались подобными вопросами, но, судя по той жизни, которую вел Михаил Александрович, надо думать, что немалое. Были, конечно, злые люди, которые утверждали, что господин Н. не клал охулки на руку, но, насколько это справедливо — утверждать не берусь, так как в то время не было ни газет, ни корреспондентов, а бродили лишь одни медведи, огрызавшиеся только на тех, кто их беспокоил.

Раза два мне случалось быть на этом кордоне. В это время там было много гостей и шампанское лилось рекой; играли, конечно, в карты, а ради забавы был откуда-то привезен хор цыган. Помню, как теперь, того цыгана, который дирижировал этим хором: на нем был тонкого сукна казакин, туго перехваченный серебряным наборным ремнем, серебряная шейная цепочка с часами и широкие шаровары, совершенно скрывавшие ногу. На пальцах у него были драгоценные перстни, а в руках гитара, на которой он аккомпанировал хору. Хор состоял из нескольких хорошеньких цыганок, с большими черными глазами, полными огня и блеска, и одной седой старухи, певшей басом. Вечер этот проведен был очень весело и закончился бешеной цыганской пляской, в которой участвовали и некото-

рые из гостей, в том числе и я. Были в числе гостей и барыни. Они ни в песнях, ни в танцах не участвовали, но в карты играли и исправно обыгрывали расходившегося лесничего и кушали шампанское за здоровье амфитриона.

После столь шумно проведенного вечера я отправился домой в надежде, что дорогой я выветрюсь и мать ничего не заметит. Я даже полагал, что застану ее спящей, но не тут-то было: обеспокоенная моим долгим отсутствием (я провел там всю ночь), она даже не ложилась и встретила меня растревоженная чуть не на крыльце.

— Где это ты был, батюшка?

Я сказал.

— Что же ты там до сих пор-то делал?

И потом, пристально посматривая на мое лицо, а особенно на глаза, вдруг пододвинулась ко мне и проговорила:

— Ну-ка, дыхни!

Я дыхнул.

— От тебя водкой пахнет,— чуть не вскрикнула она, нахмурив брови.

Я принялся божиться, что водки не пил, так как водки действительно я не пил.

— Стало быть, пил вино.

Действительно, я пил только шампанское.

С тех пор мне строжайше было запрещено посещать кордон лесничего, и я посещал его только тайным образом и в рот уж ничего хмельного не брал, хотя и возвращался оттуда опьяненный, но только не вином.

Несмотря, однако, на все эти каникулярные развлечения, я все-таки не забывал про ожидающие меня экзамены и усердно занимался тем, в чем чувствовал себя слабее.

Способностями меня бог не обидел, а памятью я обладал завидной. Больше всего я опасался истории и хронологии.

Историю мы проходили по Смарагдову, которая отличалась обширностью и тяжеловесным пустословием. История эта заключалась в трех толстых томах, которые мы и должны были долбить, так как рассказывать своими словами не дозволялось.

— Вы что это своими словами-то рассказываете?

Говорите словами господина Смарагдова,— поучал нас учитель,— так как господин Смарагдов несравненно красноречивее вас.

Латинский язык преподавался в то время больше для приличия,— чем, мол, мы хуже других?.. И особых требований к знанию этого классического языка не предъявлялось, а о греческом не было даже и помина.

Итак, самым страшным для меня предметом была история. Как теперь, смотрю на эти три тома, переплетенные в мраморную бумагу с кожаным корешком, и при воспоминании о них даже мороз пробегает по телу.

— Три тома! — рассуждали мы. — Сколько же накопится этих томов лет через сто или двести?

Занимался я немало и чтением разных литературных произведений. Я перечитывал то, что читал прежде и что рекомендовал нам читать наш учитель, Егор Карлович Руммель, а произведения более новейшие мне доставлял Ф. Е. Никольский, управляющий в то время винокуренным заводом Огарева.

Греха таить нечего,— пописывал иногда и сам и написал целую повесть под названием «Дядюшка и племянник» и небольшой рассказ «Забытая усадьба». Первое произведение мое, тщательно переписанное и сброшюрованное, как-то затерялось, а второе уцелело и, несколько лет спустя, в исправленном мною виде было напечатано когда-то в «Русском вестнике». В этом рассказе был мною описан наш старый буфетчик Захар Зотыч, о котором я, кажется, вскользь упоминал.

«Забытая усадьба» была вторым моим произведением, удостоенным печати, первым же была повесть «Пушиловский регент», в котором я описал свою кузину Б.

По окончании каникул снова запрягался рыдван, и мы отправлялись обратно в Пензу, с тою только разницею, что тогда мы ехали не на наемных лошадях, а на собственных своих четвериком и непременно с колокольчиком, привязанным к концу дышла. Но — увы! — настроение было уже не то, как тогда, когда мы покидали Пензу. Я сидел молча, размышляя о Смарагдове, а брат Александр Александрович, оттрезвонив на колокольне отца Ивана, даже и внимания не обращал на другие колокольни, что встречались нам на пути.

VIII

Так или иначе проводились мною каникулы, а затем начиналось учение в гимназии. В мое время гимназия не изобиловала количеством обучавшихся, так как дворяне отдавали своих детей не в гимназию, а в Дворянский институт, который в то время существовал в Пензе, купечество же на дело образования смотрело в то время не совсем дружелюбно.

— Нам не звезды на небе считать,— говорило оно.— Вряд ли усмотреть за тем, что под носом есть, а наукам-то научишь, так, пожалуй, ни за прилавок не загонишь, ни аршин в руки не всучишь.

Да, по правде сказать, и сама тогдашняя молодежь не особенно хлопотала об образовании, не видя в нем ничего особо привлекательного. Служить не стоило того, так как жалованье было слишком мизерно. Была и в мое время молодежь, жаждавшая науки не ради корыстных целей, стремившаяся к чему-то возвышенному, идеальному, но таких было немного, да и смотрели на них тогда совсем по-иному.

Поэтому ничего нет удивительного, что Пензенская гимназия того времени почти пустовала: дворяне предпочитали институт, духовенство — семинарию, а купечество как-то совсем сторонилось. Оставались, значит, дети мещан да чиновников.

В мое время, когда я был в пятом классе, нас было всего пять человек, так что в классе у нас, очень маленькой комнате с окном, выходившим на двор, стояла всего-навсего одна парта да учительская кафедра.

Дворянский институт, который теперь, кажется, уничтожен, помещался на краю города, против так называемого Верхнего Гулянья, в очень красивой местности, и примыкал к засеке (так назывался порубленный дубовый лес). Это было большое и красивое здание в несколько этажей, в котором и жили воспитанники. Сравнительно с нашей гимназией, деревянным одноэтажным домиком, Дворянский институт смотрел как бы дворцом: там были обширные и светлые классы, громадный светлый коридор, рекреационная зала, библиотека и большой физический кабинет, тогда как у нас все это было в самом мизерном виде, а рекреационный зал заменялся большим двором, куда нас и

выпускали во время перемены и зимой, и летом. Дело прошлое, мы с завистью смотрели и на здание института, и на воспитанников его. Помнится мне, что в то время директором этого института был некто П., прежде бывший директором Пензенской гимназии, тот самый господин П., при котором был исключен из гимназии за неспособность В. Г. Белинский.

Это был старичок небольшого роста, с румяным добродушным лицом, лысенький и с довольно толстым брюшком. Ходил он с перевалочкой, по-утиному, и торопливо, словно всегда куда-то спешил. В институте, впрочем, он недолго был директором и, помнится мне, умер, а на его место поступил некто Алексей Андреевич Мейер, впоследствии перешедший в гимназию и наводивший на нас всех великий страх.

IX

О материальном положении наших дел мы с братом Александром Александровичем ничего не знали, так как мать, считая нас за детей, никогда с нами о делах не говорила. Мы каждый день пили чай, обедали, ужинали, держали пару лошадей, а потому и были вполне уверены, что все обстоит благополучно и что впереди нам ничего не грозит. Меня только удивляло, почему это так часто ходит к нам квартальный[24] и почему каждый раз мать встречала его с какою-то тревогой, а потом глаза ее были всегда как будто заплаканы.

Как теперь, смотрю я на этого квартального. Это была очень маленькая, невзрачная фигурка. Являлся он к нам всегда в мундире и со шпагой, которая, благодаря его малому росту, почти волочилась по полу, почему мы и прозвали его квартальным, привешанным к шпаге. Беседы матери с этим квартальным велись всегда почему-то при закрытых дверях, а провожая его, мать обыкновенно говорила:

— Пожалуйста, подождите!.. На днях я жду приказчика из деревни: вероятно, он продаст хлеб, и тогда я расплачусь с вами.

— И рад бы радостью, сударыня, да бумажка-то эта у меня давно без движения лежит, а ведь нашему брату за это нагоняй бывает.

А мать спешила успокоить его:

— Не беспокойтесь,— говорила она,— никакого нагоняя не будет. Я обязательно об этом буду просить кого следует.

— Да, уж пожалуйста,— говорил квартальный,— попросите... Я человек семейный: жена, дети, мать-старуха. Сохрани господи, со службы прогонят,— без куска хлеба останусь...

И квартальный уходил, а мать была обыкновенно целый день не в духе.

После подобных посещений мать отправлялась зачем-то либо к губернатору, либо к полицмейстеру, либо к Варваре Николаевне Охлебенной (родной сестре писателя М. Н. Загоскина). Но зачем именно она ездила к ним,— для нас было тайной.

Ожидание из деревни приказчика Никиты Григорьевича всегда очень тревожило мать.

— Удивительно,— говорила она,— почему он до сих пор не едет... Понять не могу.

Зато когда Никита Григорьевич являлся, то мать выбегала к нему навстречу чуть не на крыльцо.

— Ну, что, как? Все благополучно?

— Ничего... Все слава богу-с,— говорил обыкновенно Никита Григорьевич, прикладываясь к ручке.— Привез вам и уток, и гусей, и кур, и маслица, и яичек...

— А денег? — тревожно спрашивала мать.

— Привез, сударыня, только немного-с.

— А сколько?

— Рубликов сто.

Мать обыкновенно бледнела и с ужасом всплескивала руками.

— Что же мне делать с этими деньгами? — говорила она,— когда мне до зарезу нужно тысячу рублей... Понимаешь ли ты это?

Никита Григорьевич, видимо, понимал все это очень хорошо, но молчал и только хлопал глазами.

— Что же ты молчишь-то? — приставала к нему мать.— Хлеб продал?

— Никак нет-с.

— Почему же?

— Не молочен-с.

— Что же ты делал все это время? — удивлялась мать.

— Ничего не делал, — отвечал Никита Григорьевич.— Разве не изволите знать, какая осень-то стояла...

Ведь нас совсем дожди-то залили. Как же я в дождик-то молотить начну? Поэтому и сидел сложа руки.

Надо вам сказать, что в описываемое время о молотилках не имели понятия, а потому молотьба производилась цепами. Молотьба продолжалась всю зиму, а так как сыромолотый хлеб покупался неохотно, то обыкновенно устраивались риги с печами, в которых и просушивался хлеб, поступивший в молотьбу. В ригу вмещалось обыкновенно телег сорок или пятьдесят, а потому и можете судить, как долго продолжалась молотьба.

— Как же мне быть, как же мне быть? — повторяла мать.

А Никита Григорьевич снова начинал расписывать дожди и непогодь. Вскоре по приезде Никиты Григорьевича являлся обыкновенно и квартальный, «привешанный к шпаге», и опять секретные, тревожные разговоры, и опять рассказы квартального о том, что у него жена, дети, мать... И опять мать отправлялась то к губернатору, то к Олферьеву, то к Охлебенной. А дожди между тем все лили да лили...

Иногда мать уезжала в деревню, не доверяя словам Никиты Григорьевича, и, успев у кого-нибудь перехватить денег, возвращалась в Пензу более спокойною. Но спокойствие это продолжалось недолго. Являлся обыкновенно квартальный и деньги куда-то исчезали, а квартальный, веселый и довольный, на этот раз не упоминал уже ни о жене, ни о детях.

Изо всего этого я начал догадываться, что дела наши не в особенно блестящем положении и что ежели мы и пьем ежедневно чай и ежедневно обедаем и ужинаем, то это не значило еще, что дела наши в порядке.

В это самое время почему-то переменился мой опекун и вместо Алексея Алексеевича Тучкова нам назначен был в опекуны некто господин Коновалов, зять генерала Юшкова. Опекуна этого я, впрочем, видел всего раза два или три, не больше, знаю только, что это был великий борзятник, державший псовую охоту, даже живя в Пензе.

Нельзя назвать особенно покойным и пребывание наше в деревне во время летних каникул. В Пензе донимал нас квартальный, «привешанный к шпаге», а в деревне становой пристав Барычев, о котором я уже говорил.

И вот во время этих-то летних каникул нас постигло страшное горе, послужившее началом нашего полнейшего разорения. Какого именно числа случилось это, я не помню, но помню, что хлеб был уже убран и весь свезен на гумна. Вдруг раздался набат. Мы выбежали из дому — и нашим глазам представилось страшное зрелище: все село Никольское было объято пламенем и черный как сажа дым застилал всю окрестность.

— Пожар!.. пожар!.. — кричал повсюду народ, спешивший на место пожара.

Мать, выбежавшая на крыльцо, при виде этой картины упала без чувств на ступени крыльца, а потом свалилась на землю. Ее поспешили отнести в дом; а я побежал по направлению к селу. Бывший на пожаре народ исключительно хлопотал только о спасении своего имущества. Он с воплем и криком вытаскивал из горящих изб разный домашний скарб, и ему некогда было думать о прекращении пожара, да и немыслимо было прекратить его, ибо страшный ветер, словно с остервенением, разбрасывал по сторонам горевшие пучки соломы, подхватывал эти пучки и далеко-далеко уносил их.

— Гумна, гумна горят! — послышался чей-то страшный крик.

Я посмотрел в сторону гумна, и сердце мое облилось кровью: все крестьянские гумна, плотно заставленные одоньями хлеба, словно слились с горевшим селом.

Жар был так палящ, что весь народ, беспорядочно суетившийся вокруг своих изб, как один человек, отхлынул от места пожара и поспешил спасать собственную жизнь. Пожар продолжался всего сорок минут, и село Никольское, состоявшее дворов из сотни, через сорок минут уже не существовало: сгорели все гумна, в том числе и наши, все крестьянское имущество, вытащенное на улицу, и несколько человек крестьян.

Когда села уже не существовало, явились и пожарные трубы с винокуренного завода Огарева и с чугунного завода Манухина, но трубам этим работать в селе Никольском было уже нечего; зато им пришлось поработать в казенном лесу, примыкавшем к нашему селу, в который забрался ненасытный огонь.

Когда я воротился домой, то увидел мать, заливав-

шуюся слезами, а возле нее сидел наш приходский священник, Петр Сергеевич Охотский.

— Не плачьте, кума,— утешал он.— Как вам не грешно? Господь бог любя наказует... Ведь после этого самого пожара вы разбогатеете! — горячился он, ударяя себя кулаком в грудь.— Поверьте, разбогатеете... Только вот что прикажите сделать: прикажите собрать всю золу и удобрите ею поля...

Отец Охотский говорил это с таким убеждением и так горячо, что, кажется, сам глубоко верил в справедливость своих слов.

Однако мы не разбогатели, и все это кончилось тем, что нам не с чем было выехать в Пензу, почему мне и не удалось кончить курс гимназии.

Есть пословица: «Придет беда — растворяй ворота» — и действительно, такая беда пришла: не с чем было выехать в Пензу, нечем было и заплатить проценты в опекунский совет, в котором имение наше было заложено. Имение было назначено к публичной продаже. И вот мать, собрав кое-какие деньжонки, поскакала сперва в Нижний Новгород, где служил в то время ее брат, Евстратий Юрьевич Бибиков, а затем к родным в Москву, рассчитывая с их стороны на материальную поддержку; но ни в Нижнем, ни в Москве таковой, конечно, не нашла, и наше родное село Никольское в ту же зиму было продано с аукционного торга, и мы остались, как говорится, «крыты небом и обнесены светом».

X

Когда мы оставляли Никольское, никто даже не подозревал, что мы оставляем его навсегда. Это весьма понятно, так как в то время газеты еще не были распространены и имения, назначенные в продажу, так и продавались втихомолку. Да и мало кто интересовался этим. Мать перед отъездом отслужила панихиду на могиле отца, завязала в платок горсточку земли с этой могилы, а потом отслужила в церкви напутственный молебен. Собралась дворня проводить нас, перецеловалась со всеми нами и пожелала благополучного пути и скорейшего возвращения. В качестве прислуги мать взяла с собою горничную Аришу и ее родного брата, Алексея Чугунова.

Мы выехали из Никольского недели за две до его продажи. Мать все на что-то надеялась и почему-то полагала, что продажа будет отсрочена.

В Москве мы остановились в гостинице Шевалдышева. Приехали мы в Москву ночью, а наутро мать отправилась к своей двоюродной сестре, Марье Гавриловне Дюклу, урожденной Бибиковой. Дюклу в то время был управляющим московского коммерческого банка, помещавшегося на Никитском бульваре. От этой-то госпожи Дюклу мать впервые и узнала о продаже Никольского и о том, что от этой продажи нам осталось сколько-то тысяч. Это несколько успокоило мать, и она порешила немедленно ехать в Петербург и купить там маленькое именьице: «un petit pied a terre» [25],— как она выражалась.

Получив печальное известие о продаже имения, которое, оказалось, было куплено врачом Лапчинским, нам волей-неволей пришлось расставаться с своей прислугой, отпустить ее домой и заменить наемной. Прожив некоторое время в Москве, мы отправились в Петербург, где и наняли себе маленькую квартирку на Песках в 7-й линии.

Так как дело это происходило в 1854 году, то есть во время Крымской кампании [26], то нечего и говорить, что весь Петербург только и говорил об этой войне, грозившей принять громадные размеры. В газетах того времени о войне этой писалось очень мало; только изредка помещались какие-нибудь маленькие известия о наших громадных успехах. В числе таких-то известий было сообщение о Синопском сражении и о сожжении нами турецкой флотилии. Известие это было встречено в Петербурге с величайшим восторгом. Вывешивание флагов в то время не практиковалось, но зато народ буквально затоплял весь Невский проспект, всю набережную и всю площадь перед Зимним дворцом. Ликованию не было конца, а вечером весь город был иллюминован плошками. По случаю этой победы государь император Николай Павлович заказал Н. В. Кукольнику [27] сочинить драматическое представление, каковое и поставить на Александринской сцене. Кукольник в несколько дней написал пьесу, назвав ее «Битва при Синопе». На первом ее представлении был и я. Спектакль вышел грандиозный. Театр был освещен a giorno. Присутствовала вся царская фамилия. Ложи были пе-

реполнены петербургским beau mond'ом[28], а партер сановниками в лентах и звездах.

В чем состояла пьеса, я хорошенько не помню, помню только, что она кончалась сном какого-то моряка, увидавшего во сне Синопское сражение, завершившееся взрывом турецкой флотилии. Вот этот-то сон и был изображен живой картиной. Все это вышло очень эффектно, и гром рукоплесканий буквально потрясал театр. Произошло даже что-то хаотическое: оркестр играл народный гимн, а публика волновалась, как море, и кричала «ура!». Из царской ложи послышалось: «Автора», публика подхватила это, и вся зала наполнилась единым криком: «Автора». Н. В. Кукольника видеть мне не удавалось, но я знал его по портрету, помещенному в книге «Сто русских литераторов». Там на портрете он был изображен еще очень молодым человеком, бледным, со впалыми щеками, длинными волосами и крайне поэтичным лицом. И вот, когда принялись вызывать автора, я глаз не сводил с той ложи, где он должен был появиться, и заранее восхищался удовольствием увидеть его не на портрете, а в действительности. И вдруг, каково было мое разочарование, когда я увидел мужчину лет сорока-пятидесяти, одетого в форменный вицмундир чиновника, обрюзглого, с одутловатым лицом и с волосами, зачесанными на виски, как зачесывали тогда волосы мелкие чиновники.

«Нет, это не Кукольник,— думал я.— Это просто какой-нибудь театральный чиновник, вышедший объявить, что автора в театре нет».

Но когда чиновник этот начал раскланиваться, а публика аплодировать ему, а главное, когда минуту спустя этот же самый чиновник с зачесанными височками показался в царской ложе и когда государь милостиво протянул ему руку, которую тот не замедлил поцеловать, я убедился наконец, что то был действительно Кукольник.

В это же время произошел в Петербурге следующий казус, наделавший очень много шума и толков. Обнаружилась растрата в кассе инвалидов (достоверно не знаю, как называлось это учреждение). Главное начальство над этой кассой был генерал П., весьма заслуженный старик, увешанный орденами. Петербург не хотел верить, чтобы растрату эту совершил этот П., которого все уважали и в доме которого был весь Пе-

тербург. Однако это было так. И когда генерал П. узнал, что растрата обнаружена, то он немедленно отравился, не будучи в силах пережить позора. Он лежал уже мертвым на столе, когда последовало высочайшее повеление о лишении его всех чинов и орденов и об описи его имения, что и было приведено в исполнение уже над трупом генерала П. На похоронах этого генерала, кроме его семьи, не было никого, а на следующий день роскошное помещение его наполнилось разношерстной публикой, нахлынувшей покупать движимое имущество, назначенное к публичной продаже.

Я уже говорил, кажется, что в то время министром внутренних дел был двоюродный брат матери Дмитрий Гаврилович Бибиков. И вот на него-то мать и рассчитывала при определении нас с братом на службу. Мы с матерью несколько раз бывали у этого Бибикова, и он всегда радушно и ласково принимал нас. С матерью он был на ты и, увидав ее, всегда обнимал одною рукой, так как другую потерял в Бородинском сражении. Однако добродушные приемы эти кончились только тем, что Бибиков посоветовал матери поселиться в Москве, где и климат лучше петербургского, и имение купить выгоднее, и в то же время обещал написать письмо тамошнему губернатору Капнисту, чтоб он принял меня к себе на службу.

Поселились мы в Москве, на Пречистинке, в доме Бородинского подворья. После продажи имения сколько-то осталось у матери денег. И вот на эти-то остатки мать и купила небольшое подмосковное именьице, сельцо Владимировку. Именьице это было Подольского уезда, Московской губернии, и отстояло от Москвы верстах в пятидесяти и верстах в двадцати от уездного города Подольск. В подмосковной этой, сколько мне помнится, было десятин полтораста-двести, и сравнительно с Никольским, в котором было десятин тысяча, она казалась нам жалким лоскутком. Мать, однако, очень утешалась этой покупкой. Она выстроила там небольшой домик и принялась за хозяйство, развела перед домом палисадничек и называла этот клочок земли caisse anglaise. Она там проводила все лето, а приказчиком у нее был некто Петр Мизняв, он же был и кучер, и лакей, и даже повар,— словом, на все руки.

Иногда приезжал во Владимировку и я, но так как я состоял уже на службе при губернаторе Капнисте, то

отлучаться на продолжительное время мне было неудобно.

Во Владимировке был небольшой березовый лесок, в котором я и охотился, бывало, с ружьем по зайцам. Но после той охоты и после тех мест, переполненных дичью, какие имелись в Никольском, места во Владимировке казались мне столь жалкими, что я даже бросил охотиться.

Брат Александр Александрович тоже состоял на службе в Московской казенной палате и получал жалованье в месяц пять рублей; немногим больше получал и я, но так как мне давались кое-какие поручения, то, помимо жалованья, во время исполнения этих поручений, я получал суточных копеек по сорока.

Покойный губернатор Капнист был человек высокого ума и безукоризненной честности, но крайне доверчивый, и благодаря этой доверчивости ему и пришлось потерять свое место. Случилось это в Крымскую кампанию, когда все губернии отправляли ратников, которых и должны были вполне обмундировать. Капнист был назначен сенатором в Петербург, а на его место генерал-майор Николай Петрович Синельников.

Итак, мы вдвоем с братом получали очень мизерное жалованье: вероятно, и сельцо Владимировка давала мизерные доходы, почему и нет ничего удивительного, что мы жили на крошечной квартирке, состоявшей из трех маленьких комнат, считая в том числе и переднюю.

XI

Одновременно со мной служили в канцелярии губернатора Владимир Иванович Родиславский[29], Федор Максимович Руднев, Петр Николаевич Баташов. Независимо от службы Родиславский занимался переводами французских мелодрам, бывших тогда в большой моде; Руднев, в сотрудничестве с К. А. Тарновским, переводил водевили, Баташов также. Все эти господа были в то время известны в театральном мире и составили себе имя. В среду этих-то молодых людей попал и я и в сотрудничестве с В. И. Родиславским тоже принялся за переводы французских мелодрам. Первая моя переводная пьеса, драма в пяти действиях, «Нищая» была поставлена на Императорской сцене в Москве в

1854 году, за нее мы с Родиславским получили единовременного вознаграждения 500 рублей серебром.

Спектакль этот я отлично помню, а равно и то волнение, которое я испытывал и до и во время спектакля. Я уже сказал, что французские мелодрамы были в то время в большом ходу, а потому в ожидании, что публика будет вызывать переводчиков, мы с Родиславским тщательно завились и раздушились. Между прочим, во время этого спектакля случился со мной следующий казус.

Главную роль в пьесе исполняла г-жа Рыкалова. Во время какого-то действия у нее свалился локон и упал как раз у той кулисы, у которой я стоял; ничтоже сумнящеся, я поднял этот локон и собрался было выскочить на сцену, чтобы подать его Рыкаловой, но стоявший около меня Родиславский успел как-то поймать меня за фалду и не дал мне привести в исполнение мое решение.

Наконец драма кончилась и раздались аплодисменты и вызовы переводчиков. В то время вызываемые авторы и переводчики выходили не на сцену, а в директорскую ложу. И вот, заслышав вызовы переводчиков, мы с Родиславским, взволнованные и чуть переводя дыхание, вышли в директорскую ложу и, чуть не скрестив на груди руки, принялись раскланиваться с публикой.

После драмы «Нищая» шел какой-то водевиль, где участвовал Живокини [30]. У Живокини была такая фраза: «Эх ты, нищая!» — с которой он должен был обратиться к одному из действующих лиц, но Живокини ее изменил и проговорил так: «Эх ты, нищая, драма в пяти действиях!» В зале послышался хохот, аплодисменты, а меня эта фраза словно ножом по сердцу полоснула, так что я долгое время не мог простить Живокини эту шутку.

Затем в сотрудничестве с тем же Родиславским я перевел мелодраму Аниссе Буржуа и Мишеля Масона «Слепой». В каком именно году шла эта мелодрама, я не помню, помню только, что в ту же самую зиму, когда шла драма Островского «Гроза». Участвовали в «Слепом» И. В. Самарин [31], Шумский [32] и Н. М. Медведева (Н. М. Медведева и до сих пор еще состоит на службе при Московском Императорском театре). Драма эта шла в бенефис Самарина и имела значи-

тельный успех. Нас опять вызывали, и мы с Родиславским выходили раскланиваться с публикой. Драма эта, как видно из расчетных листов, получаемых мною из правления о-ва драматических писателей и композиторов, до сих пор дается в провинции и приносит мне известный успех.

Кстати, об этом обществе. В описываемое время русские писатели вообще получали нищенское вознаграждение, а драматические не получали и этого. Драматическим писателям платили только Императорские театры, частные же театры и провинциальные не платили ни гроша. Они ставили себе пьесы, разыгрывали их, получали с них доходы, а о вознаграждении авторов в каком бы то ни было размере даже и думать не хотели. И вот В. И. Родиславскому пришла мысль улучшить положение драматических писателей. Он написал устав общества драматических писателей и композиторов, прочитал этот устав А. Н. Островскому и др. писателям, и дело кончилось тем, что все принялись хлопотать об этом деле, устав был Высочайше утвержден, и с тех пор в Москве существует правление о-ва драматических писателей и композиторов. Председателем этого о-ва был единогласно избран инициатор этого дела В. И. Родиславский. В описываемое время в Париже издавалось театральное издание под названием Téâtre contemporain[33]. Вот из этого-то издания переводчики и почерпали более нравившиеся им пьесы, которые и переводили.

Постановка пьесы на Императорский театр обусловливалась в то время совсем иными порядками, чем теперь. В мое время в московской дирекции был инспектором репертуара Александр Александрович Пороховщиков. Этому-то Пороховщикову представлялась пьеса, он ее просматривал, и ежели пьеса ему нравилась, то представлял таковую при своем мнении в дирекцию Императорских театров в Петербург. Рассматривалась ли пьеса в Петербурге — я не знаю, но только помню, что все представления Пороховщикова одобрялись и дирекцией. Директором в то время был Гедеонов, а секретарем его некто Евгений Макарович Семенов, который, кажется, и был вершителем этого дела. Впрочем, я лично никогда не занимался хлопотами о постановке своих пьес на Императорскую сцену, всецело поручив это дело Родиславскому. Он подавал куда сле-

дует прошения, ездил даже раза два в Петербург, я же ограничивался только одним А. А. Пороховщиковым, с которым был знаком, у которого часто бывал и с которым почти каждый вечер встречался в Малом театре.

Однако нелишним считаю сказать несколько слов об исполнении этих переводных пьес на русской сцене. Драму L'Aveugle[34] я впервые видел на французском Михайловском театре в Петербурге и пришел в неописанный восторг как от самой пьесы, так и от ее исполнения.

На следующий же день я приобрел эту пьесу, а возвратясь в Москву, принялся переводить ее в сотрудничестве с Родиславским. После я видел эту пьесу на Московском Малом театре. Я называл уже исполнителей главных ролей. Это были тогдашние светила театрального искусства. В Петербурге эта пьеса шла при следующем составе: Слепого играл Максимов 1-й[35], а роль горбатого доктора Дорси — Самойлов[36], тоже светило петербургской сцены. Но тем не менее как в Москве, так и в Петербурге исполнение, по сравнению с французскими артистами, показалось мне крайне слабым: не тот ансамбль, не та обстановка и вообще не то впечатление.

Недавно как-то я разговорился с одним из провинциальных артистов про те времена, когда на московской сцене фигурировали такие громадные таланты, как Щепкин[37], Шумский, Самарин, П. М. Садовский[38] и др., и удивлялся отсутствию в наше время таких же могучих талантов.

— Да полно, так ли? — говорил артист (прибавлю, что артист весьма талантливый и опытный). — Да полно, так ли? Не виновато ли в этом время и сама публика, значительно воспитавшаяся и выросшая с тех пор. Мне думается, — продолжал он, — что если бы воскресли теперь умершие гиганты и заговорили бы на сцене теперь, при настоящей публике, то, пожалуй, они оказались бы слабее нас.

В словах этого артиста есть доля правды, но я, например, видел в Фамусове Щепкина и в той же роли того самого актера, о котором я сейчас говорю. Дело происходило за кулисами, и актер был даже в халате Фамусова, но — боже мой! — какая разница между ним и Щепкиным. Точно так же после Самарина я не ви-

дел Чацкого, а после Шумского не видел Хлестакова, хотя перевидел пропасть актеров в этих ролях.

XII

Однако заниматься переводами французских мелодрам мне скоро надоело и все хотелось что-нибудь написать такое, что бы можно было поместить в толстый журнал. В Москве в то время издавался М. П. Погодиным журнал «Москвитянин». С Погодиным я был знаком, но его журнал был чисто славянофильский, и попасть туда мне не удалось. И вот вдруг, словно на мое счастье, возник в Москве новый журнал, «Русский вестник», под редакцией Каткова. Журнал этот сразу стал на твердую почву и приобрел массу подписчиков.

С М. Н. Катковым познакомился я совершенно случайным образом. Он почти каждый день гулял по Пречистенскому бульвару, а мне по этому же бульвару приходилось проходить в канцелярию губернатора, которая помещалась при квартире губернатора, на Тверской, во Всеволодском переулке, во флигеле при доме Савенкова. От губернатора эта квартира была довольно далеко, так что мне приходилось проходить часть Пречистенки, Пречистенский бульвар, Арбатскую площадь, Никитский бульвар, Тверской бульвар и часть Тверской улицы; но тогда я был очень молод, ноги у меня были здоровые, и переход этот казался мне прогулкой, и совершал я его с большим удовольствием. И вот однажды, когда я сидел на скамеечке Пречистенского бульвара, ко мне подсел Катков. В лицо я его знал, но знаком с ним не был. Тогда ему могло быть лет под сорок.

— А вы, вероятно, на службу идете, молодой человек? — обратился он ко мне, посмотрев на мой портфель.

Я ответил утвердительно, а потом он спросил мою фамилию, а когда я назвал ему свою фамилию, он проговорил:

— Я слышал эту фамилию в Пензе... Вы не пензенский ли?

— Да, я родился в Пензе.

— А где вы служите?

— У гражданского губернатора.

— У Ивана Васильевича Капниста? — заметил он.—

Знаю, знаю, прекраснейший человек. Я очень хорошо знаком с ним. А в портфеле у вас бумаги, значит? — спросил он, улыбаясь.

У меня даже сердце замерло от восторга. В портфеле у меня действительно были бумаги, но в то же время в том же портфеле лежали и два рассказа, писанные мною еще в Никольском и о которых я говорил в начале моих воспоминаний. Меня так и подмывало сообщить об этих рассказах Каткову, но я оробел и ничего ему про них не сообщил.

Немного погодя он раскланялся со мною и ушел.

В то время Катков, а равно и редакция «Русского вестника» помещались в Кисловском переулке, в доме, ежели не ошибаюсь, Розен.

Это был небольшой каменный двухэтажный дом, о пяти окнах, окрашенный белою краской. Вход к Каткову был со двора.

Познакомившись с Катковым, я возмечтал воспользоваться этим и передать ему свои два рассказа. С этою целью я чуть не каждый день отправлялся в Кисловский переулок с твердым намерением побывать у Каткова и передать ему свои рассказы. Но стоило только подойти к дому Розен, как вся моя храбрость пропадала, и я откладывал свое посещение со дня на день. Несколько раз я даже всходил на крыльцо, брался за звонок, но рука моя не поднималась, и я снова уходил ни с чем. Однажды, когда я стоял на крыльце, собираясь позвонить, дверь вдруг отворилась, и на крыльцо вышел какой-то молодой человек с толстой папиросой в зубах. Увидев меня, он спросил:

— Вам кого угодно?

— Михаила Никифоровича,— ответил я робко.

— Его дома нет, но ежели вы имеете какое-нибудь дело до редакции, так я секретарь редакции,— и затем, подавая мне руку, прибавил: — Ардальон Васильевич Зименко.

Я познакомился с ним и скрепя сердце передал ему рассказ: «Пушиловский регент».

— Вы хотите поместить его в «Русский вестник»? — спросил Зименко.

— Хотелось бы,— ответил я, опуская глаза.

— Хорошо-с, я передам его Михаилу Никифоровичу. А вы понаведайтесь недельки через две. Редакция у нас помещается на антресолях.

И он указал мне на два крошечных окошечка, обращенных на двор.

— Я всегда сижу в редакции, а потому и обратитесь прямо ко мне.

Я распростился с Зименко и, словно на крыльях, полетел домой. Я ждал с нетерпением, когда наступит время, назначенное мне для получения ответа. Наконец две недели прошли, и я отправился в редакцию. Человек указал мне ход в редакцию, где я и встретил Зименко.

Редакция «Русского вестника» помещалась тогда в маленькой и низенькой комнатке, до того низенькой, что человек большого роста, думается мне, не мог бы установиться, не наклонив головы. Сверх того, секретарь, куривший крученые папиросы, до того надымил в этой комнатке, что я очутился словно в дымном облаке.

— Я за ответом пришел,— проговорил я с замиравшим от волнения сердцем.

Секретарь посмотрел на меня своими выпуклыми большими глазами, пустил мне в глаза густую струю дыма и спросил:

— Ваша как фамилия?

Я сказал.

— Ах да, помню! — проговорил Зименко. И, схватив со стола какую-то рукопись, прибавил:— «Пушиловский регент»? — И, похлопывая по рукописи рукой, спросил: — Эта?

Сердце у меня замерло, и у меня тотчас же мелькнуло в голове, что рассказ мой забракован. Но, минуту спустя, Зименко объявил мне, что Катков не успел еще прочитать повесть и попросил меня зайти снова недельки через две.

Так проходил я месяца два, и нетерпение мое росло с каждым днем все более и более.

Месяца два спустя я как-то нечаянно встретился с Зименко на том же Пречистенском бульваре.

— Ну что? — спросил я.

— Напечатан,— ответил Зименко.

— Как? Когда? — спросил я, растерявшись.

— В последнем номере.

Для приличия я кое о чем поговорил с Зименко, а затем, распростившись, чуть не бегом побежал в книж

ный магазин Глазунова, помещавшийся тогда в здании университета, на углу Никитской.

Там я подписался на «Русский вестник», забрал с собой последнюю книжку, где был напечатан «Пушиловский регент», и как сумасшедший бросился домой.

Когда я прибежал домой, у нас сидела наша знакомая, баронесса Прасковья Михайловна Ган. Я, конечно, прежде всего показал книгу, и когда Ган увидела мою фамилию, она раскрыла повесть и, прочитав заглавный лист, прибавила:

— Ну, что бы вам посвятить эту повесть мне?

— Я посвящу вам другую,— чуть не вскрикнул я. И, бросившись в свою комнату, схватил рассказ «Забытая усадьба» и торжественно в присутствии той же Ган надписал: «Посвящается баронессе П. М. Ган», а на другой день отнес этот рассказ в редакцию и передал Зименко.

В то время «Русский вестник» выходил два раза в месяц, и представьте мой восторг, когда в следующем месяце мой рассказ «Забытая усадьба» был напечатан. Я посмотрел, напечатано ли посвящение, и, убедившись, что напечатано, побежал уж не домой, а к баронессе Ган.

— Вот, извольте! — проговорил я, подавая ей книгу, за что и получил от нее поцелуй в лоб.

В описываемое время «Русский вестник» имел характер весьма либерального журнала и в нем печатались «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова. Салтыков в то время довольно часто бывал в Москве и у Каткова. Вот там-то и познакомился я с Салтыковым. Тогда ему было лет около сорока. Это был худощавый мужчина, немного выше среднего роста и отличавшийся веселостью и говорливостью. Часто бывая в редакции, мне неоднократно случалось читать «Губернские очерки» в рукописи, и я отлично помню, что в печати многое из написанного Салтыковым либо совсем выбрасывалось, либо исправлялось, потому что он не стеснялся в выражениях...

В той же редакции познакомился я с поэтом А. Н. Майковым. Тогда это был молодой человек с прелестным симпатичным лицом и крайне общительный и любезный. Помню я, он только что написал тогда легенду о Констанцском соборе, под названием «Приговор», которая и была напечатана в «Русском вестнике».

И вот эту легенду он при мне читал вслух, и надо сказать, что превосходно, и вообще был удивительный чтец своих произведений. Одновременно с этим он прочитал и свое новое произведение «Нива», которое тоже было напечатано в «Русском вестнике». Мне приходилось слышать чтение многих тогдашних литературных светил, в числе которых был и И. С. Тургенев, но лучше Майкова и Островского никто не читал.

Очень часто встречал я в редакции известного критика Аполлона Григорьева, который был с Катковым, кажется, в очень хороших отношениях. А. Григорьев был мужчина высокого роста, с открытым, энергичным лицом, с длинными волосами, которые всегда забрасывал правой рукой назад, и с реденькой бородкой. Говорил он всегда очень громко и сопровождал свои разговоры жестами и ежели говорил сидя, то поминутно вскакивал с своего места, закидывал назад волосы и энергично принимался ходить из угла в угол. Это был человек очень нервный, не допускавший возражений и горячо отстаивавший свои мнения, причем энергично ударял себя в грудь и так близко подступал к возражавшему, что тот невольно отступал от него. Мне думается, что это был человек желчный, так как худое и бледное лицо его было покрыто какой-то желтизной и глаза всегда были желтые.

Однажды я пришел к Каткову. Надо сказать, что в то время Катков был очень общителен и охотно принимал каждого, имевшего до него надобность. Узнав от человека, что Михаила Никифоровича нет дома, я спросил, не могу ли видеть хоть Зименко.

— Ардальон Васильич тоже куда-то вышли, но они сию минуту вернутся.

Я прошел в редакцию и увидел там какого-то старичка, тоже, как видно, поджидавшего Зименко. Старичок этот был крайне благообразного вида, чистенький, гладко выбритый, лысенький, с реденькими волосами, зачесанными по-старинному и взятыми с висков с целью прикрыть ими лысину. Старичок этот имел крайне ласковый и добродушный вид, так и казалось, что вот-вот сейчас старичок этот скажет какое-нибудь ласковое слово. Но нем был старинного покроя фрак, высокий галстук и старинного же покроя жилет, сверх которого перевешивалась бисерная цепочка от часов. В руках он держал какой-то довольно толстый сверток,

а из-под фрачного лацкана скромно выглядывала звезда. Едва успел я с ним раскланяться, как он, улыбаясь, спросил:

— Извините, молодой человек... Не служите ли вы при редакции?

Я ответил, что нет.

— Такая досада,— заговорил опять старичок, похлопывая рукописью и свертком,— был у Михаила Никифоровича — нет его дома...

— Сию минуту придет секретарь редакции, потрудитесь его подождать.

— Это вам лакей сказал... Он и мне то же сказал, что сию минуту, однако я здесь сижу более получаса, а моего милейшего Ардальона Васильевича все нет как нет... Это мой хороший приятель, малый действительно славный, да ветерок в голове попархивает...— и старичок добродушно хихикнул.— Молод еще,— прибавил он,— а кто же не отдавал дани молодости!

— Не могу ли я быть вам полезным? — спросил я старичка.— Мне необходимо подождать Зименко, и потому я могу с удовольствием передать ему ваше поручение.

Старичок поспешил меня поблагодарить.

— Я хотел было передать вот эту рукопись,— заговорил он, причем развернул ее, и я успел прочесть крупно написанное заглавие: «Бирюзовый перстенек» (или «Бирюзовое колечко», хорошенько не помню), и, снова свернув рукопись, он прибавил:— Сегодня мне недосуг, но передайте Зименко, что завтра об эту же пору я постараюсь быть либо у Михаила Никифоровича, либо у него...— и, протянув мне руку, он направился было к двери.

— Виноват,— остановил я старичка,— а как об вас сказать?

— Иван Иванович Лажечников.

Это была первая и последняя моя встреча с автором «Ледяного дома», «Басурмана», «Последнего новика» и проч., так как вскоре после того он умер.

Какая участь постигла «Бирюзовое колечко», я тоже не знаю, ибо в печати я нигде не встречал его.

Хозяйственною частью редакции заведовал Леонтьев, тогдашний профессор. Это был человек крайне расчетливый и с педантической строгостью относившийся к своему делу. Он вел все расходы редакции, и каж-

дая копейка у него записывалась в памятную книжечку, которая всегда находилась при нем в кармане.

Надо сказать, что «Русский вестник» сразу приобрел массу поклонников и сумел уловить новые веяния, которыми было объято тогдашнее общество. «Губернские очерки» Салтыкова читались нарасхват во всех слоях общества, и не было ни одного дома, где бы вы не встретили «Русского вестника». Выхода книжки все ждали с нетерпением, а более рьяные читатели буквально осаждали книжные магазины Базунова и Глазунова.

Михаил Никифорович Катков, дотоле неизвестный, вдруг сделался первой литературной величиной. Не прошло двух-трех лет, как редакция «Русского вестника» оставила свою скромную квартирку в Кисловском переулке и переехала в один из переулков Поварской, заняв там обширное помещение. В чьем именно доме поместилась редакция вместе с М. Н. Катковым — не помню, но помню, что где-то недалеко от Собачьей площадки. Вход в редакцию был уже не со двора, а прямо с улицы, а кабинет М. Н. Каткова помещался в просторной и светлой комнате, тоже обращенной окнами на улицу.

XIII

Поговорю о собственном житье-бытье в Москве. Я продолжал служить в канцелярии губернатора и исполнять кое-какие, возлагаемые на меня поручения; поэтому большую часть года я проводил в разъездах, а так как Владимировка, как я уже сказал, находилась в Подольском уезде, то я всегда старался, чтобы поручения получить либо в Подольском, либо в смежном Серпуховском; благодаря этому мне представлялась возможность часто навещать свою мать, которая обыкновенно с ранней весны и до поздней осени проживала во Владимировке. Мать развела там большой огород и занималась им с увлечением. Помню я, что во время коронации государя императора Александра II мать получила с своего хозяйства значительный доход и весь ее птичий двор и огород уходил на продовольствие австрийского посольства.

Я все-таки не покидал литературной работы и, не ограничиваясь «Русским вестником», послал один свой

рассказ, «Лесник», в «Современник»», который и был там напечатан, а другой — «Мертвое тело» — в «Отечественные записки». «Современник»» издавался в то время Панаевым и Некрасовым, а «Отечественные записки» А. А. Краевским. Но, живя в Москве, я ни с той, ни с другой редакцией знаком не был. Начинающих писателей в мое время в Москве не было, а потому, не имея сверстников, я и не мог завязать в литературной среде дружеских связей. Все мои сверстники, которых я поименовал выше, занимались переводами. И вот из числа этих-то переводчиков я состоял в особенно дружеских отношениях с В. И. Родиславским, каковые отношения и сохранились у нас вплоть до его смерти. Могу еще назвать одного из своих сверстников, князя Григория Васильевича Кугушева, написавшего повесть «Корнет Отлетаев», имевшую успех и тоже печатавшуюся в «Русском вестнике», и несколько театральных пьес, из числа которых шла с большим успехом на Московском Малом театре комедия «Приемыш».

Заглавную роль в этой пьесе исполняла в то время Колосова, талантливая актриса, любимица тогдашней Москвы. В водевилях она была неподражаема, и живая, бойкая веселая игра ее положительно приводила всех в восторг.

Итак, отсутствие сверстников в литературной среде, конечно, не могло благотворно повлиять на развитие моего литературного вкуса; иной раз и хотелось бы по душе поговорить с кем-нибудь, посоветоваться, помечтать даже, а кругом меня все были старики, которые на меня смотрели, как на мальчишку. Поэтому мне приходилось испытывать некоторого рода одиночество. В приеме лучшими журналами моих произведений мне очень везло, доказательством чего может быть то, что в течение моей с лишком сорокалетней деятельности ни одно из моих произведений не было забраковано и все, что выходило из-под моего пера, все было напечатано; по отношению же к литературным сверстникам мне счастья не было.

У моего приятеля Родиславского, у которого я часто бывал, между прочим, часто встречался с А. Н. Верстовским[39]. Там же встречался я и с Николаем Григорьевичем Рубинштейном, который также был и моим товарищем по службе в канцелярии губернатора. Это был тогда еще совсем юноша, хотя и был женат, ежели

не ошибаюсь, на госпоже Хрущовой. Рубинштейн[40] был очень веселый товарищ и приятный собеседник. Он постоянно нам играл на рояле, и так как я всегда был плохим знатоком музыки, то мне казалось, что он слишком стучал по клавишам, тем более что я не особенно любил игру на рояле, а предпочитал пение.

Да и немудрено было в то время не увлекаться пением, когда мне приходилось слышать таких певцов, как Бозио, Гризи, Тамберлик, Марио, Кальцоляри, Лаблаш[41].

XIV

Не могу умолчать о газете «Современность», издававшейся в то время в Москве. Издателем этой газеты был некто Н. П. Коренев. Программа газеты предполагалась весьма обширная. В виде приложения к этой газете обещан был земледельческий журнал, а самая газета должна быть иллюстрированной, и, сверх всего этого, каждый подписчик имел право приходить читать в редакцию, при которой имелась особенная библиотека и все более распространенные газеты, как русские, так и иностранные. Редакция сняла под свое помещение большой дом на Поварской улице и успела запастись лучшими сотрудниками. Секретарем этой редакции был тот же самый Зименко, с которым я уже познакомил читателя. Этот-то Зименко затащил и меня в эту редакцию, в которой я изображал и сам не знаю что: не то редактора, не то секретаря. Моей обязанностью было прочитывать беллетристические произведения и сообщать Кореневу свое мнение, а также вести театральный отдел. Помню, что в числе этих произведений была какая-то повесть Кулиша, повесть Славутинского[42] «Беглянка» и другие. Первый номер вышел действительно громадный, и Коренев задумал издание не по средствам, да и вообще повел дело слишком размашисто. Он был большой театрал, большой хлебосол и большой поклонник тогдашней московской знаменитости Л. П. Косицкой[43]. С утра и до ночи наша редакция была переполнена гостями, и всех этих гостей Коренев поил и кормил. И вот кончилось тем, что издание прекратилось на четвертом номере, который не был выпущен из типографии за неплатеж денег. Мне даже не хотелось говорить об этом издании, но я не считаю

вправе замалчивать этот факт, желая быть по возможности точнее в описании данной эпохи.

XV

30 августа 1856 года Москва праздновала священное коронование государя императора Александра II. Во время въезда государя в Кремль я находился в здании губернского правления возле Иверских ворот и сидел у того окна, мимо которого совершалось торжественное шествие. До дня коронования государь император и государыня императрица помещались в Петровском дворце, а в день коронования совершили свой торжественный въезд в Москву и в Кремль, где происходило коронование. На Ходынском гулянье я не был, потому что была дурная погода, но был на фейерверке в Лефортовском парке, которым и заканчивалось празднество коронования. Фейерверк предполагался грандиозный, но дурная погода помешала фейерверку. Дождь был небольшой, но густые тучи положительно висели над Москвой. Фейерверк был подожжен государыней императрицей, и в парке послышалась трескотня разных ракет, бураков и т. п. Но мне, стоявшему недалеко от Красных ворот, не удалось видеть ни одной ракеты. Все они поднимались и тотчас же утопали в облаках, среди которых и лопались, эффектно освещая облака всеми цветами радуги. Вот и все, чем могла любоваться масса народа, собравшаяся на фейерверк. Затем полил дождь и залил все плошки, которые единственно составляли тогдашнюю иллюминацию.

В 1856 году по всей России производилась X народная перепись, и я был командирован для проверки ревизских сказок (как назывались тогда ведомости по переписи) в Дмитровский уезд, Московской губернии. Я было долго отнекивался от этого поручения, прося назначить меня в Подольский уезд, но ходатайство мое почему-то не было уважено, и я волей-неволей отправился в Дмитров. Это был захолустный городишко, добраться до которого нужно было по грунтовой дороге. Поехал я туда осенью: грязь, слякоть, и я завязал чуть не на каждом шагу. В тогдашнее время существовали еще городничие, исправники, а прокуроров и их товарищей заменяли стряпчие. Как теперь, помню: исправником в Дмитрове был старичок Этинген, городничим —

какой-то раненый офицер Гродецкий. Исправники и в то время избирались дворянством и непременно должны были принадлежать к числу местных помещиков. Этинген был тоже из мелких помещиков, ходил в какой-то военной форме, но ничего воинственного в наружности его не было. Это был старик лет пятидесяти, имел жену и дочь. Жил он в каком-то большом доме, и при доме был флигель комнатах о шести, и вот в этом-то флигеле гостеприимный исправник и предложил мне расположить свою лейб-квартиру.

Городничий Гродецкий был старик глухой (кажется, он был контужен), имел жену и дочку. А стряпчий, фамилию которого забыл, имел трех дочерей. Вообще Дмитров славился тогда обилием барышень. Помнится мне, у одного секретаря нижнего земского суда было таковых чуть ли не десять. Нечего говорить после этого, что мы проводили время очень весело. Каждый вечер устраивалась у кого-либо вечеринка; мы танцевали, распевали разные романсы, и время летело незаметно. Поручение это продолжалось всю зиму, так как приходилось побывать чуть ли не в каждой деревне.

Народная перепись производилась следующим порядком: списки казенных крестьян составлялись местными волостными правлениями и проверялись сперва окружными начальниками, а потом уже командированными на этот предмет губернаторскими чиновниками. В городах и посадах такие списки составлялись городскими и посадскими управлениями, а в имениях помещиков вотчинными конторами. По-настоящему следовало бы ездить из села в село, но, откровенно говоря, мы это упростили и созывали народ в волостное правление, в котором и производили проверку списков допросами каждого домохозяина, причем непременно присутствовали приходский священник и волостное начальство. Тем же порядком производилась проверка как в имениях помещичьих, так и в городах и посадах. Как видите, поручение не из веселых, а в осеннее и зимнее время даже весьма тяжелое. Мне приходилось осенью вязнуть в грязи, а зимой — в сугробах. К довершению всего все дмитровские помещики, проводившие обыкновенно зиму в Москве, отсутствовали, так что мне зачастую приходилось ночевать в пустых и холодных помещичьих домах. Но в помещичьих домах я все-таки

находил довольно опрятное помещение и сносную пищу, зато, попав в деревню, сплошь да рядом приходилось ночевать в грязных и вонючих избах, а уж про пищу и говорить нечего. Я всегда возил с собой икру, семгу, сыр, и они мне до того надоели, что я долгое время не мог на них смотреть...

Пришлось мне как-то ехать ночью по еловому лесу. Дело было зимой. Ночь была лунная, словно серебряная какая-то. Покрытые инеем ели, казалось, были убраны хрустальными блестками. Дорога превосходная, ни одного ухаба... И я, закутавшись в шубу, положительно любовался расстилавшейся передо мной картиной. Вдруг в лесной чаще мелькнул огонек, другой, третий, четвертый. Сидевший на козлах казак первый заметил их.

— Ваше благородие,— проговорил он, обратясь ко мне,— волки!..

И не успел он это проговорить, как из леса вышла целая стая волков. Мы насчитали их шестнадцать штук. И, грешным делом, я струхнул. Стая вышла на дорогу, посмотрела на нас, навострив уши, а когда мы проехали мимо, вдруг принялась валяться по снегу. Деревушка, в которую мы должны попасть, была возле, и мы благополучно до нее доехали. Там пришлось мне переночевать, а утром, проснувшись, мы узнали, что в эту же ночь было перерезано волками несколько голов мелкого скота и даже корова или лошадь.

И так я, подобно Чичикову, переезжал из одной деревни в другую с той только разницей, что приходилось говорить не о мертвых душах, а о пропускных. Сколько мне помнится, самыми аккуратно составленными списками были списки, составленные в помещичьих имениях.

Я только очень жалел, что ни одного из этих помещиков не было дома, а приходилось проводить время либо с управляющими их, либо с приказчиками. Зато я до сих пор хорошо помню все эти помещичьи усадьбы с красивыми барскими домами, парками и прекрасными надворными постройками. Почти возле каждого помещичьего дома возвышалась церковь, построенная владельцем имения или его отцами, и иногда эти церкви соединялись с домами красивыми аллеями. В усадьбах были оранжереи, теплицы. И вот, помнится мне, попал я в одну из таких оранжерей. Боже мой,

как я хорошо себя почувствовал, когда увидал себя окруженным цветущими персиками, лимонами и померанцевыми деревьями, запах от которых так и разливался по всей оранжерее. Солнце ярко светило, по уставшему и замерзшему телу разливалась приятная теплота. Так бы и не вышел. А тут казак: «Пожалуйте, ваше благородие, лошади ждут». И вот опять эти валенки, эти шубы и холодный морозный воздух...

Помню, пришлось мне попасть в одну лесную деревушку, и, приступив к проверке списков, я был удивлен какими-то неслыханными именами: вдруг какая-нибудь баба называется Конкордия, Голендуха, Перпетуя, Аристид, Полиевкт, Сосипатр и т. п. Это меня заинтересовало.

— Да что это у вас все какие имена чудные? — спрашиваю я крестьян.

Крестьяне расхохотались.

— Это все по насердкам[44], — загалдели они все разом. — Батюшка у нас был старичок... помер, царство небесное! — осерчал он на нас, покойник, за чтой-то да вот и надавал нам таких имен, которых мы и вымолвить не умеем.

И вот так-то я блуждал целую неделю, а по субботам являлся в Дмитров и принимался за танцы и романсы. Была еще в Дмитрове аптека, принадлежавшая вдове аптекарше, у которой хозяйствовал какой-то провизор. Аптека эта в Дмитрове играла роль ресторана. И как, бывало, пробьет двенадцать часов, так мы сейчас в аптеку. Провизор изготовлял какого-то особого сорта водку, которая всем нам очень нравилась. Подавался пирог, приличная закуска, являлись городничий и исправник, и мы преблагодушно пировали в этой аптеке. Была даже и музыка, так как бойкий провизор довольно изрядно играл на фортепиано.

Как, однако, ни весело жилось в самом Дмитрове, но все-таки я уезжал на короткое время в Москву и непременно потрафлял туда к театральным маскарадам, до которых был великий охотник и на которых в то время особенно проказничали известный скульптор Рамазанов и Калошин, бывший редактор «Зрителя». Последний проделывал такие штуки, что бывший тогда генерал-губернатором граф Закревский не знал, бывало, что с ним и делать.

Так провел я в Дмитрове всю зиму до великого по-

ста, а великим постом переселился в Сергиево-Троицкую лавру, так как она тоже Дмитровского уезда, где мне требовалось проверить перепись Троицкого посада и приписанных к лавре крестьян. Избрал я для этого великий пост с той целью, чтобы поговеть в лавре. Принялся я за дело после говенья, и квартира мне была отведена в лаврской гостинице на площади возле лавры. Гостиница эта, кажется, существует и теперь. Как звали тогдашнего настоятеля лавры, я забыл, но, помнится мне, что он был светского звания, из фамилии князей Грузинских. Это был очень красивый монах, прекрасно образованный и весьма любезный и гостеприимный. Я довольно часто бывал у него, и он меня познакомил со всеми достопримечательностями лавры и со школой живописи, которая в то время только что была открыта. Мне особенно понравилась там живопись по тисненому золоту. Из богатств Троицкой лавры меня более всего поразило множество драгоценных камней, коими украшены церковные облачения, и масса жемчуга, сохранявшегося в каких-то простых кадках.

Не раз случалось мне обедать в лаврской трапезной одновременно с монахами, и всегда обеды эти буквально поражали меня строгой и величавой обстановкой. Молчание царствовало гробовое, и только чтение молитв одним из монахов, однообразным ритмическим тоном, нарушало эту тишину. Откровенно сказать, на меня это действовало как-то тяжело и подавляюще.

В лавре мне пришлось прожить недели две-три. Большую часть времени я проводил в лавре, а разъезды мои ограничивались только одними окрестностями. В одну из таких-то поездок, а именно в ту ночь, когда бывает стояние Марии Египетской, мне пришлось всю ночь простоять в зажоре.

Лощина, в которую мы попали, была как будто не особенно глубока, но выбраться из нее, несмотря на все наши усилия, мы не могли. Кончилось тем, что утомленные лошади завязли по самые спины в мокром разрыхлевшем снегу, а сани наши начали понемногу наполняться водой. Ночь была темная. Неподалеку от того места, где мы застряли, торчала какая-то тощая береза, и вот ямщик и сопровождавший меня казак, по пояс шлепая в воде, добрались как-то к этой березе и принялись ломать ее сучья с целью развести костер и

хоть сколько-нибудь обогреться. Но костер горел плохо и весьма скупо согревал нас. Наконец мы пожгли все спички, какие у нас имелись, и пришлось сидеть в темноте. Сани между тем наполнились водой, и сидеть в них не было возможности. Я кое-как перебрался и, уже стоя на козлах, провел остаток ночи. Но сбегавшиеся со всех сторон ручейки наконец залили и козлы. А в какой-нибудь версте горели огни в посаде. Как мы ни старались докричаться кого-нибудь, но помощи ниоткуда не дождались. И только когда рассветало, к нам подъехал какой-то обоз, который и выручил нас из беды. Однако беда эта все-таки прошла не бесследно: я схватил ножной ревматизм, а казак — горячку. Чем отделался ямщик, я не знаю.

XVI

Этим печальным инцидентом и окончилась моя командировка, и я поспешил в Москву к предстоящему празднику пасхи. А в мае месяце того же года вынужден был ехать на Кавказские Минеральные Воды, так как ревматизм у меня разыгрался до такой степени, что правую ногу мне свело, и ходить без помощи палки или костыля я не мог. За описанную командировку я получил от казны довольно порядочную сумму прогонных и суточных денег, а потому и не замедлил с поездкой на воды.

Я нашел себе попутчика, некоего купца Плотникова, который тоже ехал в Пятигорск лечиться от ревматизма и тоже едва ходил. Тогда не было еще ни железных дорог, даже не везде были шоссейные пути, а потому от Москвы до Пятигорска мы тащились двенадцать суток день и ночь и только дозволили себе один раз переночевать в Ставрополе-Кавказском и потому только, что нам отказали в почтовых лошадях, так как в то время на Кавказе было не совсем спокойно. В свое время поездка эта была мной описана и печаталась в «Московских ведомостях», редактором которых был В. Корш.

Особенное впечатление на меня произвела степь Войска Донского. Тогда это была действительно степь, в полном смысле этого слова. Ехали мы по этой степи дней пять-шесть. Почтовые станции помещались в казенных зданиях, довольно обширных и приличных, а

кругом степь и степь... Приедешь, бывало, на станцию: кругом стада рогатого скота, целые гурты коров, а добиться молока нельзя и есть нечего. Попутчик мой, человек болезненный, а потому и раздражительный, выходил из себя и чуть не на каждой станции ругался на чем свет стоит:

— Что же это за порядки? — горячился он.— На что это похоже: кругом стада ходят, а у вас молока нет!

— Да ведь это, сударь,— отвечал смотритель,— нагульные гурты, их не доят-с, а нагуливают для мяса.

— И мяса тоже нет...— горячился попутчик.

Действительно, есть было нечего, и мы почти голодали, когда приходилось совершать переезды донскими землями. Зато, прибыв в Аксайскую станицу, мы роскошно пообедали. Аксайская почтовая станция помещалась как раз на берегу Дона, через который нас и перевезли на пароме. Как только причалил паром к берегу, мы тотчас же сошли с парома, купили у паромщика животрепещущих стерлядей, небольшого осетра. а придя на станцию, заказали себе уху и разварную осетрину. На наше счастье, жена смотрителя оказалась искусною кухаркой и изготовила нам такой обед, что любо. Достали бутылку отличного цимлянского вина (такого цимлянского мне никогда потом не случалось пить), оно было розового цвета и играло не хуже любого шампанского. Напившись и наевшись, мы снова сели в тарантас и продолжали свой путь. В Ставрополь мы приехали ночью, и путь наш лежал мимо какого-то бульвара. Бульвар этот бросился мне в глаза своими большущими деревьями, почти сплошь покрытыми какими-то белыми цветами, распространявшими сильный аромат. В темноте я не мог рассмотреть, что это были за деревья, и порешил, что это черемуха; но каково же было мое удивление, когда утром я увидал, что то была не черемуха, а белая акация, о которой я имел представление как о кустарнике.

Как я уже сказал, выехать из Ставрополя нам ночью не удалось, так как татары пошаливали, как объявил нам смотритель, а потому мы и должны были там ночевать. Гостиница попалась нам довольно доброкачественная, а потому мы, столько ночей не спавшие, спали как убитые, часов же в девять утра отправились дальше.

Как только выехали мы из Ставрополя, показалась

и снеговая цепь гор, засиявшая перед нами, будто выкованная из серебра и золота, хотя до этого хребта считается более двухсот верст. День был превосходный, солнечный, и я не мог досыта насмотреться на эту никогда не виданную мною картину. После Ставрополя и характер местности значительно изменился: дорога то взбиралась на гору, то спускалась в лощину, то снова поднималась. Вместо русского ямщика, в зипуне или рубахе, на козлах торчал уже казак в бешмете и папахе. Да и езда самая совершалась иначе. Быстрые и чуть не дикие кони мчались как вихрь, а гладкая, каменистая дорога была словно шоссирована. Вдоль дороги беспрестанно возвышались сторожевые пикеты, на вышках которых непременно стоял вооруженный казак в черкесской папахе. Пикеты эти были построены так, что от одного был виден другой, и как только где-либо замечался какой-нибудь беспорядок, то в ту же минуту давался сигнал, который тотчас же показывался и на других пикетах. Для непривычного глаза все это казалось очень необыкновенным. И мы с попутчиком нетерпеливо ожидали, что вот на пикете выкинут сигнал и мы будем свидетелями, а может быть, и жертвами внезапного нападения татар. Однако нападения никакого не было, и на двенадцатые сутки мы благополучно добрались до Пятигорска.

XVII

На первых порах мы остановились в гостинице Найтаки.

Пообедали там, переночевали, а на другой день мой попутчик отправился отыскивать себе квартиру, а я порешил остаться в гостинице, осмотреться, познакомиться с городом и только тогда приступить к подыскиванию себе дешевенькой квартирки. Гостиница Найтаки как раз была на бульваре, который ведет к Елизаветинскому источнику и возле которого помещаются Ермоловские ванны. По вечерам на этом бульваре играла музыка, почему туда и собирался весь Пятигорск и приехавшие больные. Попал и я на музыку.

Первый, встретившийся мне на бульваре субъект немало удивил меня. Это был какой-то господин в пальто и картузе, шедший в сопровождении следующих спутников: собаки, кошки и журавля. Потом мы с ним

встречались почти ежедневно, и я, конечно, присмотрелся к нему. Немало удивили меня и тамошние куаферы. Приехав в Пятигорск, я отправился побриться и зашел в первую попавшуюся мне цирюльню, как назывались тогда куаферы. Куафером оказался армянин. Я объявил, что мне надо побриться.

— Можно,— сказал тот и жестом указал мне на улицу, а вслед за этим вынес на улицу и стул, проговорив: пожалуйста.

— Как, на улице? — удивился я.

Но куафер удивился еще более моему недоумению и, вытаращив глаза, бессмысленно уставился на меня.

— Где же? — говорил он,— не здесь же.

Делать было нечего, я вышел на улицу и уселся на поставленный мне стул. Цирюльня эта была как раз на том же бульваре, о котором я говорил. Армянин накрыл меня какой-то грязной простыней, намылил мне щеки и, наточив бритву, принялся меня брить, причем свободной рукой уцепил меня за нос, за который и поворачивал мою голову, по мере надобности, в ту или другую сторону. И все это совершалось на виду гуляющей публики и под звуки музыки.

Немало поразил меня бульвар и количеством негодующих. Военные большей частью были либо с повязанными руками, либо с забинтованными головами, либо с простреленными насквозь щеками. Это все были раненые в стычках с горцами. Претяжелое впечатление производили все эти больные, еле двигавшиеся под звуки веселой музыки.

На этом-то бульваре я и познакомился с каким-то адъютантом, Николаем Васильевичем Манаенко. Он тоже пописывал, и я читал в рукописи некоторые его рассказы из кавказской жизни. И некоторые из рассказов его не лишены были литературных достоинств. Мы с ним познакомились быстро и даже быстро сдружились.

Он постоянно служил в Пятигорске и был, конечно, знаком со всем городом. Он-то вот и нашел мне квартиру, в которой я и поселился вместе с одним моим товарищем по гимназии. Тот же Манаенко познакомил меня, между прочим, и с госпожами Верзилиной[45], Шан-Гирей[46] и другими, игравшими некоторую роль в жизни Лермонтова, память о котором живо еще сохранилась в жителях Пятигорска. Почти в каждом доме

можно было встретить альбом с собственноручными стихотворениями поэта.

Но указать место дуэли Лермонтова все-таки мне никто не мог, и место это определяли следующими словами: там, за городом, на склоне Машука, недалеко от кладбища; но склон Машука занимает очень большое пространство, и таковое указание нисколько не помогло мне отыскать это место.

В то время Пятигорск был очень маленький городок, состоявший из трех-четырех улиц, не больше. Самая главная улица была, конечно, та, посреди которой был бульвар. Городские домики были незавидные, большей частью одноэтажные, и, кроме каких-то казарм, никаких двух- или трехэтажных зданий не было. На конце бульвара на небольшой площади помещался городской театр, в котором, однако, несмотря на лечебный сезон, никакой в то время труппы не было. Но об этом театре мне придется говорить впоследствии, так как мне пришлось участвовать в одном спектакле с благотворительной целью.

Нечего говорить, что я был очень рад встретить в Пятигорске своего бывшего товарища, Сушкова. Он был очень недоволен Кавказом или, правильнее сказать,— кавказским населением.

— Я совсем не привык,— говорил он,— видеть такой народ... В Пензе у нас народ мягкий, приветливый, а здесь все с аршинными кинжалищами ходят, нахмуренные, надутые, сердитые. На пензенского человека смотреть весело: рожа улыбающаяся, разговор мягкий, а здесь черт его знает, что он там по-татарски бормочет, и не поймешь.

Когда я почувствовал облегчение в ноге, я позволил себе совершать прогулки верхом. Сперва я разъезжал по окрестностям Пятигорска, а потом уже предпринимал и более отдаленные прогулки. Так однажды целой компанией мы совершили экскурсию на вершину горы Бештау с тем, чтобы с вершины этой полюбоваться окрестностями; поэтому мы поехали на Бештау после обеда верхами, а некоторые на ишаках... Я тоже взял себе ишака.

Взбирались мы на вершину довольно долго, так что прибыли туда в сумерки. Пришлось ночевать на вершине Бештау. Ночь мы провели превосходно, веселились, как никогда, пели и даже танцевали. Наконец мы улеглись

на чем попало и, утомленные, заснули как убитые. Но каково же было наше разочарование, когда, проснувшись, мы увидали себя как будто прилепившимися к какому-то маленькому островку, носившемуся на облачном океане: повсюду виднелись только бродившие облака, да над нами светлое лазурное небо. Не только не было видно снежного хребта, но даже исчезли куда-то и окружавшие нас горы. Но вот багровое солнце облило своими лучами тучи, нагрело дотоле влажный воздух, а полчаса спустя тучи куда-то исчезли — и перед нами открылся восхитительный ландшафт: прямо перед нами сиял снеговой хребет, налево белелся своими домиками Пятигорск, а позади нас — мрачный, нахмурившийся Машук. К обеду мы были уже опять в Пятигорске.

Поездка эта разохотила меня на прогулки. Мне очень хотелось попасть в какой-нибудь татарский аул и посмотреть на житье-бытье горцев. Поблизости Пятигорска проживали так называемые мирные черкесы, но все-таки этим мирным черкесам нисколько не мешало творить самые беззаконные дела. Мало того что они угоняли скот из Пятигорска, но даже сплошь да рядом похищали людей, передавали их в горы немирным черкесам, а потом вымогали за них крупный выкуп. Поэтому-то поездки в аулы были тогда не совсем безопасны и ради безопасности необходимо было заручиться каким-нибудь очень благонадежным кунаком. Такого кунака мне рекомендовал Манаенко.

И вот мы с кунаком отправились верхом в какой-то аул верст за пятьдесят от Пятигорска, названия которого не помню. Аул оказался самой негодной деревушкой, лепившейся по склону какой-то горы. Не было ни одной порядочной сакли, а о дворах нечего и говорить. Сакли в беспорядке были разбросаны здесь и там, и никакого признака улицы я не видал. Провожатый мой завез меня к какому-то своему приятелю (кунаку), который и принял нас весьма радушно и даже угостил чаем, который я пил только ради приличия, чтобы не обидеть приятеля. Чай этот был сварен в котле на костре, и в довершение всего в этот чай хозяин, желавший угостить нас как следует, запустил преисправный кусок бараньего сала. Угощение это происходило в сакле, где, кроме хозяина, меня и моего провожатого, не было никого, а мне очень хотелось посмотреть на

костюмы черкешенок, а равно и на их житье-бытье. Я обратился с этой просьбой к моему провожатому, изрядно говорившему по-русски, и просил его передать хозяину о моем желании, но — увы! — желание мое не только не было уважено, но даже вызвало негодование со стороны хозяина. Оказалось, что постороннему человеку смотреть на их женщин считалось непристойным. Я поспешил извиниться и вскоре стал собираться домой. Я распростился с хозяином, поблагодарил его за гостеприимство и вышел из сакли, возле крыльца которой (ежели можно назвать крыльцом низенькую полуразвалившуюся дверь, служившую выходом из сакли) меня ожидал уже кунак с лошадьми. Несколько чумазых ребятишек в одних рубашонках и с босыми ногами высыпали из сакли посмотреть на приехавшего гяура. Надо сказать, что приехал я в аул в складной шляпе. Еще раз распростившись с хозяином, я махнул шляпой, и она с легким шумом расправилась. При виде этой шляпы, которуя я надел на голову, мальчишки подняли удивленный крик и неистово расхохотались; расхохотался и сам хозяин, снял с меня шляпу, принялся с любопытством рассматривать ее и убедительно просил меня повторить этот фокус со шляпой. Вся эта история кончилась тем, что я увидал не только всех женщин семейства моего хозяина, но чуть ли не всех красавиц аула.

Я не успел опомниться, как увидал себя буквально окруженным черкешенками, одна перед другой старавшимися посмотреть на мою диковинную шляпу, так что мне под конец все это надоело. Однако я все-таки успел заметить, что в толпе окружавших меня черкешенок было несколько поистине красавиц, но — увы!— красавицы были настолько грязны, настолько растрепаны, что теряли все свое очарование. Хозяин проводил меня за аул и, пожелав мне благополучного пути, крепко пожал мне руку, и мы расстались.

Но каково же было мое удивление, когда на другой день хозяин этот приехал ко мне в Пятигорск отдать мне визит и привез мне в подарок от своей жены шелковое одеяло, ею самой сотканное. Одеяло это долго хранилось у меня. Пришлось и мне отдаривать его. Я купил серьги и несколько перстеньков и отослал их жене хозяина.

XVIII

Недели две-три спустя после этого по Пятигорску прогремел слух, что на днях приедет в Пятигорск тогдашний наместник Кавказа князь Барятинский. И все моментально всполошилось. Принялись за чистку домов и улиц,— словом, поднялась суматоха. На бульварах только и разговоров было, что об этом, а начальство начало хлопотать об устройстве князю встречи. В Тифлисе в то время была итальянская опера, которую князь Барятинский очень любил и которой протежировал. Решили пригласить ежели не всю оперу в полном ее составе, то хоть несколько лучших певцов и певиц. Затем порешено было устроить благородный спектакль. Устройство этого спектакля было поручено Н. В. Манаенко, который действительно был большой театрал и сам недурной актер. В этом-то спектакле мне и пришлось принимать участие.

Здание театра было тщательно почищено и, где следует, подновлено, и даже сделаны некоторые новые декорации. Из числа приехавших больных оказался художник (фамилии которого не помню), который охотно взялся за написание декораций. Сверх этого, был выписан из Тифлиса какой-то пиротехник, который и должен был устроить блестящий фейерверк. Все это, разумеется, делалось на счет города и отчасти на счет правления минеральных вод. Спектакль был составлен из следующих пьес: «Разлука — та же наука», комедия в 2-х действиях в стихах, «Цыганка» — водевиль с пением и «На минеральных водах» — водевиль с куплетами. В комедии «Разлука — та же наука» я должен был изображать дядюшку, моего племянника — Манаенко, а его жену — княгиня Святополк-Мирская. В «Цыганке» я не участвовал, а в водевиле «На минеральных водах» должен был изображать комическую роль какого-то приехавшего на воды больного и ходить в больничном халате и колпаке. В чем заключался этот водевиль, я забыл, но зато отлично помню последний его куплет, которым я вызвал тогда целый гром рукоплесканий. Вот чем кончается этот водевиль:

Я чуть дышу, лишаюсь сил,
И так меня ошеломили,
Что даже я и не спросил:
В каком играл я водевиле.

Хорош ли он, иль не хорош,
Ай справиться? — Ей-богу, справлюсь...
Нет, что-то пробирает дрожь...
Я в ванну, знаете, отправлюсь.

Приезд князя Барятинского в Пятигорск совершился весьма эффектно. Я был в это время за городом и прогуливался по далеко расстилавшейся равнине, примыкавшей к городу. С этой-то именно стороны и должен был приехать князь. Случилось так, что не успел я отойти от города и полуверсты, как вдруг вдалеке послышался топот нескольких десятков коней, какое-то гиканье, а немного погодя вылетела из лощины запряженная четвериком коляска, а в некотором расстоянии от коляски и в живописном беспорядке мчалось несколько десятков верховых. Это и был князь Барятинский. Он сидел в коляске рядом с адъютантом, а верховые были сопровождавший его конвой. Открытая двухместная коляска буквально мчалась как вихрь, а за ней несся и конвой. Конвой этот состоял из казаков с пиками со значками, из черкесов и драгунов. Это вышло очень живописно на фоне однообразной зелени равнины, дотоле безмолвной.

В первый же вечер по приезде князя Барятинского в Пятигорск состоялась иллюминация в городе и его окрестностях. Город буквально горел плошками, а живописные его окрестности — огненными кострами. В тот же вечер был дан и концерт итальянских певцов в «Провале».

Концерт этот был так эффектен, что, кажется, никогда не изгладится из моей памяти. «Провал» этот находится внутри горы Машука и имеет вид громадного грота. Прежде в этот грот нужно было спускаться сверху через отверстие, образовавшееся вследствие обвала земли, что, конечно, затрудняло вход в эту пещеру, но лечившийся когда-то в Пятигорске доктор Лазарик пробил на свой счет туннель к этому гроту, так что вход туда сделался совершенно свободным. Внутри грота имеется довольно большое озеро с какой-то голубоватой водой. Для концерта весь грот был освещен бенгальскими огнями, придававшими ему фантастический вид. На этом озере в причудливой гондоле помещались итальянские певцы, исполнявшие чудесную баркароллу, от которой пришла в восторг вся публика и князь Барятинский.

А на следующий день происходил вышеописанный спектакль при самой торжественной обстановке.

XIX

Сколько дней провел князь Барятинский в Пятигорске, я не помню, но помню, что вскоре после его отъезда, по совету докторов, я оставил Пятигорск и переселился в Эссентуки. В то время Эссентуки имели вид небольшого казачьего селения, даже не было порядочной гостиницы или ресторана, и мне пришлось квартировать в простой казачьей избе с земляным полом. Эссентукские источники находились в парке, в котором и была устроена незатейливая галерея для больных, по утрам играл военный оркестр музыки. Вообще в Эссентуках жилось как-то скучно, почему я очень часто ездил либо в Кисловодск, либо в Железноводск, где было более лечившихся и веселее.

Однажды как-то отправился я на извозчике в Кисловодск. Выехали мы из Эссентуков рано утром. Когда я выезжал из Эссентуков, все деревья парка и многочисленных садов были, конечно, покрыты яркой майской зеленью и благоухали распустившимся цветом. Отъехав от Эссентуков верст пять, мы вдруг встретили целую тучу саранчи — и ползущей, и летучей. Она вовсе не походила на знакомую мне итальянскую саранчу, которая в последнее время повадилась опустошать наши поля, а на громадных зеленых стрекоз с слюдистыми крыльями и мохнатыми ногами. Извозчик сметил эту тучу еще издали.

— Ну,— проговорил он,— саранча летит!..— И он указал кнутиком на показавшуюся вдали тучу, буквально заслонявшую собой солнце.— Неужто мы попадем в эту тучу! — продолжал он.

— Что же за беда,— ответил я, не имевший понятия о саранче.

— Да ведь она забьет.

Я не хотел верить этому. Но когда мы очутились в этой туче, то саранча до того хлестала нас, что мы попали словно в какой-то крупный град, а между тем колеса пролетки были словно обмотаны какой-то слизистой зеленой грязью. Так продолжалось минут десять-пятнадцать. Наконец мы миновали эту тучу и вздохнули свежим воздухом.

— Ну,— проговорил извозчик,— беда, как эта саранча на Эссентуки сядет. Прощай тогда наши сады!

В Кисловодске провел я целый день, а вечером возвратился в Эссентуки. И, о ужас! — ни в парке, ни в садах не осталось ни одного зеленого листочка, и деревья буквально были обнажены. Даже трава — и та была вся поедена.

XX

Езжал я и в Железноводск, где успел познакомиться с некоторыми бывшими там больными. В числе этих-то больных были кое-кто из моих пятигорских знакомых, а именно: мой пятигорский сожитель Сушков, князь Горчаков и барон Фитингоф. Имена последних забыл. Князь Горчаков состоял при ком-то адъютантом, но при ком именно — не помню, а барон Фитингоф служил в гусарах и приехал на минеральные воды полечиться.

В Железноводске время проводили тоже довольно весело. Вечера проводились обыкновенно в парке, очень живописном, где тоже играл оркестр военной музыки, а с наступлением сумерек все удалялись в небольшой ресторан, где играли в карты и ужинали.

Раз князь Горчаков гулял по парку под руку с одной дамой, как теперь помню — брюнеткой и очень красивой. И вот, утомившись, они присели на одну из скамеек парка, а несколько поодаль от них сидел я. Вдруг по этой дорожке показался верхом Фитингоф. Он галопировал, что, по правде сказать, нам не очень понравилось, так как он буквально забросал нас пылью. Когда он проезжал мимо Горчакова, тот заметил ему:

— Послушайте, барон, ведь здесь кататься верхом нельзя.

Вместо ответа барон только презрительно посмотрел на него, дал шпоры и помчался дальше.

Случилось так, что скамья, на которой сидели Горчаков с дамой, вдруг подломилась. Они вскочили, причем Горчаков, отшвырнув доску, пересел ко мне. Горчаков представил меня своей даме, которая оказалась госпожой А., и мы вступили в разговор.

Прошло с полчаса, как вдруг вдали показался опять Фитингоф. Только на этот раз он ехал шагом. Но, подъехав к брошенной поперек дороги скамье, вдруг остановил лошадь и проговорил, обращаясь к Горчакову:

— А вы, князь, кажется, сделались полицейским чиновником: вздумали барьеры ставить.

Князь побледнел, но не сказал ни слова, а барон Фитингоф, дав шпоры, перескочил через барьер и умчался. Вскоре ушел и Горчаков со своей дамой. Но видно было по всему, что слова Фитингофа глубоко оскорбили его. И действительно, когда мы все собрались в ресторане, то между Горчаковым и Фитингофом происходил уже крупный разговор, окончившийся тем, что Горчаков вызвал барона на дуэль. Все это происходило у нас на глазах, и все мы, то есть бывшие в ресторане, принялись мирить их. И, по-видимому, примирили, потому что Фитингоф сходил даже к себе на квартиру и принес с собой свою флют-гармонию, на которой довольно порядочно играл.

Он принялся играть, нашлись любители пения, конечно, была выпивка, и мы только часа в два оставили ресторан.

Возвращаться в Эссентуки было уже поздно, почему я и остался ночевать у Сушкова. Утром рано все, конечно, пошли пить воду, а я пошел в парк посмотреть на пьющих воду, так как курзал находился в парке. Идя парком, я увидал Горчакова, сидевшего на скамье. Я подсел к нему и заметил, что он как-то особенно нервен и часто зевал.

— Что, не выспались, князь? — спросил я его.

— Да, не спалось что-то,— ответил он.

Но видно было по всему, что зевота эта происходила не от бессонно проведенной ночи, а чисто нервного свойства.

Немного погодя я оставил его и пошел к курзалу, где уже играла музыка и собралось все железноводское общество. Сидя на галерее железноводского курзала, мы вдруг увидали проехавшего на извозчичьей пролетке барона Фитингофа в сообществе с каким-то офицером, а немного погодя, тоже на извозчике, проехал и Горчаков тоже с офицером.

— Ну,— заговорили почти в один голос все присутствовавшие на галерее,— ведь это они драться поехали!

Кое-кто начал возражать, подробно начали рассказывать вчерашнее примирение, про флют-гармонию, про карты и ужин. Но были и такие, которые уверяли, что примирение это было только для вида, а никак не

искреннее,— словом, завязался общий разговор на эту тему, очень оживленный, шумный, заглушавший даже музыку. Вдруг неподалеку раздался выстрел.

— Это Фитингоф выстрелил,— заметил кто-то.

И вдруг в один момент все умолкло и воцарилась тишина. Все сидели, словно ошеломленные, и никому даже в голову не пришло побежать по направлению выстрелов и помешать несчастью.

Вдруг — второй выстрел. И только тогда все вскочили с места и бросились в сторону выстрелов. Но было уже поздно, так как Фитингоф лежал весь в крови и в предсмертной агонии. Пуля попала ему в пах, и рана была смертельная.

После, много лет спустя, мне пришлось служить вместе с сестрой Горчакова, Натальей Сергеевной, когда она была начальницей саратовского института, и вот от нее-то я слышал о смерти ее брата.

XXI

Вскоре после того я опять, по совету докторов, должен был для довершения лечения переезжать в Кисловодск. Однако довершал я лечение не особенно ретиво, ибо, чувствуя себя совершенно здоровым, я, как здоровый человек, бросил уже и диету, и разные другие предосторожности. Правда, я принимал ванны из нарзана, но зато ни в чем себе не отказывал: я все ел и пил и проводил ночи без сна. В Кисловодске собрались все мои пятигорские знакомые. Все это был народ молодой, бодрый, свежий... Мы много танцевали, пели, а так как между курсовыми барынями было много хороших певиц, то мы устраивали даже в Кисловодском парке что-то вроде цыганских таборов. Мы раскидывали там палатки, разводили огонь, а барыни костюмировались цыганками. Все это, разумеется, происходило поздно вечером, импровизированный табор освещался бенгальским огнем, и пение не умолкало иногда вплоть до утренней зари.

Я даже, никогда не игравший в карты, вдруг заиграл в штосс. Дело это было так. Был в то время на минеральных водах некто г. К., с которым никто не играл в штосс, так как он неоднократно был замечен в шулерстве, и который, говорят, за это даже был и бит.

Это был уже седой старик с какими-то всклокоченными волосами на голове и усах. Этот г. К. и соблазнил меня. Дело это было в ресторане. Господин К. заложил штосс сто рублей золотом, которое меня и прельстило, и тем более что я, как нарочно, в этот день получил из «Отечественных записок» сто рублей. К. сидел за столом и ждал понтера, но охотников понтировать не оказывалось. Тогда я подошел к столу, храбро вынул из кармана сторублевый билет, положил его на кучку золота и поставил двойку бубен. Все это совершил я очень храбро и развязно, хотя, откровенно сказать, сердце даже замерло.

«Ну, как убьет»,— думал я, посматривая на метавшего К.

Стол наш окружило несколько знакомых, и тоже все зорко следили за К. Вдруг раздался общий аплодисмент: двойка дана. Тогда я сгреб кучку золота, положил ее в карман и отошел от стола.

Говорят, так не делается, но я, ничего не понимавший в картежных приличиях, преспокойно ушел себе из ресторана, а за мной и все мои знакомые. Но эти сто рублей у меня улетучились в ту же ночь, ибо, забравшись в табор, я принялся всех угощать шампанским.

В конце августа в Кисловодск пришло известие о разгроме нашими войсками Гуниба и о взятии в плен самого Шамиля. Как раз в этот самый вечер в громадной кисловодской галерее происходил торжественный бал по случаю царского дня. Я был в полном убеждении, что столь радостное известие произведет и радостное впечатление. Помилуйте, Шамиль [47] взят, следовательно, конец долголетней кровопролитной войне, столь дорого стоившей России... Оказалось, однако, совсем наоборот: все военное общество приняло это известие крайне несочувственно и даже приуныло.

— Ну,— говорили вокруг,— теперь хоть беги с Кавказа... Не ищи теперь ни отличий, ни чинов! Прошло наше время... Был Шамиль — и нет Шамиля.

Меня это крайне изумило. А между прочим, все это было так. Даже танцы как-то расклеились, и я ушел из галереи в парк. Но и в парке меня преследовали все те же грустные рассуждения по поводу пленения Шамиля.

— Да,— говорили там,— бежать надо с Кавказа ку-

да-нибудь в тундры России, снять мундир и нарядиться в мужицкий зипун. Будет, повоевали...

Дня два-три спустя после этого мне случилось быть во Владикавказе. Тогда это был маленький, но весьма чистенький городок. Прожил я там несколько дней и наконец отправился в Пятигорск. И вот на этом-то возвратном пути, не помню на какой станции, я съехался с Шамилем, которого везли, кажется, в Петербург.

Ехал он в карете в сопровождении громадного и вооруженного конвоя, так как боялись нападения черкесов, которые могли бы его отбить. Помнится мне, что при конвое было даже одно орудие.

Приехал я на станцию как раз в то время, когда меняли лошадей Шамиля, так что я видел его очень близко и, подойдя к его карете, долго всматривался в его лицо, которое и запечатлелось в моей памяти. Это был старик лет пятидесяти, с большой окладистой бородой, окрашенной в рыжую краску, с лицом, покрытым мелкими морщинами.

Ехавший с ним сын его был в полном смысле слова красавец. Лица его я хорошенько не помню и описать не могу, но зато помню, что это был высокий и стройный мужчина, широкоплечий и с тоненькой талией. На нем был живописный черкесский костюм, перетянутый ремнем, а на голове папаха. Пока меняли лошадей, он вышел из кареты и принялся ходить взад и вперед. Я не сводил с него глаз. Право, такой стройной и легкой походки я до тех пор не видывал. Ходил он быстро и поминутно кругом озирался, и все его движения были до того грациозны, что приводили меня в восторг.

XXII

Однако отпуск мой подходил к концу, и потому надо было подумать о возвращении в Москву, да и попутчик мой г. Плотников, которому мало помогли кавказские воды, видимо, торопился вернуться домой и вообще, как все больные люди, даже раздражался моей мешкотностью... Не хотелось было мне покидать Кавказа, но делать нечего. Я распростился со своими приятелями, со многими из которых уж более и не встречался, засел опять в тарантас рядом с ворчливым Плотниковым, на козлы опять забрался человек Плотникова, и мы опять отправились в долгий путь. Опять

мы ехали, ехали, ехали: опять проехали Донские степи, где чуть не голодали, опять проехали Воронеж, Тулу и наконец добрались до Серпухова.

Я бы, конечно, не заговорил об обратном пути своем, если бы под Серпуховом не приключился с нами следующий случай, весьма нас напугавший.

Дело было ночью. Моросил мелкий дождик, и потому царила темнота. Почтовая тройка наша бежала не борзяся, впритрусочку, а ямщиком был мальчишка лет пятнадцати. Так как Плотников все боялся простуды, то у нас всю дорогу был на тарантасе надет фордек, под которым мы и задыхались всю дорогу. Ехали мы по шоссе и, утомленные и разбитые, лежали на подушках и дремали. Вдруг страшный треск и какой-то неистовый крик, полный вопля. Лошади остановились. Я открыл глаза и вижу, что фордека[48] уже не существует и что надо мной темное небо, покрытое тучами. Кто-то соскочил с козел и, прикрыв лицо обеими руками, продолжал вопить.

Когда я выскочил из тарантаса, то оказалось следующее. И ямщик, и лакей Плотникова задремали, а в это время как раз подъехали к шоссейной заставе, шлагбаум которой был наполовину поднят, так что лошади свободно прошли под шлагбаумом, а фордек тарантаса и человек Плотникова пройти не могли, и вышло, что человеку выбило шлагбаумом все зубы, а фордек совершенно сорвало. Невредимым остался только ямщик, который был маленького роста. Это было под самым Серпуховом. Вдали виднелись уже огоньки Серпухова, а потому, приехав туда, мы сочли за самое лучшее положить человека в больницу, а сами отправились дальше.

Однако доехать с Плотниковым до Москвы я не мог,—так он надоел мне своими капризами и ворчаньем, почему, добравшись до Подольска, распростился с ним и доехал до Москвы на перекладных.

Продолжение воспоминаний*

I

Бал у П. А. Тучкова.— Встреча Ермолова с Шамилем.— Дюма-отец на Бородинском поле.— Мое знакомство с ним.— Дядя Ф. А. Салов и известие о его кончине.— Моя поездка в Петербург, в качестве наследника покойного.— Раздел недвижимого имущества.— Поездка в Пензенскую губернию.— Моя свадьба и путешествие за границу.

Когда я служил в 1854 году в канцелярии московского генерал-губернатора П. А. Тучкова, то однажды был приглашен к нему на бал, который оказался особенно интересным тем, что на нем присутствовали Шамиль и герой Кавказа А. П. Ермолов[1]. Шамиль был в белой черкеске (все с тем же бабьим выражением лица), а Ермолов в полной парадной форме. Это был старик высокого роста, крупных размеров и с большущей головой, покрытой какими-то взъерошенными седыми волосами. Шея у него была до того мясиста и жирна, что буквально перевешивалась через воротник его мундира. Эти-то два кавказских героя и были great attraction бала. Очень сожалею, что я не был свидетелем их первой встречи, но мне рассказывали видевшие, что когда было возвещено о приезде Шамиля, то А. П. Ермолов вышел будто ему навстречу на крыльцо и, протянув ему руку, сказал: «Ваш старый знакомый, Ермолов», что тотчас же было переведено Шамилю переводчиком. Говорят, Шамиль до того растерялся, что не нашел ответа, а только крепко пожал ему руку и затем целый вечер не отходил от него. Я тоже не спускал с них глаз, и мне не верилось даже, что между этими двумя героями Кавказа могла существовать столь продолжительная и кровавая борьба. Ермолов действительно смотрел героем. Это был лев, а Шамиль в сравнении с ним казался ничтожным...

Точно такое же впечатление производили оба героя и на остальных, присутствовавших на балу. Были даже такие, которые не хотели верить, чтобы это был действительно Шамиль, имам Чечни и Дагестана.

---

* Название дано редакцией.

— Помилуйте,— говорили они,— ведь это кухарка какая-то!

И не встреть я Шамиля на Кавказе, когда он только что был взят, пожалуй, и я присоединился бы к мнению последних.

В этом же году я встретился с Дюма-отцом. Встреча эта произошла в Бородинском монастыре, у игуменьи того монастыря, которая когда-то училась вместе с моей матерью в Смольном монастыре и вместе с ней участвовала на институтских спектаклях. Нечего говорить после этого, что мать находилась с ней в дружеских отношениях. Фамилию этой игуменьи я забыл, но помню, что происходила она из какого-то знатного рода.

В то же время у игуменьи гостили две сестры Шуваловых. Это были две старых девы, из которых старшая, Прасковья Николаевна Шувалова, находилась в миру, а другая приняла монашество и состояла игуменьей Зачатиевского монастыря в Москве, и звали ее Аполлинарией. Обе эти сестры были отчаянные говоруньи, всегда говорили на французском языке, который знали в совершенстве, но выговор у них был чисто семинарский. По старости лет они были почти беззубы (вставных зубов тогда еще не было и в помине, по крайней мере, я никогда об них не слышал потому, может быть, что не имел надобности), а потому они шамкали, подсвистывали и даже брызгали слюной. Они так и сыпали словами, трещали и поминутно перебивали друг друга. Коль скоро они начали говорить, то перебивать их не было возможности. Дюма уж на что был великий говорун, но и тот спасовал перед ними.

Помню, что Шуваловы засыпали его вопросами: расспрашивали о тогдашнем парижском обществе, о театрах, о литературе, но отвечать на эти вопросы не давали, так как мгновенно же высыпали перед ним кучу других вопросов. Дюма долго силился вставить о себе хоть единое слово, но все его усилия оказывались тщетными, и только за завтраком, сервированным на гранитных подножиях Бородинского памятника, мне удалось послушать Дюма.

Дело в том, что сестры Шуваловы насколько любили болтать, настолько же и любили покушать, а потому за завтраком, когда они принялись усердно обрабатывать какую-то рыбу, обгладывать и обсасывать

ее косточки, облизывать даже пальцы и засовывать в рот чуть не целые ломти хлеба и целыми ложками какой-то очень вкусный салат,— то Дюма, как бы воспользовавшись этим, принялся говорить и заговорил о Бородинском сражении, о великом патриотизме москвичей, не задумавшихся даже, ради спасения своего отечества, зажечь Москву, о величайшей ошибке Наполеона, опьяненного победами и рискнувшего идти на Москву.

— Но,— добавил он,— великие люди делают и великие ошибки.

Говорил он много, громко и несколько театрально и театрально жестикулируя. Это был мужчина высокого роста, гигантского телосложения, с крупными чертами смугловатого лица и мелко вьющимися волосами, словно шапкой накрывавшими его большую голову. Я не мог достаточно налюбоваться им, не сводил с него глаз и восхищался каждым произнесенным им словом.

По поводу сожженной Москвы говорил он много и красноречиво, но сестры Шуваловы, успевшие покушать, и тогда не задумались перебить его и начали доказывать, что Москву подожгли не русские, а французы; но Дюма на этот раз не выдержал: вскочил с места и, ударяя себя в грудь, принялся опровергать высказанное ими. Он чуть не кричал, доказывая, что Наполеон сумел бы остановить французов от такой грубой и пошлой ошибки, так как гением своего ума не мог не предвидеть, что под грудами сожженной Москвы неминуемо должна была погибнуть и его слава и его победоносная великая армия.

— Наполеон,— кричал Дюма,— как великий человек, мог делать великие ошибки, но, как гений, не мог делать глупых.

Меня никто не представил Дюма. Было ли это сделано по рассеянности или намеренно,— я не знаю; но думаю, что последнее вернее, так как стоило ли такого мальчугана, каким я был в то время, представлять всемирной известности. Однако так или иначе, а я все-таки познакомился с ним. Дело это произошло так. Когда завтрак был покончен, вдали показалось несколько городских экипажей, быстро мчавшихся по направлению к памятнику. Сестры Шуваловы, с явным любопытством, принялись в лорнеты рассматривать экипажи, уверяя, что это непременно мчатся из Мо-

сквы поклонницы Дюма, проведавшие о его поездке в Бородино, которые, по правде сказать, не давали ему ни прохода, ни проезда. Так случилось и в описываемое время. Как только сестры Шуваловы и игуменья занялись экипажами, я подошел к Дюма и сам отрекомендовался ему. Боже мой! В каком я был восторге, когда Дюма ласково протянул мне руку и крепко пожал мою. А когда Шуваловы заметили это, то тотчас же подлетели к Дюма и принялись рекомендовать меня как начинающего писателя. Рекомендация эта до того переконфузила меня, что я готов был проклясть этих неугомонных болтуний и растерялся до того, что не знал, куда смотреть, куда деваться, что говорить... Я весь вспыхнул и намеревался было бежать куда глаза глядят, а Дюма, между тем не выпускавший моей руки, еще крепче пожал ее.

На мое счастье, подлетели приехавшие из Москвы экипажи, переполненные блестящими поклонницами Дюма. Все они, грациозно выпорхнув из экипажей, окружили Дюма, рассыпаясь в любезностях. Все это были представительницы московского beau monde' а. Они чуть не все разом подхватили Дюма под руки и пошли гулять по Бородинскому полю. Дюма словно переродился: оживился, повеселел, и любезности одна другой щеголеватее и остроумнее посыпались из его уст.

В ту же зиму, и, сколько мне помнится, в конце масленицы, когда мы всей семьей, то есть мать, я и брат, сидели за вечерним чайным столом в своей скромной квартире, в Гагаринском переулке, в доме Красновевцева, вдруг раздался в передней резкий звонок.

Мы никого не ждали, и потому звонок этот произвел между нами переполох. Я вышел в переднюю, отворил дверь, и в комнату вошел телеграфный рассыльный.

— Настасье Юрьевне Саловой,— проговорил он, доставая из сумки телеграмму.

— Здесь,— ответил я.

— Телеграмма из Петербурга,— проговорил рассыльный, подавая мне телеграмму.— Потрудитесь расписаться.

Я взял телеграмму, торопливо расписался и еще торопливее открыл телеграмму.

— Откуда... откуда? — допрашивала меня мать.

— Из Петербурга,— ответил я.

— От кого бы это могло быть?

И я прочитал телеграмму следующего содержания:

«Вчера скончался Федор Андреевич Салов. Извещаю вас об этом и прошу пожаловать в Петербург. Дюклу».

Мы все так и оторопели.

Генерал-майор Ф. А. Салов был родной брат моего отца, но почему-то братья были между собой не в ладах, никогда не виделись, а потому и мы в свою очередь не были знакомы с Федором Андреевичем. Я только раз видел его, и то случайно, на какой-то почтовой станции, на которой мы меняли лошадей. В это самое время к станции подкатил дормез, запряженный шестеркой почтовых лошадей. На станции поднялся переполох:

— Генерал Салов, генерал Салов...— слышалось повсюду.

— Не смеет же он пороть на станции!— заметил я.

— Это другой кто не смеет, а генерал Салов все смеет.

О смерти этого-то Салова мы и получили телеграмму... Зачем вызывали мать в Петербург, мы никак не могли понять, так как на получение от него какого-либо наследства мы никак не рассчитывали.

Чтобы хоть сколько-нибудь объяснить себе причину этого вызова, мать отправила меня на следующий день к Алексею Николаевичу Дюклу, родному брату того самого Дюклу, от которого была получена нами телеграмма.

— Брат, по всей вероятности, сообщил и Алексею Николаевичу о смерти Федора Андреевича и о причине вызова меня в Петербург... Ступай туда и узнай толком, зачем меня вызывают туда.

Я отправился к Алексею Николаевичу на Никитский бульвар и едва только успел войти в кабинет Дюклу, как тотчас же по его расстроенному лицу догадался, что он чем-то был возмущен и расстроен.

— Ваш дядя умер,— проговорил он.

— Да,— подтвердил я, показывая ему телеграмму.— Только мы никак не можем понять,— прибавил я,— почему именно вызывается в Петербург моя мать...

— Ах, боже мой! Да ведь вы — прямые наследники... Как же не вызвать наследников?— проговорил Дюклу раздраженно, быстро шагая по кабинету.

Я возразил ему на это, что мы не имеем никакого права рассчитывать на его наследство, так как никогда даже не были с ним знакомы.

— По всей вероятности,— прибавил я,— покойный оставил духовное завещание в пользу тех из своих племянников, с которыми был и знаком и дружен...

— А ежели не сделал? — чуть не вскрикнул Дюклу.

— Так вы советуете ехать?

— Это дело ваше... Но будь я на вашем месте, я бы поехал, конечно...

— Дело в том, Алексей Николаевич, что съездить в Петербург чего-нибудь да стоит, а ведь у нас, как вам самим известно, не только лишних, но даже и необходимых денег нет.

— Ну, уж это до меня не касается,— ответил Дюклу.

На этом наше объяснение и покончилось...

Возвратясь домой, я передал матери свой разговор с Дюклу.

— А ведь и в самом деле,— заметила она,— может быть, он умер, не сделав никакого завещания.— И вдруг, переменив тон, она прибавила, обращаясь ко мне:— А знаешь что, поезжай-ка лучше ты... Хорошенько разузнай, и ежели духовного завещания нет, то ведь ты — тоже наследник...

— А деньги на поездку у тебя есть? — спросил я мать.

Мать побежала к комоду, пошарила там что-то и, показывая мне трехрублевую ассигнацию, проговорила:

— Вот только всего три рубля.

— С чем же я поеду? — спросил я.

— А занять нельзя где-нибудь? — спросила мать.

Я вспомнил про Родиславского и побежал к нему.

На мое счастье, случились у Родиславского деньги, и он дал мне двадцать пять рублей. С этими деньгами я и отправился на другой же день в Петербург.

В Петербурге я остановился не в гостинице, так как у меня на это не хватало капиталов, а у своего приятеля, В. Н. Бестужева-Рюмина, родного брата основателя Бестужевских курсов.

Бестужев-Рюмин меня встретил чуть не с распростертыми объятиями. Между прочим, он сообщил мне, что, как он слышал, Федор Андреевич никакого завещания не оставил.

Умывшись и переодевшись, я поскакал к Василию Никитичу Филиппову, служившему в то время в департаменте внешней торговли, взял его с собой, и мы вместе отправились к Салову, у которого был собственный дом на Большой Морской, как раз против дома военного генерал-губернатора...

Когда мы подъехали к дому Салова, там уже у дома стоял катафалк.

Мое положение было крайне неловкое: во-первых, я всего раз, и то мельком, видел дядю, а во-вторых, хотя я являлся и званым гостем, но далеко не желанным.

Бориса Николаевича Дюклу я никогда в глаза не видал.

Когда я вошел в зал, мне представилась следующая картина: посреди зала стоял гроб, на возвышении, покрытый парчой, а по залу суетливыми шагами ходил какой-то пожилой господин в инженерской форме.

Я остановился перед гробом, перекрестился и сделал земной поклон. Тогда инженер подбежал ко мне и торопливо проговорил:

— Владимир Иванович Граве.

Тогда я вспомнил, что какой-то Владимир Иванович Граве был нам сродни, и поспешил ему сказать, кто я.

— Отлично, превосходно...— заговорил Граве.— А мы вас еще вчера поджидали... Пойдемте в гостиную: я вас там кое-кому представлю.

И, подхватив меня под руку, повел в гостиную.

В гостиной на диване на первом месте сидел архиерей, возле него несколько дам в траурных платьях, а по комнате расхаживал какой-то мужчина, весьма похожий на Алексея Николаевича Дюклу.

Это и был действительно Борис Николаевич Дюклу, от которого мы и получили телеграмму.

Он очень обрадовался, когда Граве представил меня ему, и, схватив меня в свою очередь под руку, подвел к архиерею.

— Позвольте вам представить, ваше преосвященство,— проговорил Дюклу, указывая на меня,— один из наследников покойного Федора Андреевича — Илья Александрович Салов.

Архиерей благословил меня, что-то сказал, а Борис Николаевич принялся представлять меня дамам... Но

кто были эти дамы, я положительно не помню по той простой причине, что был крайне взволнован и смущен неожиданной и никогда не виданной мною обстановкой...

Когда это представление кончилось, Дюклу и Граве повели меня в кабинет покойного.

Первое, что мне бросилось в глаза при входе в кабинет, это красные сургучные печати, приложенные чуть не ко всей мебели.

— Как изволите видеть,— сказал Дюклу, показывая на печати,— нами были приняты все предосторожности, чтобы после смерти покойного не было какого бы то ни было расхищения. Мы пригласили полицию, свидетелей и опечатали все, что только можно было опечатать.— А затем, вынув из кармана какую-то пачку, завернутую в бумагу, прибавил, передавая ее мне:— А вот здесь необходимые деньги на похороны покойного и на отправку его тела в Пензенскую губернию, в село Саловку [2].

— Зачем же мне? — проговорил я, растерявшись.— Вы приняли на себя этот труд, так потрудитесь и окончить его... Избавьте меня от этого, ради бога!.. Вы видите, я и так совсем растерялся и положительно не знаю, что мне делать...

Но продолжать заботы о похоронах как Дюклу, так и Граве положительно отказались.

— Да и хлопот вам немного будет,— утешали они меня.— В этом свертке не только деньги на похороны, но и подробный счет, кому сколько следует заплатить... Мы только попросим вас сосчитать деньги и выдать нам расписку в получении их.

Я пересчитал дрожащими от волнения руками поданные мне деньги, которых оказалось семь или восемь тысяч — хорошенько не помню,— выдал требуемую расписку, а деньги положил в карман.

В эту минуту из залы донеслись звуки похоронного пения.

— Ну, панихида началась,— проговорил Борис Николаевич.— Пойдемте.

Мы вошли в залу, где, увидав Василия Никитича, я поспешно подошел к нему и с той поры уже не отходил от него. Я прямо обрадовался, увидав его, этого друга детства, этого единственного человека среди чужих и, видимо, не совсем симпатизировавших мне...

Панихида совершалась при торжественной обстановке: служил архиерей, пел превосходный хор певчих, и все это так действовало на мои нервы, что у меня даже пробегал мороз по коже. Гроб был покрыт богатым покровом, но так как мне чрезвычайно хотелось посмотреть на дядю, хоть на мертвого, то я с нетерпением дожидался окончания панихиды, чтобы поднять покров.

Наконец панихида кончилась. Мы с Васей подошли к гробу, я положил земной поклон и хотел открыть покров, но, увы, лица дяди мне увидеть все-таки не пришлось, так как железный гроб был уже запаян.

Итак, моя случайная встреча с дядей на почтовой станции была первой и последней.

Немного погодя гроб был вынесен, поставлен на катафалк, и печальный кортеж тронулся по Невскому проспекту к Знаменской церкви, где была отслужена заупокойная литургия, а затем отпевание, после чего гроб был отвезен на станцию Николаевской железной дороги и поставлен в приготовленный для него вагон.

После этого тотчас же все разъехались, а мы с Василием Никитичем отправились к Бестужеву-Рюмину.

На следующий день я принялся наводить справки, не оставил ли кому-нибудь покойный дядя духовного завещания: был по этому поводу у его приятеля, генерала Ростовцева, но тот уверил меня, что духовного завещания нет, что покойный имел намерение все свое состояние пожертвовать на устройство кадетского корпуса с непременным условием, чтобы корпус этот именовался корпусом генерал-майора Салова. Но так как на это наименование согласия не последовало, то дядя рассердился и на все махнул рукой...

Однако недели две я все-таки находился в самом тревожном состоянии: мне все не верилось, чтобы не было завещания.

Наконец приехали в Питер и другие сонаследники, а именно: родной брат покойного, Сергей Андреевич Салов, и родные же племянники — Андрей и Владимир Николаевичи Саловы, проживавшие в Пензенской губернии.

Когда они явились в Петербург, была снова приглашена полиция, и мы все приступили к вскрытию опеча-

танного стола и его ящиков. Продолжалось это очень долго, так как каждая бумага была прочитана полицеймейстером... Не могу не сознаться, что я переживал тогда ужасное время... Затрещит, бывало, отдираемая сургучная печать, звякнет замок запертого ящика,— и сердце мгновенно замрет: ну, как тут, именно в этом ящике, и найдется духовное завещание?.. Все подбегали к ящику, полицеймейстер прочитывал все бумаги, и опять духовной нет.... Тогда я отдыхал. Но принимались за вскрытие следующего ящика, и опять повторялись со мной те же муки. Опись эта продолжалась около недели, и, только когда она была окончена и когда духовного завещания нигде не оказалось, я вздохнул свободнее.

От похорон дяди у меня осталась довольно порядочная сумма, из которой я и отослал матери в Москву тысячу рублей.

И вот таким-то образом получили мы совсем неожиданное наследство.

Разделив между собой находившееся при доме движимое имущество, мы все разъехались по домам, порешив весной приехать, чтобы произвести раздел недвижимого имущества.

Нечего говорить, что мое возвращение в Москву было самым радостным событием в жизни нашего семейства. Мать встретила меня со слезами на глазах, а также брат Александр Александрович, получавший тогда уже двенадцать рублей в месяц.

С наступлением весны мы отправились в Пензенскую губернию.

Весну мы провели в имении Н. М. Вонлярской, с которой мать была очень дружна, а я тем временем поехал в село Саловку к двоюродному брату, Андрею Николаевичу Салову, поклониться праху покойного дяди Федора Андреевича. Оказалось, что у него заранее был приготовлен склеп, в котором стоял гроб его жены и его гроб. Я отслужил в склепе панихиду и, прогостив два-три дня в Саловке, отправился взглянуть на родное мне село Никольское.

Но я даже не рад был, что попал туда: до того оно изменилось.

Первым делом я пошел, конечно, на могилу отца. Но рядом с могилой отца была уже и другая, а именно брата Андрея Александровича, который умер ско-

ре после Крымской кампании, во время которой служил в ополчении, стоявшем вблизи Севастополя, в местечке Алешках... Был ли он в деле, я не знаю, но, будучи в Алешках, схватил тифозную горячку.

Вскоре после его смерти жена его вышла замуж за какого-то Петерсона, с которым и жила, кажется, в городе Краснослободске, так что в имении брата, сельце Павловке, не было никого... Тем не менее я все-таки остановился в доме брата, так как в селе Никольском мне негде было остановиться: да ежели бы и было у кого, я бы там не остановился, потому что мне это было тяжело. Вот из Павловки я и делал экскурсии в Никольское, обходил все любимые места и с ужасом увидал, что громаднейший наш пруд, на котором я так часто охотился и ловил острогой рыбу, уже не существовал и превратился в обширный луг. Новый владелец счел более выгодным спустить воду и засеять его дно какой-то луговой травой.

Умерла и моя кормилица Марфа, которая когда-то угощала меня калинниками; умер и Никита Григорьев, бывший наш приказчик, да и самый дом наш, слегка подновленный и выкрашенный какой-то краской, казался мне каким-то мертвецом, только обряженным в парадное одеяние...

Я поспешил уехать из Никольского, а возвратясь в Павловку, долго не мог опомниться от того тяжелого впечатления, которое испытал. Прожив в Павловке дня два-три, я возвратился к г-же Вонлярской, где вместе с матерью и братом прогостил несколько недель.

Наконец мы получили известие, что все наши сонаследники собрались в Пензе, куда призывали и нас для раздела недвижимого имения. Раздел этот прошел довольно мирно. Сначала вся оставшаяся земля была разделена на три части, по числу братьев покойного Федора Андреевича, причем на каждого брата пришлось по шести тысяч десятин. Из братьев был в живых только один — дядя Сергей Андреевич, который во время раздела и умер. По случаю его смерти раздел несколько затормозился: во-первых, потому, что пришлось ожидать приезда его наследников, которых было четверо, а во-вторых, и потому, что старший из его сыновей, А. С., вздумал протестовать против состоявшегося было проекта раздела.

В это самое время управляющий саратовскими име-

ниями покойного Федора Андреевича, некто г. Талаев, вдруг сообщил нам, что в селе Ивановке произошел бунт, почему и просил кого-нибудь из сонаследников приехать к нему, а так как имение это досталось на долю отца моего, то я и был послан усмирять этот бунт. Надо сказать, что все это происходило в год освобождения крестьян, когда малейшее ослушание со стороны крестьян считалось уже бунтом.

Когда я приехал в село Ивановку Саратовской губернии, то именно такого сорта бунт я там и нашел. Было время покоса... И вот управляющий, чтобы скорее скосить луга, сделал распоряжение выгнать на покос всю барщину, тогда как следовало бы выгнать только половину. Та половина, которой не следовало выходить на барщину, и отказалась исполнить требование управляющего, почему он немедленно дал нам знать об этом возмущении, назвав его бунтом.

Нечего говорить, что, приехав в Ивановку и рассмотрев дело, я живо все уладил: собрал крестьян, объявил им, что на работу должна выйти только половина, угостил их водкой, а дня два-три спустя снова вернулся в Пензу.

Тем временем кое-как уладились недоразумения между нами и А. С., и раздел был утвержден Пензенской гражданской палатой.

В августе мы с братом и матерью возвратились в Москву, а в ноябре я женился уже на племяннице моего бывшего опекуна, Алексея Алексеевича Тучкова, Лидии Павловне Демблинской, дочери той самой Тучковой, которая, будучи еще в девицах, находила в моей физиономии большое сходство с головками Греза.

11 ноября была моя свадьба, а весной мы с женой поехали за границу. Так как в то время не было еще железных дорог, соединяющих теперь Петербург с Берлином, то мы поехали из Петербурга морем до Штетина, а из Штетина по железной дороге в Берлин.

Лето мы провели на Рейне, а зиму в Ницце, откуда ездили в Рим и Неаполь и побывали еще кое-где в Италии.

Весной мы возвратились в Россию, пробыли лето в деревне, а осенью снова отправились за границу, побывав на этот раз в Париже, откуда опять ездили в Ниццу.

II

Жизнь и служба в провинции.— Возобновление литературной деятельности.— Сотрудничество в «Отечественных записках» и отношения к М. Е. Салтыкову.— Повесть «Грачевский крокодил» и ее история; повесть «Ольшанский барин» и драма «Степь-матушка».— И. Н. Ге, его плагиат и выходки против меня в газетах. — А. Н. Островский, А. С. Суворин, П. Н. Гнедич, В. П. Буренин.— Третейский суд с Ге и резолюция суда.— «Степь-матушка» на сцене театра Корша.— Моя деятельность на драматическом поприще и отношения к цензуре. — Лентовский и постановка в театре «Скоморох» пьесы «Степной богатырь».— Вывих ноги.— Абрамова.

После этого путешествия, которое продолжалось, следовательно, два года, мы возвратились в Россию и поселились в своем имении, Саратовской губернии, в Балашовском уезде, в селе Ивановке. Там я был выбран в мировые судьи [3], каковым и прослужил со дня открытия мировых судебных учреждений в Саратовской губернии до дня закрытия таковых. Все это время я почти безвыездно прожил в деревне, и, только когда подросли у меня дети, я переселился в Саратов, где и поступил на службу по ведомству императрицы Марии, а затем снова возвратился в Ивановку, где и был опять выбран мировым судьей.

Моя женитьба и поездка за границу, а отчасти и получение наследства были причиной того, что я очень мало занимался литературой. В это время я написал только одну повесть «Бутузка», которая была напечатана в журнале М. М. Достоевского «Время» [4]. Очень может быть, что, занявшись службой и хозяйством, я и совсем бы забыл про литературу, если бы как-то летом не приехал ко мне Зименко, секретарь редакции «Русского вестника». Он прогостил у меня недели две и положительно не давал мне покоя, настаивая, чтобы я непременно что-нибудь написал и посвятил ему. Вот тогда-то я и написал рассказ «Мельница купца Чесалкина». Рассказ этот не вымысел, и все действующие в нем лица взяты были с натуры, а мировой судья, разбиравший дело Чесалкина с крестьянами, не кто иной, как я сам. Рассказ этот я послал в «Отечественные за-

писки», где он и был напечатан. О рассказе этом в свое время довольно много говорилось в газетах; отзывы были все лестные, что немало поощрило меня к дальнейшим занятиям литературным трудом, и вскоре после того я написал рассказ «Грызуны», который тоже был напечатан в «Отечественных записках»». А после рассказа «Аспид», тоже печатавшегося там, я, не будучи лично знаком с М. Е. Салтыковым, получил от него письмо, в котором он приглашал меня быть сотрудником «Отечественных записок» и печатать там исключительно свои произведения.

Письмо это еще более польстило мне, и вот тогда-то я уже принялся серьезно за литературу. Раз как-то напечатал я в «Саратовском справочном листке» какой-то отрывок из повести или рассказа — хорошенько не припомню. Выходившая в то время газета «Голос» что-то написала по этому поводу, а вслед за этим я получил от Салтыкова нечто вроде выговора, что я, обещав печататься исключительно в «Отечественных записках», напечатал какой-то отрывок в «Листке».

Вообще Михаил Евграфович часто переписывался со мной и этим препятствовал мне залениваться.

После «Аспида» написал я рассказ «Арендатор», который обратил на себя внимание г. Скабичевского. И вот г. Скабичевский написал по поводу этого рассказа крайне лестную для меня статью, где разбиралась вообще моя литературная деятельность. «Арендатор» печатался тоже в «Отечественных записках», а статья г. Скабичевского — в «Молве».

Я забыл сказать, что рассказ «Аспид» был мной переделан для сцены в одноактную комедию того же названия, которая до сих пор еще очень часто дается на провинциальных сценах.

После «Арендатора» была написана мной повесть «Грачевский крокодил», героем которой был нигилист тогдашнего времени. Нигилист этот был мной списан с натуры, так как жил в одном со мной селе[5]. Да и вообще вся фабула «Крокодила» — не вымысел, а истинное происшествие. Многие из действующих лиц этой повести названы мной даже прямо по именам и по фамилиям.

Единственным вымышленным лицом в этой повести был священник (отец героя), так как в действительности священник этот был совсем иным человеком и ни-

сколько не походил на того, которого я изобразил в повести. Даже история о крокодиле, появившемся будто бы в описанной местности, отчасти была взята мной с натуры.

Дело в том, что когда я окончил эту повесть, которая носила тогда совсем иное название, то о крокодиле в ней не было и речи. Повесть показалась мне крайне скучной, неинтересной, и потому я порешил как-нибудь переделать ее, чтобы придать ей более занимательности. Вдруг как раз в это время случился следующий казус.

Однажды как-то пришел ко мне арендовавший у меня водяную мельницу купец Н. П. П. На нем не было лица. Он был очень взволнован и чуть не задыхавшимся от волнения голосом проговорил:

— Слышали?

— Что такое?

— Что Федор Константинович черта поймал?

— Как... где?

— В том-то и горе, что в реке нашей, Грачевке...[6] Рыбу он ловил,— продолжал П.,— судачка захотелось поесть, а вместо судачка-то черта изловил...

— Вы шутите, конечно? — спросил я.

Но П. обратился к образу и принялся креститься:

— Вот вам Христос бог — не шучу,— продолжал он, крестясь.— Сейчас собственными глазами видел...

— Кого видели? Федора Константиновича?

— И Федора Константиновича, и черта. Он у него сейчас в банке сидит... Да чего: штук десять ушло, вишь,— продолжал П., ударяя себя в грудь.— Сам Федор Константинович говорил мне. Бредень, говорит, редковат был, а то бы я их больше наловил. Диковина — как это вы до сей поры об этом не слыхали. У нас на селе такой-то говор идет, что не приведи-то господи!.. Михаил Михалыч даже сеть купить собирается...

— Фельдшер? — спросил я.

— Да, фершал... А к нему присоединяется и сын священника, который, вишь, где-то большого видел...

Что все это значило, я никак не мог понять, а потому и порешил съездить к Федору Константиновичу.

Федор Константинович Талаев, управлявший когда-то имением покойного дяди Федора Андреевича и о котором я в свое время говорил, был моим ближайшим соседом. Усадьба его отстояла от моей верстах в трех,

и мы, как говорится, «сидели» на одной и той же реке.

Я приказал заложить беговые дрожки и отправился к нему. Он встретил меня на крыльце.

— Уж не насчет ли черта приехал, шабер?[7] — спросил он меня, весело рассмеявшись.

— Именно насчет его.

Он расхохотался.

— Тут меня одолели с этим чертом,— проговорил он, махнув рукой.— Чуть не вся округа побывала у меня.

— И всем показывали? — спросил я.

— Всем, всем, как есть...

— Значит, и мне покажете?

— С удовольствием.

Немного погодя мы сидели уже у него в кабинете, и Федор Константинович показывал мне своего черта.

Это был просто-напросто картезианский чертик, которые в то время были в Саратове в большом ходу и продавались прямо на улицах. Такого-то чертика купил Талаев и принялся всех уверять, что он его поймал в реке.

Вот этот-то именно казус и происшедший вследствие этого переполох и натолкнул меня на мысль вставить в свою повесть историю о крокодиле.

Расскажу еще один случай по поводу повести «Грачевский крокодил». Она была переведена на французский язык, на немецкий и на итальянский.

И вот какая-то итальянская газета, прочитав эту повесть, была немало удивлена, что в средней полосе России имеются крокодилы.

Сам я этой газеты не видал, но вычитал об этом в хронике журнала «Новь», где об этом казусе сообщалось довольно пространно и упоминалось название той газеты.

Итак, переделав эту повесть, я отправил ее в «Отечественные записки». Но, некоторое время спустя, повесть эта была мне возвращена при письме Салтыкова. В письме этом он довольно раздраженным тоном высказывал мне свое неудовольствие по поводу этой повести, причем присовокуплял, что я, вероятно, ошибся, адресуя эту повесть в редакцию «Отечественных записок», тогда как ее следовало адресовать в «Русский вестник».

Тон этого письма и меня раздражил, почему я не

долго думая взял и отослал повесть в «Русский вестник», где она и была напечатана.

Лично мне повесть эта не нравилась потому только, что мне не удался священник, почему я, когда продал издание своих произведений М. О. Вольфу, переделал в ней этот тип и изобразил его таким, каким он был в натуре.

Кстати сказать: я никогда не умел сочинять ни фабул, ни действующих лиц. Чтобы изобразить какой-нибудь тип, мне необходимо было видеть его, говорить с ним, словом, изучить до тонкости все его малейшие детали.

Будучи сельским мировым судьей, я, конечно, имел возможность близко наблюдать все эти типы кулаков, купцов, мещан, крестьян и вообще так называемую деревенскую интеллигенцию. Я дошел до того, что стоило мне, бывало, посмотреть на человека, поговорить с ним некоторое время, и я уже как будто читал у него в душе, то есть безошибочно распознавал, говорит ли он правду или лжет.

Некоторые из моих критиков говорили, что я подражаю Салтыкову, описывая кулаков. Это неверно. Я Салтыкову не подражал, а срисовывал то, что происходило перед моими глазами чуть не ежедневно. Все мои кулаки, как-то: Обертышевы, Облапошевы были списаны с натуры, а никак не были подражанием Колупаевых и Разуваевых[8]. В некоторых из типов я изменял только фамилию, но все мои читатели, проживавшие в одной со мной местности или, скорее, в одном уезде, тотчас же узнавали моих героев и потом уже называли их не по собственным их фамилиям, а по именам, мною вымышленным.

Так, например, в камере у меня часто судился землевладелец из мещан, Л., которого в одном из своих рассказов я назвал Живодеровым, и вот с той поры этот Л. иначе не назывался, как Живодеровым. Точно так же, описывая какую-нибудь местность, я непременно мысленно переносился в село Никольское, вспоминал тамошние ландшафты, которые и переносил на бумагу. Так, например, в рассказе «Мельница купца Чесалкина», описывая ловлю рыбы острогой, я вспомнил, как когда-то сам ловил таким образом рыбу в Никольском на своем родном пруду.

Однако натянутое положение с Салтыковым у меня

продолжалось очень недолго, так что когда я отправил в «Отечественные записки» рассказ «Крапивники», то получил от него весьма любезное ответное письмо. А когда я отправил повесть «Ольшанский молодой барин» и просил его, в виде аванса, купить мне рояль Беккера, то он просьбу мою исполнил, и я вскоре получил рояль, которую и подарил дочери. Рояль эта цела у нее и до сих пор.

Из повести «Ольшанский молодой барин» я переделал драму «Степь-матушка».

Переделка эта в свое время наделала много шума в прессе. Сначала эту повесть переделал с моего разрешения покойный И. Н. Ге[9], назвав свою переделку «Самородком». Переделку свою он мне прочитал, и я нашел ее неудовлетворительной, почему и предложил ему сделать в ней некоторые изменения и кое-что добавить. Он на это согласился, почему и передал мне свою рукопись, которая до сих пор сохраняется у меня.

Когда я ему прочел свою переделку, то Ге нашел ее более удачной, почему мы и порешили поставить ее на императорскую сцену за общим нашим подписом, назвав ее «Трясина». На этом мы с ним и расстались, и я возвратился в деревню.

Прошло некоторое время, как вдруг я прочитал в «Новом времени» анонс, что в непродолжительном времени на сцене в бенефисе артистки М. Г. Савиной[10] будет поставлена драма Ге «Самородок». Это меня возмутило, почему я тотчас же и обратился с письмом к А. А. Потехину[11], который был в то время начальником репертуара, прося его приостановить постановку этой пьесы, причем изложил те причины, на которых я основываю свою просьбу. Постановка пьесы была приостановлена, а Ге начал обвинять меня в «Новом времени» в плагиате. Одновременно с этим я получил от поверенного Ге письмо с предложением как-нибудь покончить это дело, в противном случае грозил привлечь меня к суду.

На это письмо я не счел нужным отвечать. Но Ге не унимался: продолжал писать в газетах и кончил тем, что вызвал меня на третейский суд. Делать было нечего. Я отправился в Петербург. А так как в это же самое время был в Петербурге А. Н. Островский, то я и поехал к нему, чтобы просить его взять на себя труд быть моим судьей на третейском суд... А. Н. Остров-

ский остановился у своего брата, бывшего министром государственных имуществ, и там-то он меня и принял.

Дело было так.

Приехал я к Островскому часов в шесть-семь вечера. И только что вошел в переднюю, пол которой был обит зеленым сукном, как с лестницы, ведущей из бельэтажа, спускался Александр Николаевич.

— Ба!.. какими судьбами?

Я рассказал ему ту судьбу, которая привела меня в Петербург.

— Знаю, знаю...— говорил он,— из газет узнал... Так вы только из-за этого и в Петербург приехали?

И, взяв меня за руку, повел в одну из дверей направо.

Немного погодя мы с ним сидели в очень большой комнате, посреди которой стоял бильярд.

— Только из-за этого и приехали? — повторил он.

— Поневоле пришлось приехать...

— Да, да...— проговорил он,— я прекрасно понимаю ваше положение, потому что и сам когда-то испытал его на себе.

— Когда же это? — спросил я его.

— Это было давно...— ответил он,— когда я написал «Банкрота», или, как теперь называется эта пьеса, «Свои люди — сочтемся»... Тогда тоже некто Г — в начал доказывать, что пьеса эта написана мной в сотрудничестве с ним...

— А меня так прямо обвиняют в плагиате! — перебил я его.

— Знаю, знаю...

— Вот поэтому-то я и приехал к вам, Александр Николаевич. Будьте, пожалуйста, судьей с моей стороны.

Островский на минутку задумался, а потом проговорил:

— С удовольствием бы, но...

Этим «но» он меня словно ножом пырнул.

— Неужели вы мне откажете в этой просьбе?

— Поневоле приходится: во-первых, потому, что я — плохой говорун, что, вероятно, вы и сами заметили, а во-вторых, мне, как председателю общества драматических писателей, как-то неловко вмешиваться в литераторский процесс.

— К кому же мне обратиться,— заметил я,— не

имея в Петербурге никакого литературного знакомства?..

— А в этом я вам помогу,— заговорил Островский, взяв меня за руку.— Я вам напишу письмо к Алексею Сергеевичу Суворину[12] и попрошу его быть вашим судьей. Я бы и сам с вами поехал к нему, но у него такая высокая лестница, взбираться на которую мне очень трудно по нездоровью. Вот вы с моим письмом и поезжайте к нему. Я его очень люблю, и мы с ним большие приятели... А уже говорун такой, что я ему и в подметки не гожусь.

— Ну, благодарю и за это.

— Останетесь довольны,— успокаивал меня Островский и затем, встав, прибавил:— Ну, вот я сейчас пойду, напишу письмо, а вы здесь пока покурите.— И, проговорив это, Островский вышел в соседнюю комнату, а несколько минут спустя возвратился с письмом в руках.

— Ну, вот вам и письмо,— проговорил он.— Вы сейчас же к Суворину и поезжайте; теперь вы его как раз застанете дома.

Сколько мне помнится, Суворин жил на Итальянской, куда я и отправился прямо от Островского...

Лестница, ведущая в квартиру Суворина, оказалась действительно очень высокой, хотя и очень удобной, так как была отлично освещена, во-первых, а, во-вторых, на каждой поворотной площадке имелись кресла. На каждой площадке были двери с дощечками квартирантов, и, помнится мне, что я перечитал этих дощечек с десяток, когда наконец добрался до медной чисто вычищенной дощечки с надписью: «Алексей Сергеевич Суворин».

Суворин принял меня весьма любезно, пригласил меня в свой обширный кабинет, весь заставленный книжными шкафами, усадил меня на мягкое кресло и внимательно принялся расспрашивать подробности моего дела.

Предварительно было им прочитано письмо Островского.

— С большим удовольствием я готов исполнить вашу просьбу,— проговорил он.— Только ведь у нас шансы-то будут неравные: со стороны Ге будет двое судей, а с вашей один я.

— Кто же будет у Ге?

— Во-первых, Буренин[13], а во-вторых, Гнедич[14].

— А у меня — вы и моя повесть «Ольшанский молодой барин».

— И то правда,— согласился Суворин.

Затем подали чай, и мы перешли к обыденному разговору.

В это время одна из дверей кабинета распахнулась (дверь эта, как оказалось, вела в редакцию «Нового времени»), и в кабинет вошел И. Н. Ге. Мы сухо с ним раскланялись, не подавая даже друг другу руки (сперва мы были с ним в самых дружеских отношениях), он что-то тихонько поговорил с Сувориным и тотчас же вышел, а вместо него вошел Буренин.

Суворин познакомил меня с ним, и у нас опять завязался обыденный разговор, кончившийся, однако, тем, что третейский суд был назначен на следующий день в шесть часов вечера.

Прощаясь со мной, Суворин все-таки просил меня изложить письменно все обстоятельства дела и захватить с собой как повесть, так и мою переделку «Трясина», ту самую, которую мы, по взаимному соглашению с Ге, порешили поставить на сцену вместо «Самородка».

На этом мы и расстались.

Останавливался я тогда на Пушкинской, в Пале-Рояле.

Нечего говорить, что я провел бессонную ночь, соображая те объяснения, которые мне предстояло излагать суду. Самым главным аргументом в свою пользу я считал то обстоятельство, что Ге в свою переделку вставил одну большую сцену из нашей общей переделки «Трясина», которой не было ни в повести, ни в его первоначальной версии «Самородка».

Итак, я прометался почти всю ночь, а как только стало светать, тотчас же принялся излагать на бумаге все подробности этого дела.

Часу во втором пополудни ко мне вошел Суворин.

— Являюсь к вам с визитом,— проговорил он. Увидав на столе исписанную бумагу, он спросил:— Уж это не объяснение ли?

— Да, объяснение.

И я принялся рассказывать ему, в чем именно оно состоит.

— Ну, вот и прекрасно,— проговорил Суворин,— больше нам ничего и не требуется.— И, протягивая мне

руку, прибавил: — Итак, до свиданья... В шесть часов милости просим ко мне.

В назначенный час я опять отправился к Суворину.

Когда я был у суворинской квартиры и позвонил в звонок, по лестнице взбирался какой-то молодой человек, щегольски одетый и в цилиндре. Подойдя к той же двери, возле которой стоял я, он остановился и спросил:

— Вы звонили?

— Да, звонил.

— Вы не господин ли Салов? — спросил молодой человек, приподнимая цилиндр.

— Да.

— Очень приятно познакомиться. Гнедич.

Мы пожали друг другу руки, а в это время дверь отворилась, и мы с Гнедичем вошли в квартиру Суворина.

Он нас ожидал уже. И так как Гнедич стал ему представляться, то я и заключил, что они дотоль не были знакомы. Вскоре мы все были в кабинете. Буренин уже был там, а равно и Ге.

Все мы уселись вокруг громадного письменного стола, покрытого зеленым сукном, и я принялся читать вслух свое объяснение.

Как теперь, помню, оно было написано на трех листах почтовой бумаги большого формата. Прочитав объяснение, я прочитал и ту сцену, которая была взята из «Трясины» и которой не было в повести «Ольшанский молодой барин».

Ге не возражал ни слова, так же как Буренин и Гнедич, ибо, видимо, они были убеждены в несправедливом обвинении меня в плагиате. Буренин шутя сострил что-то, но я был до того взволнован и до того у меня разболелась голова, что я даже забыл, в чем именно заключалась острота; помню только, что все очень много смеялись ей.

Я настаивал только на том, чтобы была признана судом несправедливость обвинения меня в плагиате и чтобы пьеса «Самородок» была снята со сцены и заменена «Трясиной».

Расскажу, кстати, что мне пришлось испытать с «Дармоедкой». Первая редакция этой пьесы была такова, что герой пьесы, Фронтасьев, за разные невинные шалости был административным порядком выслан из

обеих столиц, а спустя некоторое время был прощен. Прощение это привозит ему его мать, большая барыня, постоянно проживавшая в Петербурге, княгиня Фронтасьева, и в то же время сообщает сыну, что она нашла для него в Петербурге подходящую невесту, баронессу Х... Но Фронтасьев, успевший в деревне полюбить простую девушку, наотрез отказал матери исполнить ее желание и в конце концов женится на этой девушке.

Из цензуры я получил эту пьесу с следующей надписью: «К представлению на сцене не разрешается».

Тогда я отправился в Петербург и обратился к цензору, рассматривавшему пьесу, с просьбой разъяснить мне причину, почему именно пьеса запрещена. На это цензор, во-первых, сказал мне, что фабула пьесы несколько походит на происшествие, недавно случившееся в Петербурге, а во-вторых, что неудобно упоминать про административную высылку, а в-третьих, что мать Фронтасьева — княгиня.

— А ежели я все это изменю? — спросил я цензора.

— Тогда, может быть, пьеса будет разрешена, — ответил цензор.

И вот я нанял в Петербурге номер в каких-то меблированных комнатах в доме Лихачева и принялся переделывать пьесу. Из княгини я сделал генеральшу, а высылку Фронтасьева из Петербурга приписал родной матери. Что же вышло? А то же вышло! А то, что родная мать, сослав сына в деревню, несколько лет питала к нему злобу и даже запретила ему въезд в столицы. На каком основании? И только десять-пятнадцать лет спустя простила его, приехала к нему в деревню и лично объявила ему о своем прощении. Все это, конечно, вышло неправдоподобно и фальшиво, но зато пьеса была пропущена.

А я ради этого недели две-три прожил в Петербурге.

Пьеса в первый раз шла в Москве на театре Корша [15] с г-жой Рыбчинской в заглавной роли.

Поездка в Петербург, конечно, обошлась мне недешево, и хотя пьеса вознаградила меня с избытком, но тем не менее, думается мне, что такого рода цензура не могла благотворно повлиять на достоинство моей пьесы.

Был у меня и еще один случай с цензурой, который единственно тем только кончился, что цензор сделал

надпись следующего содержания: «Драматической цензурой к представлению признано неудобным», но почему именно — об этом ни полслова.

Могу только сказать, что в пьесе нецензурного ничего нет, что пьеса эта — трехактная комедия самого невинного и веселого содержания и составляет буквальную переделку моего рассказа «Пенсионеры», напечатанного в этом году в «Русской мысли». А что всего тяжелее, так это то, что нет никакой возможности автору — приговор цензуры является безапелляционным.

Нельзя не сознаться с душевным прискорбием, что наша, так сказать, театральная литература крайне бедна. Главной причиной этого, конечно, является отсутствие талантов, а может быть, и шаблонность нашей общественной жизни. Но немалая вина падает и на существующие театральные порядки.

Для театра я писал очень мало, но все-таки писал и никак не мог примениться к требованиям театральной цензуры, так как требования ее крайне изменчивы и неуловимы: то нельзя божиться, то божись, сколько угодно; то не поминай превосходительных особ, а то и высокопревосходительство можно. Меня, например, заставили княгиню переделать в генеральшу, а смотришь — в другой пьесе свободно расхаживают по сцене и княгини, и графини.

В пьесе «Степь-матушка» имелось очень много тенденциозных фраз, особенно в устах Любомудрова, так что я и не надеялся даже, чтобы пьеса была пропущена, а оказывается, что она была разрешена безусловно, тогда как с «Дармоедкой» вышли затруднения. Я заметил одно только, что весной театральная цензура несравненно милостивее, чем зимой: начнет светить солнышко, Нева вскроется, сады покроются цветами — и цензура, словно обрадовавшись всему этому, начнет веселее смотреть на все. Не думайте, что я шучу, нет, это — правда.

Такие атмосферические изменения, однако, очень пагубно отзываются на русской драматической литературе, во-первых, потому, что обескураживают пишущую братию, а во-вторых, обесцвечивают и без того уже не особенно цветистые ее произведения.

Некоторая доля вины падает и на дирекции наших образцовых сцен, так как они слишком замкнуты и

представляют собой нечто в роде заколдованного круга, попасть в который не особенно легко.

Так, из моих пьес там шли только две: «Гусь лапчатый» и «Самородок» (так как Ге был великий мастер пристраивать свои произведения).

А между тем «Аспид» и «Дармоедка», одобренные театрально-литературным комитетом, так туда попасть и не могли. По отношению к первой мне говорили, что пьеса будет поставлена непременно, но так как она одноактная, то надо подождать такого спектакля, к которому ее удобно было бы присоединить. А по отношению второй — уверяли, что ее нельзя поставить потому, что она прежде была играна на столичных частных театрах; между тем комедия «Денежные тузы», первоначально поставленная на театре Корша, шла потом и на обеих казенных сценах точно так же, как драма Шпажинского «Кручина», которая сначала была поставлена на Пушкинском театре, а затем на Александринском.

Для меня было очень прискорбно, что мои лучшие пьесы, имевшие солидный успех как в провинции, так и в столицах — «Дармоедка» и «Аспид», остались за флагом.

После «Дармоедки» я написал пьесу «Степной богатырь». Пьеса эта была поставлена впервые в Москве у Лентовского[16] в театре «Скоморох». Пьеса понравилась Лентовскому, и я ее ему отдал с тем, однако, чтобы заглавную роль играл сам Лентовский.

— Да сыграю ли я ее? — сказал он.

— Мне думается, что вы сыграете отлично.

— Да ведь я, изволите ли видеть, в каких костюмах-то хожу...— проговорил он, указывая на свою поддевку.— Ведь я сюртуков не ношу...

(Лентовский действительно всегда ходил в поддевке.)

— Так в поддевке и играйте.

— Да, потом вот что еще: я ведь только одни керосинные роли играю — «Лесных бродяг» и т. п. (подлинные его слова).

— Я уверен, что вы будете прелестный богатырь...

На этом мы и порешили, а так как мне нужно было ехать в Тверь к сыну, то на следующий день я оставил Москву и отправился в Тверь. Прощаясь со мной, Лентовский объявил мне, что он поставит «Богатыря» в

свой бенефис, и просил непременно приехать на репетицию.

В Твери я пробыл дня три и, снова вернувшись в Москву, отправился к Лентовскому.

— Ну,— проговорил он, увидав меня,— пьесу вашу я ставлю в свой бенефис, но роль «Богатыря» передал X... По правде сказать, боюсь провалиться.

— В таком случае возвратите мне пьесу. Я непременно хочу, чтобы «Богатыря» играли вы, а не кто другой.

Лентовский задумался, а немного погодя сказал:

— Но ведь актер X... может обидеться. Ведь у нас была уже считка.

— Чем же он обидится, коль скоро я не желаю такой перемены? Уж если ему непременно угодно обижаться, то пускай обижается на меня, а не на вас.

— Но я этой роли никак не могу сыграть...

— А я повторяю вам, что вы будете превосходный «Богатырь».

И действительно, М. В. Лентовский был превосходный «Богатырь», и роль эта сделалась его коронной ролью на всех гастролях.

У Лентовского был в то время режиссером М. В. Аграмов, режиссировавший до того в театре Корша. Это был большой мастер своего дела и великая подмога для артистов.

Да и сам Лентовский, как оказалось, был превосходным режиссером; в особенности он был великий мастер ставить народные сцены и распоряжаться народными хорами и плясками.

Четвертый акт «Богатыря» всем этим изобиловал, и я воочию убедился в мастерстве Лентовского. Народ у него действительно вышел народом, а не манекенами в зипунах и лаптях. А народные пляски прямо поразили меня своей натуральностью и той характерной простотой, которые так редко даются гг. режиссерам. Такой постановке позавидовали бы и сами мейнингенцы.

«Скоморох» не понравился мне только по своему наименованию. К чему возобновлять в памяти этих скоморохов и скоморошество, времена которых миновали и воскрешать которых не стоит того.

Неудобна в «Скоморохе» и самая сцена, на которой положительно негде повернуться с декорациями.

Как известно, «Скоморох» помещается в совершенно круглом здании, специально выстроенном для панорамы взятия Карса. И вот когда эта панорама прекратила свои действия, то на месте Карса поместился Лентовский. Большая половина этого круглого здания занимается партером, а меньшая половина — сценой; так что если опустить задний занавес, по бокам уставить кулисы, то остаются только три небольших полукруга, в которых и извольте размещаться с декорациями и уборными.

Но для громадной энергии Лентовского препятствий не существует, и, несмотря на столь важное неудобство сцены, он все-таки сумел ставить на ней не только пьесы, требующие большой обстановки, но даже феерии, и всегда обставлял таковые с замечательным эффектом. Меня поразил также и тот порядок, который царствовал у него в многочисленной и разнообразной труппе. Никаких споров и возражений у него не существовало. У него все шло как по маслу, и стоило ему только взглянуть, как все тотчас же словно понимали, что именно хотел он выразить этим взглядом.

Итак, репетиции шли у нас ежедневно, а после репетиции нас всех обыкновенно приглашала к себе завтракать г-жа Светина-Марусина, квартировавшая почти возле театра. Мария Яковлевна была очень любезная и веселая хозяйка. Она недурно играла на рояле, недурно пела и отличалась веселым и симпатичным характером. Иногда мы засиживались у нее до того, что оставались обедать, а после обеда обыкновенно шли в театр.

Был в нашей компании и Ге, приехавший зачем-то в то время в Москву, с которым у нас опять восстановились дружеские отношения.

В это же самое время гастролировал у Лентовского и Андреев-Бурлак[18], который тоже бывал в нашей компании и немало потешал нас своими рассказами и анекдотами.

С постановкой «Богатыря» мне особенно посчастливилось, так как она совпала с масленицей. Бенефис Лентовского был в воскресенье накануне масленицы. Театр, конечно, был переполнен, и так как сбор с театра простирался почти до двух тысяч, то я за первое же представление получил от Лентовского около двухсот рублей. Затем в течение масленицы «Богатырь»

ставился чуть не каждый день, а в прощальное воскресенье он был поставлен в бенефис г-жи Светиной-Марусиной.

Гонорар выдавался мне Лентовским почти ежедневно, за исключением последних трех дней, так как я не мог быть в театре, и я их получил на второй день великого поста.

На третий день поста я хотел было ехать домой в деревню, но со мной произошел следующий случай, который задержал меня в Москве на несколько дней.

Остановился я тогда в меблированных комнатах Бучумова на Дмитровке, в которых обыкновенно всегда останавливался, бывая в Москве. Пошел я как-то утром к парикмахеру на Петровку. Снег уже начинал таять, и вот, проходя по Столешникову переулку, я как-то поскользнулся и так неудачно упал, что вывихнул левую ногу. Какой-то прохожий помог мне подняться на ноги, позвал извозчика и усадил меня, а возвратясь в номера, я без помощи швейцара не мог уже добраться до своего номера.

Был приглашен доктор, г. Яковлев, бывший в то время ординатором при Склифасовском; он нашел у меня растяжение какой-то жилы и наложил повязку, запретив двигаться с места.

Тоска у меня была страшная. Спасибо еще, что в тех же номерах Бучумова в то время стояли и Ге и Андреев-Бурлак, которые каждый день приходили меня навещать.

В одно из таких посещений вошел ко мне Ге под руку с какой-то молоденькой и очень хорошенькой барынькой. На ней была накидка из белого лебяжьего пуха и такая же пуховая шапочка.

— Я к вам, — сказал Ге и, указывая на даму, прибавил: — Госпожа Абрамова.

Это была та самая Абрамова, которая впоследствии держала театр Шелапутина. Я извинился, что принимаю ее лежа, угостил их чаем, и мы незаметно провели вечер.

Г-жа Абрамова рассказала, что приехала из Симбирска, где играла в какой-то труппе, и что отчасти знакома со мной, так как недавно еще играла в моей пьесе «Аспид».

Г-жа Абрамова тоже останавливалась у Бучумова и тоже почти ежедневно навещала меня.

Позже, когда г-жа Абрамова держала Шелапутинский театр, мне пришлось познакомиться с ней короче, так как в ее театре шла в первый раз моя пьеса «Золотая рыбка».

Года два-три тому назад я узнал из газет, что г-жа Абрамова умерла. Я искренно сожалел о преждевременной кончине этой молоденькой и полной жизни женщины. Как артистка, она ничего не представляла выдающегося, но зато была крайне сердечная и симпатичная женщина.

Пролежал я с вывихнутой ногой недели две, а потом возвратился домой в деревню.

III

Литературная работа в журналах.— Жизнь в деревне.— Хозяйничанье, отношение к крестьянам и раздел имения с братом.— Болезнь жены и ее смерть.— Поездка в Москву и забота о воспитании детей.— Служба в мировом суде.— Переход на службу в Мариинский институт в Саратове.— История института; хозяйственные порядки в нем.— Выход в отставку.— Литературная деятельность и издание Куманиным моих сочинений.— Сближение с редакцией «Русской мысли».

Однако довольно о театре.

Вернемся теперь несколько назад. В «Отечественных записках» [19] писал я до прекращения их.

Кроме поименованных выше рассказов и повестей были там напечатаны «Паук», повесть «Несобравшиеся дрожжи», переименованные мной в издании Вольфа в «Разбитую жизнь», рассказ «Витушкин», «Соловьятники», «Крапивники» и другие.

С прекращением «Отечественных записок» я словно лишился пристанища и долго не знал, куда мне деваться.

Небольшой рассказ «Четыре времени года» я напечатал в «Неделе». Как вдруг получаю приглашение от А. М. Вольфа участвовать в имеющем издаваться у него журнале «Новь» [20].

Я забыл сказать, что в «Отечественных записках» я сначала получал 80 рублей за лист, затем покойный Салтыков прибавил мне, и после рассказа «Николай Суетной» я стал получать 150 рублей.

Поэтому я, согласившись участвовать в журнале «Новь», и поставил условием эту последнюю цифру.

В «Нови» были мной напечатаны: повесть «Иван Загородников» и рассказ «Отчаянный». Сверх того, в ту же редакцию были мной переданы рассказ «Медоломы» и повесть «Шурочка».

Однако я очень мало еще говорил про житье-бытье мое в деревне, свалившейся нам с неба, и про раздел тех шести тысяч десятин, которые достались на долю моего покойного отца, или, правильнее сказать, на долю его трех сыновей.

Итак, эти шесть тысяч десятин должны были разделиться на три части. Раздел этот совершился между нами без малейших недоразумений, а следовательно, и миролюбиво. Мне и брату Александру Александровичу досталась земля в количестве четырех тысяч десятин при селе Ивановке, Балашовского уезда, Саратовской губернии; на долю же наследников умершего брата Андрея — участок земли в две тысячи десятин при деревне Григорьевке, отстоящей от Ивановки верстах в двух.

Года два-три мы с братом не делились, и имение у нас состояло в общем владении.

Жили мы в Ивановке в маленьком домике [21], в котором прежде проживал управляющий Ф. А. Салова, Федор Константинович Талаев. Домик этот состоял из пяти-шести крошечных комнаток, был крыт соломой, а перед окнами его возвышались разные хлевы и сарайчики. Покойный дядя был очень скуп и не разрешал Талаеву развести около дома какого бы то ни было сада. Хлевы и сарайчики испускали летом такое зловоние, что дышать было невозможно, и наделяли нас таким количеством мух, что вспомнить страшно.

Так прожили мы одно лето. Наконец с наступлением осени решились перенести эти хлевы и сарайчики на другое место, а взамен их развести небольшой садик. Но место было до того навозное, что никакие посадки не принимались и немедленно погибали. Приходилось навоз этот выкапывать и привозить на это место свежей земли. Но, как мы ни бились, все-таки сада не добились.

Пришлось нам с братом отвести надел временнообязанным крестьянам. С этим делом нам и бывшему посреднику, Николаю Захаровичу Воронину, пришлось

повозиться немало. На грех, крестьяне выбрали такого глупого старшину, который только смущал их. Старшина этот не хотел знать ни высших наделов, ни средних, ни малых, а требовал, чтобы мы отдали крестьянам половину нашего участка и чтобы разрезали его так, чтобы на долю крестьян отошли и лес, и водяная мельница.

— Мы уж по-божьему хотим,— говорил старшина,— одну половину вам, а другую мужичкам,

И как посредник ни старался убедить крестьян, что они требуют невозможного, но они продолжали уверять, что желают по-божьему, чтобы не было обидно ни господам, ни мужичкам, причем старшина намекал на какую-то золотую грамоту, по которой вся земля будет отведена крестьянам,

— Ну, да мы этого не хотим. Мы хотим по-божьему...

Разговоры эти продолжались без конца. Посредник несколько раз приезжал и уезжал без толку. В таких разговорах прошла осень, прошла зима, и наконец только на следующую весну крестьяне порешили малый надел. Как мы с братом ни уговаривали их взять большой надел, а не малый, но крестьяне, подозревая в наших советах какой-то подвох, к советам нашим остались глухи, а золотая грамота все-таки царила в их воображении, и в ожидании ее почти большинство крестьян всей окрестности пошли на малый надел.

Мы отвели крестьянам самые лучшие земли из нашего участка, а именно — заливные луга вдоль реки Аркадака, и наконец уставная грамота была подписана и кем следует утверждена.

На второй или третий год брат, задумав жениться, пожелал разделить и землю. Раздел этот тоже был покончен без малейших затруднений. Ему приходилось строить новую усадьбу, а я с женой и детьми (у меня тогда было уже двое детей: дочь и сын) остались в старом генеральском доме, вокруг которого все еще не было ни кустика, а только были клумбы с цветами, до которых покойная жена была большая охотница.

С женой я прожил недолго — лет десять, и сделался вдовцом, когда мне не было еще и сорока лет. Смерть жены была для меня большой неожиданностью. Началось с того, что как-то весной дети заболели корью, которой заразилась от детей жена. Корь по истечении

некоторого времени прошла как у детей, так и у жены, и мы успокоились. Однако жена с тех пор начала как-то покашливать, но кашель был до того ничтожный, что ни я, ни жена не обращали на него ни малейшего внимания. Не находил в нем ничего серьезного и бывший в то время земский врач, К. К. Бегучев, который очень часто бывал у нас, во-первых, потому, что был наш хороший знакомый, а во-вторых, и потому, что жена, занимавшаяся лечением народа, часто выписывала его на консультации. Так продолжалось до рождественских праздников. Я был тогда мировым судьей, и в числе моих товарищей был некто Аполлон Федорович Кестер, кончивший курс медиком, но почему-то не практиковавший и променявший медицину на судейство. И вот, будучи в декабре месяце на съезде мировых судей в Балашове, я попросил Кестера поехать со мной в Ивановку и посмотреть жену. Он, конечно, охотно исполнил мою просьбу, и вот что он сказал мне:

— Послушайте, ведь Лидия Павловна-то плоха. Я бы советовал вам ехать с ней в Москву...

Я, конечно, испугался и немедленно повез жену в Москву и, по совету знакомых, пригласил доктора Черенова. Остановился я за Москвой-рекой в гостинице Кокорева, которая тогда была в большой славе. Черенов исследовал жену, прописал что-то, а потом, выйдя в коридор, на мой вопрос, как нашел он ее здоровье, Михаил Петрович пожал плечами и объявил мне, что она безнадежна.

Не ожидавший ничего подобного, я был поражен как громом.

— С ней чахотка,— прибавил М. П. Черенов,— и помочь ей нет никакой возможности.

Зиму мы прожили в Москве, а с наступлением весны Черенов отправил нас в деревню. В конце марта мы вернулись домой, а 30 июня 1871 года, то есть в то же лето, жена моя скончалась у меня на руках.

И вот остался я один с двумя детьми на руках.

Все мне советовали жениться, но я, беспредельно любивший жену и своих двух малюток, даже не помышлял о женитьбе.

В год смерти жены была в Москве выставка, кажется, по случаю какого-то юбилея императора Петра I. Желая хоть сколько-нибудь рассеяться после по-

стигшего меня горя, я поехал с детьми в Москву, но горя своего, конечно, не рассеял, а когда я возвратился домой, на крыльцо выбежала встречать меня не жена, как это всегда бывало прежде, а встретил меня кучер Михей. Это до того поразило меня, что глаза мои наполнились слезами, и я долго не мог опомниться... А войдя в пустой дом, упал на диван и горько зарыдал.

Пришлось нанимать разных гувернанток, а так как жена очень любила английский язык, которым превосходно владела, то я решил в память жены пригласить англичанку.

Первая гувернантка была у меня англичанка, мисс Мик, старушка лет шестидесяти, прекрасно знавшая помимо английского языка музыку и французский язык. Эта-то мисс Мик и должна была заменить детям родную мать. Она полюбила детей, полюбила меня, а я в свою очередь полюбил ее. Я, конечно, долго бы не расстался с ней, если бы нас не разлучила судьба.

Вот что случилось.

Кто-то из детей, играя, нечаянно наступил мисс Мик на ногу. Она слегка захромала, но никакого внимания на это не обращала. На следующий день хромота не проходила; не проходила она ни на второй, ни на третий день, а на четвертый день я пригласил жившего в Ивановке земского фельдшера Тюрина (или Niruit [22], как он обыкновенно подписывался, изменяя свою фамилию шиворот-навыворот). Фельдшер осмотрел ногу и, не найдя ничего серьезного, посоветовал ей прикладывать к ноге холодные компрессы. Ничего серьезного не находили и приглашенные мной земские доктора, а старушка все похрамывала да похрамывала и, некоторое время спустя, не могла даже ходить без палки. Показалась опухоль, потом краснота, и — о ужас! — дело кончилось гангреной, которая и свела в могилу вторую мать моих детей. Я похоронил ее и начал искать другую гувернантку. И вот весь век мне пришлось возиться с ними... И сколько я вынес от них мук — трудно сказать...

Соседства у нас, кроме брата Александра Александровича и Федора Константиновича Талаева, никакого не было, а потому и житье наше в деревне было не из веселых. Проходил день за днем одним и тем же порядком. По утрам я занимался в камере разбором, а после камеры проводил время в сообществе гувернан-

ток и детей. Когда дети подросли и когда приходилось сына отдавать в гимназию, я оставил судейство и переселился в Саратов.

Там я поступил на службу в Саратовский Мариинский институт на должность члена совета по хозяйственной части. Начальницей института была в то время княжна Наталья Сергеевна Горчакова, родная сестра того Горчакова, про дуэль которого я в свое время говорил. Начальница эта была очень образованная и воспитанная женщина и в то же время отличная хозяйка.

Помню, когда я впервые представлялся ей, она напомнила мне наружностью папу Пия IX: такая же сутана, как у папы, только не белая, а черная, и даже то же выражение лица, та же улыбка и тот же взгляд. Приняла она меня очень ласково, приветливо, а когда узнала, что я был чуть не свидетелем дуэли ее брата, то много расспрашивала меня по этому поводу. Я искренно полюбил ее, и как женщину, и как начальницу. Мне только не нравились в ней та сухость и строгость, с которой она обращалась с воспитанницами.

Служба в институте мне пришлась по сердцу, во-первых, потому, что в моем распоряжении было несравненно более свободного времени, а во-вторых, и потому, что, очутившись среди детей и подрастающего юного поколения, я как-то воспрянул духом и жизнерадостнее стал смотреть на божий свет. Теперь никто уже не донимал меня низкими, иногда грязными и мелкими судейскими кляузами. Мне уже не мозолили глаза эти расплодившиеся на святой Руси и, словно парши, набросившиеся на нее разные кулаки, кабатчики, тайные ростовщики, корчившие из себя каких-то святых людей, всякие эти грязные и ищущие любой грязи Живодеровы, Лещовы, Сушины, Гришаевы и эти оживодерившиеся немцы Паули, готовые из-за гроша содрать с человека шкуру, упитаться его кровью и пустить по миру всю его семью, жену и детей, эти вампиры, нещадящие никого и ничего.

Нет, поступивши в институт, я словно стряхнул с себя всю эту грязь и гадость, я попал в такую среду, в которой действительно отдохнул душой.

Прежде, бывало, придешь в камеру да как увидишь их, всех этих господ, так просто мороз по коже подерет; теперь же, как приедешь в институт, так сердце не

нарадуется. Идешь, бывало, по институтской лестнице, а навстречу бегут дети, на всем бегу вывернут, бывало, реверанс, и так все мило и приветливо улыбаются.

Этот быстрый переход от грязи судейской камеры к детской чистоте и опрятности произвел на меня сильное благотворное влияние. Я словно ожил.

Нечто подобное испытал я, проезжая из Турина в Геную: в Турине была грязь, слякоть и снег и до того свежо и холодно, что я, сидя в вагоне, должен был надеть ватное пальто; но вот поезд подлетел к Альпам, нырнул в туннель — темный и сырой, прогремел в этом туннеле минут пятьдесят и снова вылетел на свет божий... Но что за перемена! До этого грязь, слякоть, а здесь луга, усыпанные цветами, цветущие апельсиновые и лимонные деревья и воздух, пресыщенный запахом флёр д'оранжа. Я сбросил пальто, высунулся в окно вагона и не мог досыта налюбоваться этой жизнерадостной картиной, освещенной солнцем.

Такое же почти впечатление испытал я, поступая в институт после долголетней неприглядной судейской службы.

В это-то именно время были написаны мной наиболее удачные литературные произведения, напечатанные в «Отечественных записках». Одновременно я писал и в «Саратовском листке», который тогда еще назывался «Саратовским справочным листком», театральные рецензии под заглавием «Театральные наброски», под псевдонимом Аз. Наброски эти начались в виде еженедельных фельетонов. Я имел, конечно, от редакции кресло в театр, почему и посещал театр каждый день.

Утро проводил я обыкновенно в институте, а вечер в театре. В то время содержал труппу Костровский. Труппа у него была очень хорошая, и почти все артисты его труппы поступили на императорскую сцену. Так, например, при нем были Свободин, Греков, Рыбаков, Рыбчинская, Романовская и другие.

В числе институток были дочери моих старинных приятелей, как, например, дочь Ивана Николаевича Сушкова, того самого Сушкова, о котором я упоминал, описывая поездку на Кавказ. Она обладала очень приятным голосом и была дирижером в институтском хоре. Затем была Чегодаева, которая в настоящее время известна по сцене под фамилией Пасхаловой. Видевши

ее институткой, я никак не предполагал, чтобы в ней когда-нибудь могла возгореться столь сильная любовь к театру. Воспитанницу Чегодаеву я знал не только по институту, но она по праздникам довольно часто бывала в гостях у моей дочери. Кроме того, к моей дочери почти каждое воскресенье приезжали пепиньерки. Летом когда я уезжал со своей семьей в деревню, княжна Горчакова отпускала со мной на лето и некоторых более бедных воспитанниц, не имевших родных. Приезжали ко мне в деревню и некоторые классные дамы.

Словом, я в институте был вполне своим человеком, и меня называли там казенным папашей.

Саратовский институт — достоверно мне неизвестно, был ли институт построен на дворянские деньги, или только здание приобретено — возник стараниями саратовского дворянства; тем же дворянством пожертвован был на содержание этого института и воспитанниц капитал в размере трехсот тысяч, на каковой капитал приобретен государственный билет, по которому и до настоящего времени получается четыре процента, то есть денадцать тысяч в год.

При институте имеется тридцать бесплатных дворянских стипендиаток, которые избираются на уездных дворянских собраниях из недостаточных дворянских семей. Всех воспитанниц в институте полагается сто шестьдесят шесть; следовательно, платных воспитанниц сто тридцать три.

Прежде институт назывался Саратовским Институтом благородных девиц, так как в нем воспитывались исключительно дочери дворян; но когда было решено допустить туда детей других сословий, то его переименовали в Саратовский Мариинский институт.

До постройки института то же самое саратовское дворянство пожертвовало на устройство Саратовской классической гимназии пятьдесят тысяч, а в 1896 году то же дворянство воздвигло Саратовский Александровский дворянский пансион-приют; поэтому которые обвиняют саратовское дворянство в равнодушии к делу образования, жестоко клевещут на него...

На том основании, что институт возник на дворянские деньги, оно в управлении института и имеет своего представителя в лице члена совета по хозяйственной части, который избирается на эту должность саратовским дворянством, с жалованьем в размере тысячи

четырехсот рублей. Вот на эту должность я и был избран.

Я очень усердно принялся за это новое для меня дело с любовью, но вскоре мне пришлось разочароваться, так как при ближайшем ознакомлении с делом я рассмотрел его темные стороны. Дело в том, что смета утверждалась в Петербурге в так называвшемся тогда «Отделении»; она разделялась на статьи, и пополнять недостатки одной статьи из излишков другой строго воспрещалось.

Например, оказывалось, что от статьи на отопление оставалось столько-то, а в статье на продовольствие воспитанниц столько-то недоставало. Как же поступить в данном случае? И вот практиковалось это так: на покупку дров вместо четырех тысяч израсходовано только три, но остаток этот не показывался, а от дровопромышленников отбирались фальшивые счета, в которых значилось, что дров куплено не на три, а на четыре тысячи. Таким же порядком распоряжались и с остальными статьями. Такой порядок меня сразу покоробил; поэтому я предложил совету спросить у кого следует разрешения остатками одной статьи пополнять недостатки другой, причем присовокупить, что из сметной цифры мы отнюдь не будем выходить. Совет согласился на это ходатайство, но оно уважено не было, и мы решили действовать по-старому, как действовали наши отцы и деды. Так и действовали.

Бывало, купишь камлот в Ревеле на фабрике по такой-то цене, а потом и побежишь к Агафонову: дайте, мол, счет на камлот, которого я у вас ни аршина не покупал. И таким же образом — и по другим статьям. Положим, я всегда объяснял продавцам, почему именно сочиняются такие счета; положим, что продавцы всегда уверяли меня, что они вполне уверены в моей честности и хорошо понимают мое положение, но все эти уверения сопровождались такими жестами и улыбками, что наконец я стал бояться прослыть прямо вором и казнокрадом.

И вот, прослужив таким образом в институте года два-три, я счел за лучшее — бежать зла и сотворить благо, а потому с большим прискорбием переселился снова в деревню, где и был опять избран мировым судьей, то есть попал к тем самым аспидам, о которых говорил выше...

Мировым судьей я прослужил вплоть до закрытия мировых судебных учреждений и тотчас же был назначен земским начальником.

Не нравилась мне и моя бесприютность в моей литературной деятельности.

Я привык писать в «Отечественные записки», как будто сроднился с ними, привык изредка переписываться с редакцией и вдруг вместо «Отечественных записок» очутился в «Нови», с редактором которой был знаком скорее как с издателем.

По неимению, так сказать, убежища, я стал помещать свои вещи то во «Всемирной иллюстрации», то в какой-нибудь газете, а мелкие рассказы в «Саратовском листке».

Этих рассказов накопилось довольно много, так что когда покойный Федор Александрович Куманин приобрел от меня право издания моих произведений, то этих мелких рассказов накопился целый томик, который и был назван издателем «С натуры».

И вот порешил я свести знакомство с редакцией «Русской мысли». В то время редакция «Русской мысли»[23] помещалась не на Б. Никитской, а в Леонтьевском переулке. Когда я вошел в редакцию, то самого редактора, В. М. Лаврова, не было, а за письменным столом сидел бывший секретарь редакции, г. Бахметьев. Мы с ним познакомились, а потом он представил меня и находившимся в то же время в редакции М. Н. Ремезову, В. А. Гольцеву и Михайловскому-Данилевскому.

Редакция «Русской мысли» произвела на меня самое благоприятное впечатление, и я тотчас же предложил им свои услуги в качестве сотрудника. Предложение мое было принято весьма любезно, почему я на другой день и доставил в редакцию повесть «Македон и Душет».

С той самой поры я и начал исключительно помещать свои произведения в этом журнале. Только когда начал издаваться в Москве журнал «Артист» и когда покойный редактор этого журнала, Ф. А. Куманин, убедительно просил меня написать что-нибудь для этого журнала, я поместил там маленький рассказ «Старый комик», рассказ «Добрая Христина Максимовна», «Dentelles espagnoles»[24], «Ученая экспедиция» и рассказ «Злючка». Затем в том же журнале из драматических

моих произведений были напечатаны «Дармоедка», «Степной богатырь» и «Гусь лапчатый».

С Ф. А. Куманиным я был в очень хороших отношениях. Он много помогал мне в моих театральных делах и даже имел от меня доверенность на постановку моих пьес, так как я, постоянно живя в деревне, не мог лично заниматься этим делом.

Журнал «Артист» мне очень нравился; но я всегда говорил, что долго продержаться он не может, так как роскошное его издание было не по карману издателю. Сколько мне помнится, все годы своего существования «Артист», кроме убытка, ничего не давал.

Издателя, г. Новикова, я видел раза два, не больше, так как он постоянно проживал за границей и редко приезжал в Москву.

IV

В должности земского начальника.— Голодный и холерный годы.— Хлебное продовольствие населения.— Проверка приговором.— Лечение холерных больных.— Санитарные мероприятия и отношение к ним населения.— Чудесное влияние гомеопатии при холерных заболеваниях.— Истребление саранчи и борьба с кулаками.— Провинциальное ростовщичество и отражение типов хищников в моих повестях.— Апоплексический удар.

На должность земского начальника[25] попал я не в очень веселое время, а именно — как раз в голодный год, а после голодного года последовала холера. В голодный год мне буквально всю зиму приходилось разъезжать по деревням и жить в крестьянских избах, так как на земских начальников была возложена проверка крестьянских приговоров о ссуде им хлебного продовольствия.

Приедешь, бывало, в деревню, в так называемое сельское управление, соберешь в это управление домохозяев, кого-нибудь из посторонних лиц и начнешь проверять списки нуждавшихся в продовольствии. Нельзя думать, чтобы проверка эта вполне достигала своей цели. Посторонних лиц в деревне, кроме священника да какого-нибудь лавочника или кабатчика, не имеется, а потому и приходилось верить словам нуж-

давшихся в продовольствии. Священники, как успел я убедиться, по разным причинам стеснялись показывать правду, а лавочникам и кабатчикам, понятно, было выгодно поддерживать требования общества. Бывали случаи, и даже нередкие, что в списки нуждавшихся в продовольствии попадали и такие крестьяне, которые нисколько в нем не нуждались.

Во время проверки такие состоятельные крестьяне обыкновенно прятали свой хлеб куда попало, всячески стараясь опорожнить свои надворные амбары. Мне случалось находить целые воза хлеба, спрятанные на гумнах и даже в поле. В этом случае, как мне думается, много вредила общая порука. Непременно требовалось, чтобы приговоры о возврате взятой ссуды были за общей порукой всего общества. Иному и не нужна была ссуда, но так как он становился поручителем возврата, то ему, конечно, был прямой расчет взять и самому. Были даже такие случаи, что ссуду требовали и такие крестьяне, которые даже торговали хлебом.

Однако так или иначе, а все-таки всю зиму нужно было ездить из деревни в деревню и переходить из избы в избу, а ночевать либо у священника, либо у кабатчика, словом, там, где было почище и поудобнее.

В частных беседах мне не раз удавалось слышать такого сорта упреки:

— Эх, зря вы дали ссуду такому-то.

— Почему? — спросишь, бывало.

— Да ведь у него хлеба-то не токма что на зиму, а года на два хватит.

— Так почему же вы мне не заявили этого при поверке? Ведь вы же там были, рядом со мной сидели.

— Эх, ваше благородие, как говорить правду-то? Ведь мы от мужиков-то в зависимости.

Вот почему, думаю я, что все эти поверки не достигали своей цели.

Не особенно приятно было разъезжать по деревням и селам и в холерное время.

Помню я такой случай.

Приехал я в одно помещичье имение, владелец которого постоянно проживал за границей, а имением заведовал управляющий. Я остановился у управляющего. Вдруг с одного из хуторов проезжает приказчик и объявляет управляющему, что на хуторе один из рабочих захворал холерой. При имении состоял от конто-

ры врач. Послали за врачом, а когда врач начал собираться на хутор, то с ним поехал и я. Приехав на хутор, состоявший из нескольких избенок, врач пошел к больному, а я, не входя в избу, стал смотреть в нее в растворенное окно.

Больной лежал на скамье, и, видимо, с ним были судороги. Врач стащил с него сапоги, раздел его и принялся растирать.

Такая самоотверженность, по правде сказать, изумила меня. Вдруг врач отскочил от больного, стремглав выбежал из избы и, выскочив на двор, подбежал ко мне бледный как полотно.

— Ну,— проговорил он, отплевываясь,— пришел и мой конец...

— Что с вами? — спросил я его, тоже испугавшись.

— Когда я растирал больного, с ним вдруг случилась рвота и попала мне в рот,— и, увидав бочку, подбежал к ней, зачерпнул воды и принялся полоскать рот.

Холерный больной, кажется, на другой день умер, а перепугавшийся врач, благодаря бога, жив и теперь.

В моем же участке, в селе Борках, был следующий случай. Холера в этом селе была сильная, и вот в санитарном отряде была очень молоденькая фельдшерица, девушка лет 17—18, по фамилии, кажется, Иевлева. Не успела она приехать в это село, как ей пришлось ухаживать за холерным больным. Больной поправился, а фельдшерица, возвратясь в свою квартиру, заболела холерой и умерла.

Холера в деревне — не приведи бог!.. так как никаких санитарных мер почти принимать невозможно.

Положим, в ожидании холеры земские начальники вместе с врачами объезжали все волостные правления, собирали сходы, объясняли, в чем именно должны были состоять санитарные меры, выбирались из крестьян более ловкие санитары, проповедовали также и им, что лежит на их обязанности, но я испытал сам на себе, что все эти слова были гласом вопиющего в пустыне. Толпа крестьян стояла, слушала, охала, вздыхала, но ровно ничего не понимала.

Дошло до меня известие, что в деревне Каменке был с одной женщиной холерный случай и что туда отправился уже земский фельдшер. Когда я приехал в Каменку, то женщина уже умерла. От фельдшера я

узнал, что женщина эта была где-то на молотьбе, захворала там и уже была привезена домой больной.

— А вы распорядились, чтобы староста принял какие-нибудь санитарные меры?

— Точно так, распорядился. Все платье покойной велел сжечь, в избу запретил входить посторонним лицам.

Подъезжаю к старосте.

— У тебя в деревне холерный случай был? — спрашиваю.

— Так точно-с,— отвечал староста, поспешно пристегивая к зипуну знак и, видимо, весь углубившись в это занятие.

— Одежду сожгли после умершей?

— Так точно-с.

— А запретил входить в избу умершей? Смотри же, наблюди, чтобы все это было исполнено в точности.

Избушка, в которой произошел этот смертный случай, как раз стояла на берегу небольшого вонючего пруда, по плотине которого мне надо было проезжать. Едучи по этой плотине, я увидал целую толпу купавшихся в пруду ребятишек, и тут же в этом пруду какая-то баба мыла пшено. Баба эта заинтересовала меня. Я велел ямщику остановиться, вышел из своей таратайки и подошел к бабе.

— Что это ты делаешь? — спросил я ее.

— Да вот на блины, родименький, пшено мою.

А рядом с бабой вижу только что вымытое белье.

— А это что? — спрашиваю.

— Да вот, родименький, здесь покойница лежит,— проговорила она, указывая на избу умершей холерой,— так бельишко ее вымыла...

Вот вам и санитарные меры.

Только что вымыли белье, в котором умерла холерная больная, и тут же в этой воде моется пшено для блинов на поминки, а кругом по всему пруду превесело купаются дети.

Была у меня в этот холерный год и маленькая служебная неприятность.

В одну помещичью экономию, ввиду ожидавшейся холеры, был приглашен от экономии врач. Об этом управляющий экономией дал знать окрестным деревням, разослав по ним нечто вроде циркуляра, которым приглашал всех имеющих надобность во врачеб-

ной помощи обращаться к приглашенному врачу, каковая помощь и будет оказываться врачом бесплатно. Сельские писари, конечно, прочли этот циркуляр и приобщили его к другим бумагам, а две деревни совершенно отказались от врачебной помощи, о чем и уведомили управляющего. По-видимому, в этой самой обыкновенной деревенской истории ничего даже не было похожего на какое-то возмущение, так как заставить больного помимо его воли лечиться нельзя; но все это дошло до начальства, и от меня истребовали официального объяснения, поставив мне на вид, что я не донес кому следует обо всем случившемся.

Так как село это было от меня верстах в пятидесяти, то, по правде сказать, я ничего и не слыхал об этом мнимом бунте. Получив бумагу, я тотчас же поскакал в это село. В селе было волостное правление. Призываю старшину.

— Какие у тебя здесь беспорядки случились? — спрашиваю.

Тот глаза вытаращил и обратился к волостному писарю.

— Какие у нас, Иван Евсеич, беспорядки случились?

Писарь тоже, видимо, недоумевал.

— Кажется, все славу богу,— бормотал он.

— Так вот, я вам сейчас расскажу,— начал я,— такие-то и такие-то деревни отказались лечиться у экономического врача.

Только тут старшина понял, в чем дело.

— Это точно-с,— проговорил он.— Лечиться отказались... А насчет этой самой дезинфекции они с большим удовольствием, сколько угодно-с.

И затем подробно рассказал мне то, о чем я успел уже сказать и чего я до той поры не знал.

Я поехал к управляющему, и управляющий подтвердил мне, что от принятия каких-либо санитарных мер крестьяне не отказывались, а только высказали свое нежелание лечиться.

Вникнув в подробности этого дела, я обиделся сделанным мне неосновательным замечанием и поехал объясняться с начальством. Начальство встретило меня довольно сухо и высказало мне свое неудовольствие по поводу умолчания о таком важном инциденте, случившемся у меня в участке, и затем добавило, что,

вероятно, я очень редко бываю в нем. Я объяснил начальству настоящую суть инцидента этого и прибавил, что ничего важного в нем не усматриваю, так как насильно лечиться никого заставить нельзя, а от санитарных предосторожностей крестьяне даже не думали отказываться. Но, будучи возмущен несправедливым замечанием, пошел дальше и начал говорить, что, в сущности, нельзя и требовать от земского начальника, чтобы он мог предупреждать какие бы то ни было холерные беспорядки, когда у него являются помощниками исключительно одни полупьяные старшины да пьяные старосты. А кстати, привел и беспорядки, бывшие в самом городе Саратове.

— В Саратове, говорю, имеется организованная полиция и войска, да и то были холерные беспорядки. Как же требовать от земского начальника, лишенного всего этого, каких бы то ни было предупреждений?

Заговорив о холерном годе, не могу не вспомнить с удовольствием о своем хорошем знакомом, А. А. Рахманинове.

Это старик моих лет, образованный, веселый, энергичный и приятный собеседник. Когда-то служил он мировым судьей Козловского уезда Тамбовской губернии со дня открытия судебных учреждений до дня их закрытия. Г. Рахманинов — человек семейный, имеет несколько сыновей, находящихся на службе, двух дочерей, живших при нем, и жену.

В описываемое время он жил в моем участке Ново-Покровской волости, на хуторе Александровском. Отправляясь в село Ново-Покровское для судебных разборов, я всегда заезжал к Рахманиновым, проводил там вечер, ночевал, а утром, часов в семь, отправлялся в Ново-Покровское, которое отстояло от хутора верстах в четырех-пяти.

Принимали меня в семье Рахманиновых как своего человека. Барышни были хорошие музыкантши, и вот бесконечные зимние вечера пролетали незаметно в занятиях музыкой и пением. Сам Рахманинов был большой поклонник гомеопатии и лечил народ, которого стекалось к нему значительное количество.

Однажды я был свидетелем следующего случая.

Приехал я как-то на хутор осенью, когда холера была в самом разгаре.

На хуторе шла молотьба на паровой молотилке. На-

роду рабочего была масса. Мы с Рахманиновым пошли на гумно, и вдруг один из приказчиков объявляет, что на гумне неблагополучно и что один из крестьян-работников заболел холерой. Нам указали этого рабочего. Несчастный валялся на соломе, корчился от судорог и весь почернел.

Рахманинов сбегал домой и через несколько минут возвратился с пузырьком в руке. Он накапал пять капель на кусочек сахара и дал его съесть больному, объявив, что через четверть часа он даст больному еще такой же прием, и распорядился, чтобы он не работал.

Мы подошли к паровику, а пятнадцать минут спустя Рахманинов вернулся к больному и дал ему новый прием лекарства, а после третьего приема мы пошли прогуляться по саду.

Проходили мы с ним с час времени; наконец возвратились снова на гумно, и вдруг я вижу, что больной таскает уже солому.

— Я тебе велел лежать,— проговорил Рахманинов, обращаясь к больному.

— Да я теперь ничего, Александр Аркадьевич,— проговорил, весело раскланявшись, рабочий.— Кубыть и не хворал!

Потом я был свидетелем и другого подобного же излечения. Только на этот раз заболел холерой ямщик, везший меня из деревни Львовки в село Ново-Покровское.

Отъезжая от станции и глядя на покачивавшегося ямщика, я подумал, что он пьян. Но когда мы выехали из деревни и когда ямщик, попросив позволения остановиться, слез кое-как с козел и с ним начался жестокий припадок холеры, я испугался и спросил, что с ним.

— Да что...— ответил ямщик, корчась и изгибаясь в дугу.— Ведь моей моченьки нет: с самого обеда крючит что-то.

Я предложил ямщику вернуться; но так как в селе Ново-Покровском имелся земский фельдшер, то он и порешил ехать в Покровское.

Отъехали еще версты две. И вдруг — тпру!.. И опять та же история.

— Не лучше ли назад вернуться? — проговорил я.— Ведь до Ново-Покровского-то верст с пятнадцать еще будет.

Но ямщик снова полез на козлы и опять поехал дальше.

— Ну, поди, не умру,— проговорил он,— доеду как-нибудь...

Но через две-три версты опять то же самое. И кончилось это тем, что ямщик до того ослаб, что не мог уже вскарабкаться на козлы.

Нечего делать, я посадил ямщика на свое место, а сам сел на козлы и погнал лошадей, чтобы поскорее добраться до Александровского хутора, мимо которого лежала моя дорога.

Приехав на хутор, я увидал на крыльце дома Рахманинова. Он даже руками развел, увидав меня на козлах, а ямщика в таратайке.

— Что это значит? — весело кричал он.

— А то и значит,— ответил я,— что я вам пациента привез.

Но вылезть из таратайки ямщик уже не мог. Крикнули кучера, который и ссадил ямщика на крыльцо. Тем временем о случившемся я рассказал Рахманинову, который тотчас же и принялся лечить больного. Я вошел в дом, а вскоре мы сидели уже всей семьей на балконе за чайным столом. Просидели мы за ним часа полтора. Встав из-за стола, я вдруг увидал своего ямщика, верхом уводившего обратно лошадей, так как я объявил, что буду ночевать на хуторе.

Я не верил глазам своим и вернул назад ямщика.

— Ты куда это собрался? — спросил я его, выйдя на крыльцо.

— Домой, ваше благородие.

— Да ведь ты болен, к фельдшеру хотел?

— Теперь, слава богу, отпустило...

Я просто диву дался.

А Рахманинов тем временем, вышедши на крыльцо, весело говорил:

— Ну что, каков я доктор? А вы все не верите в гомеопатию... Чудеса делает, батюшка! — прибавил он.

А ямщик, побрякивая колокольчиками, привязанными к дуге, перекинутой через шею лошади, поехал вприпрусочку ко дворам.

Капли эти меня заинтересовали. Оказалось, что они называются каплями д-ра Рубина, сильно пахнут камфарой и в воде не растворяются, почему их и дают на сахаре по пяти капель через каждые четверть часа, и

обыкновенно после четвертого или пятого приема боль утихает.

Я выписал себе этих капель, и мне удалось излечить ими от холеры своего человека, Семена, который и сейчас при мне состоит.

Дело это было так.

Проснувшись утром, ко мне приходит Сергеевна (тоже моя прислуга) и объявляет, что с Семеном холера и что его всю ночь корежило и рвало. Но я побоялся взять на себя ответственность за свое самостоятельное лечение и послал за земским фельдшером Сергеем Порфириевичем.

Он не замедлил явиться и, осмотрев больного, пришел ко мне.

— Что с Семеном? — спросил я его.

— Да по всем признакам холера, — отвечал он.

— Так вот лечите, — говорю.

— Да лечить-то нечем: лекарств никаких нет... А земство до сих пор не высылает.

— Так не хотите ли гомеопатическим лекарством полечить?

— Что же, давайте...

Я отдал ему капли и объяснил, какие надо давать приемы.

Фельдшер ушел в избу, где лежал Семен, а часа через полтора возвратился и объявил, что Семену легче: судороги и рвота прекратились и больной чувствует только одну слабость.

Об этом последнем случае я упомянул только потому, что ежели, и паче чаяния, кому-либо захотелось бы проверить его, то все помянутые лица живы и теперь: жив фельдшер Сергей Порфириевич, проживающий в селе Ивановке, жив Семен, крестьянин того же села, жива Сергеевна, крестьянка того же села, жив, наконец, и я.

С той поры я уверовал в гомеопатию, выписал себе аптечку, лечебник гомеопатический и принялся лечить народ. За серьезные болезни я, конечно, не брался, а лечил только лихорадки, головные боли и т. п. и именно от лихорадки вылечивал таких больных, которым не помогало лечение фельдшера. После этого я уверовал в гомеопатию до того, что, будучи уездным земским гласным, собирался было предложить собранию, хотя бы в виде пробы, выписать врача-гомеопата. Пока еще

крестьянские желудки не очень попорчены аллопатическими средствами, то гомеопатия могла бы оказать народу великую услугу. Я даже списывался по этому вопросу с правлением общества последователей гомеопатии, прося рекомендовать мне врача; но правление ответило мне, что врачей-гомеопатов так мало, что едва достает на Петербург, Москву и Киев.

По миновании холерного года земские начальники принялись за истребление саранчи, а кстати, и за преследование всевозможных кулаков, кабатчиков и тайных ростовщиков, которых налетела такая масса, что, пожалуй, наносили вреда более саранчи. Саранчу коекак мы ловили разными сетями, бреднями, сжигали ее, ну а изловить тайных ростовщиков даже и кое-как не удавалось... Они всегда грызли народ, жирели и продолжают грызть и жиреть до сих пор. Суд с ними ничего не может сделать, так как все совершается на законном основании и как будто ничего незаконного нет. Они тебе дают деньги под обеспечение какого-либо залога или под векселя, берут со своих кредиторов не жидовские, а анафемские проценты, ставят неустойки, отсрочивают платежи и переписывают векселя с добавлением и неустоек, и процентов, а в известное время набрасываются на свою жертву и поглощают ее. Следы этого поглощения в залах судов неизвестны, а те, которые могли бы взглянуть на эти жертвы и протянуть им руку помощи, брезгливо отворачиваются от них.

Помнится мне, что во время моей службы на должности земского начальника на одном из съездов, где я заседал, разбиралось дело некоего Сушина, обвиненного земским начальником в какой-то проделке по продаже хлеба в голодный год. Подробности этого дела я теперь забыл, но помню, что оно нас всех возмутило... Да, мы все возмущались, а, удалившись в совещательную комнату и порывшись в законах, кончили тем, что вынесли оправдательный приговор.

Субъекты эти немало разорили и дворян, землевладельцев, у которых, конечно, земля заложена в какомнибудь банке[26]. Для владельцев этих самыми страшными месяцами являются декабрь и июль, так как в эти месяцы обыкновенно имения неисправных плательщиков назначаются к продаже с аукциона. И вот перед наступлением этих-то страшных месяцев все эти Су-

шины, Лещовы, Паули и многие другие раскидывают свои паутины и излавливают в них нуждающихся в деньгах. Один из поименованных в таких случаях поступал следующим образом.

Давал он под громадные проценты деньги, а затем с взявшим деньги заключал, помимо этого, условие на покупку хлеба со скидкой четырех-пяти копеек с пуда, а коль скоро деньги не уплачивались своевременно или не продавался своевременно хлеб, то сверх всего этого взыскивалась неустойка. Но это, так сказать, были одни только угрозы, а в сущности дело кончалось миролюбивой сделкой, а именно: все проценты и скидки за хлеб и неустойки присоединялись к капитальной сумме и вексель переписывался. Сверх этого, бывали и такие случаи, что старый вексель почему-либо не возвращался векселедателю, а подавался ко взысканию.

В лапы таким субъектам я лично никогда не попадался, но не потому, чтобы я был особенно хороший хозяин или вел слишком уже аккуратную жизнь, а единственно потому, что постоянно находился на службе и, сверх того, имел приличный доход со своих литературных заработков. Не хочу поименовывать те редакции, которые неоднократно выручали меня в мае месяце и в декабре. Приедешь, бывало, в редакцию, покажешь ей публикацию о продаже имения, и она, бывало, выручит. Случалось так, что литературный заработок в карман ко мне даже и не попадал, а прямехонько с редакционным же рассыльным отправлялся в Московский почтамт по следующему адресу: С.-Петербург, в особый отдел Дворянского земельного банка.

Но хорошо, что у меня были, так сказать, побочные ресурсы, но представьте положение того, у кого этих побочных ресурсов не имелось,— поневоле полезешь в паутину да еще начнешь вертеться в ней в разные стороны и крутом заматываться ею. Во время моей литературной деятельности я очень часто описывал этих господ, всегда предлагавших свои услуги нуждавшимся людям. Откровенно сказать: я думал описаниями этими обратить внимание тех, которым надлежало бы принять меры для обуздания их аппетитов, но, увы, их-то именно внимания обратить мне и не удалось.

В рассказах «Голодовка», «Злючка», «Паук» и

«Мелкие сошки» я чуть не поименно называл всю эту саранчу; читатели узнавали их, даже потом величали данными мной прозвищами... и только. Но я искал не этого, а совсем другого; но мало ли что людям приходит в голову искать и не находить? Помиримся с этим.

Расскажу следующий случай, достаточно характеризующий хищников нашей местности, то есть всех этих Клещевых, Мокрушиных, Раулей Синяя Борода и т. п. По соседству со мной проживают три брата П. Года три-четыре тому назад у этих братьев П. умерла старуха-мать, оставив своим сыновьям в наследство участок земли в тысячу десятин, конечно заложенных. Братья разделились между собой, но формального раздела совершить не могли по неимению на это средств. Разделившись, каждый из братьев зажил своим домком, отдельно один от другого, и принялся за свое отдельное хозяйство. Старший, которому достался, между прочим, хутор матери, зажил на этом хуторе; средний брат выстроил себе на своем участке хуторок, а третий, женатый и семейный, жил в усадьбе своей жены, граничащей с его участком.

Как велось этими братьями хозяйство, я не знаю; знаю только, что жили они скромно, никуда из имения не отлучались и за хозяйством всегда следили лично сами. Слышал я только от них обычные жалобы в июльские и январские дни. Так прошло года два-три, как вдруг в прошлом году набросилась на них целая стая вышепоименованных хищников: посыпались в суд разные векселя, и по решению суда имение всех трех братьев, как неразделенное, было назначено к продаже и продано.

Ужас объял всех братьев. Слышались в их усадьбах вопли и стоны, а со старшим последовал удар, который и парализовал половину его тела. После этого погрома мне случилось быть у младшего из всех братьев П., и вот какую я застал у него сцену: перед ним, чуть не на коленях, заливаясь слезами, стоял молодой человек, некто А. Клещев, сын одного из тех кредиторов, по милости которых имение было продано. И вот что говорил этот молодой человек:

— Я явился к вам под влиянием угрызений совести за то дурное дело, в котором был участником и результатом которого была продажа за бесценок вашего ро-

дового имения. В сущности, братья ваши были должны моему покойному отцу четыре тысячи рублей, и только путем невозвращения оплаченных векселей и ростовщических процентов да разных неустоек сумма эта возросла до десяти с лишком тысяч. Тем не менее,— прибавил он,— покойный родитель мой, Николай Макарович Клещев, находясь на смертном одре, в присутствии жены своей и сыновей: меня и брата Ивана, завещал, что, зная семью трех братьев П. в течение с лишком двадцати лет, он не желает обидеть их, а потому в последнюю минуту своей жизни приказывает получить с них не более того, сколько они сами признают за собой долга, то есть в действительности около четырех тысяч.

Рассказывавший все это при мне неоднократно падал г. П. в ноги, просил простить его и клялся все сейчас показанное подтвердить на суде под присягой.

Итак, вот вам сознание одного из кредиторов. Но ведь это на смертном одре, а не из тех, которые до смертного одра еще не дожили и которые преспокойно здравствуют себе. Те ни за что такого раскаяния не обнаружат. Мне думается, что если бы обратить на дело гг. П. должное внимание: произвести дознание, да не так, как обыкновенно производится оно в таких случаях, а тщательно, усердно, то можно было бы докопаться до весьма интересных и поучительных деяний этих не доживших еще до смертного одра грешников. Ведь не одним только топором можно убить человека — можно с успехом сделать это и с помощью векселя.

Прослужить земским начальником мне пришлось недолго, так как 26 апреля 1895 года со мной случился апоплексический удар, парализовавший мне левую сторону тела. Случилось это очень просто.

В апреле месяце должен я был заседать на уездном съезде.

Апрельские съезды всегда отличаются массой дел: так как в марте по случаю распутицы съездов не полагается, то понятно, что к апрельскому съезду скопляется двойное количество дел. Съезды у нас начинались двадцатого числа и продолжались обыкновенно дня два-три, а апрельский всегда продолжался вдвое больше. Заседания происходили и утром и вечером. Я с особен-

ным нетерпением ждал конца этого съезда, так как вознамерился прямо из города Балашова, где съезды происходили, отправиться в Москву по некоторым своим литературным делам. Я был заранее счастлив повидаться в Москве со своими хорошими знакомыми и приятелями, и, сверх того, просто хотелось развлечься, тем более что наступало 1 мая, когда и сама Москва оживает и воскресает после продолжительной зимней спячки. Я даже предположил заранее, что 1 мая буду в Сокольниках, а затем на открытии летних загородных театров.

Наконец наступило 26 апреля, последний день заседаний. Вечернее заседание кончилось у нас часов в 7—8 вечера. Вечер был положительно превосходный, и я прямо из залы заседания отправился сперва в так называемый «Земский садик», куда собираются обыкновенно подышать чистым воздухом балашовские обыватели, пробыл в нем часа полтора, был очень весел, болтал и шутил с тамошними барынями, а часу в десятом отправился к себе на квартиру, в гостиницу Галевича.

Придя в свой номер, я позаботился нанять извозчика, который бы довез меня до вокзала железной дороги. Я распорядился этим заранее потому, что поезд из Балашова в Москву отходит очень рано, когда не всегда можно найти извозчика. Затем, наняв извозчика, я принялся укладывать свои пожитки, уложивши которые потребовал себе ужин. Чтобы читатель не подумал, что я поусердствовал за ужином — лишнее съел или выпил, я скажу, что ужин мой состоял из одного жареного карася небольшого размера и рюмки белого вина. Поужинав, я лег спать. Было 10 часов вечера. Не успел я еще путем улечься, как вдруг на соборной колокольне заколотили в набат. Я наскоро вскочил с постели, подошел к окну, растворил его и спросил у стоявших под окном извозчиков о месте пожара. Они указали мне зарево, и оказалось, что пожар происходил чуть ли не в конце города. Я опять улегся, потушив свечу, но уснуть уже не мог и чувствовал, что сердце мое словно разрывается на части. Тогда я быстро вскочил с постели, подбежал к двери номера и позвонил коридорного.

Сердце мое все так и разрывалось, а когда коридорный отворил дверь, то стоять на ногах я уже не мог, а упал к нему на шею, на которой и повис.

— Что с вами, Илья Александрович! что с вами, господи Иисусе?

Я хотел ответить, что мне дурно, но язык уже не повиновался мне, и я только мог кое-как прошамкать:

— Доктора... доктора!

Коридорный кое-как уложил меня на диван, а сам поскакал за доктором.

Тут уже я потерял сознание, и что было со мной на первых порах, я не помню...

КОММЕНТАРИИ

Илья Александрович Салов оставил весьма значительное литературное наследие, судьба которого прояснена еще далеко не полностью. В единственное Полное собрание сочинений писателя (1909 г.), задуманное как 15-томное, но остановившееся на 6-м томе, вошло лишь 52 его произведения. Между тем еще в библиографический указатель произведений И. А. Салова, составленный дореволюционным саратовским краеведом С. Д. Соколовым, включено 121 название (107 прозаических и 14 драматических произведений).

Советский исследователь творчества Салова В. П. Рожков нашел в архивах еще 11 его произведений и полагает, что этот список также нельзя считать полным, так как «после закрытия в 1884 году «Отечественных записок» писатель долго скитался по различным редакциям и издательствам, в архивах которых, по-видимому, затеряно немало его произведений» (Рожков В. П. Ранние произведения И. А. Салова.— В сб.: Вопросы истории и теории литературы, вып. 11. Челябинск, 1973, с. 37).

В советское время было опубликовано только несколько повестей и рассказов писателя в следующих изданиях: Салов И. А. Повести и рассказы. Саратов, 1956; Русские повести 70—90-х годов XIX века. М., 1957, т. 1; Салов И. А. Грачевский крокодил. М., 1984.

Эти публикации, а также тексты Полного собрания сочинений И. А. Салова 1909 года, как наиболее текстологически выверенные, и журнальные публикации воспоминаний И. А. Салова (см. соответствующий комментарий) положены в основу настоящего издания.

Соловьятники

Впервые — Отечественные записки, 1880, № 7, с. 135—168. Печатается по: Салов И. А. Повести и рассказы. Саратов, 1956, с. 165—195.

[1] Гешефт (нем.) — торговая сделка.

[2] Визави (франц.) — друг против друга.

[3] Косуля — большая лодка, 11—18 метров длиной, без палубы, грузоподъемностью 500—2000 пудов (от 8 до 32 тонн).

Составители сердечно благодарят В. Коршунова, оказавшего ценную помощь в подготовке комментариев к воспоминаниям И. А. Салова.

[4] Кобёл — здесь: высокий куст.
[5] Цитируются первые строки и последняя строфа стихотворения А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье...».
[6] «Капитан Гаттерас» — ранний роман Ж. Верна «Приключения капитана Гаттераса» (в 2-х т., 1866 г.) о путешествии к Северному полюсу.
[7] ...«защелкал, засвистал» — строка из басни И. А. Крылова «Осел и соловей».
[8] «Он запел, и каждый вспомнил Золотые дни свободы»... — отрывок из стихотворения А. Н. Майкова «Приговор (Легенда о Констанцском соборе)».

Мертвое тело

Впервые — Отечественные записки, 1859, № 7, с. 95—130. Печатается по: Салов И. А. Полн. собр. соч. Спб., т. 1, с. 29—82.

[1] Цитируется стихотворение А. В. Кольцова «Вторая песня Лихача Кудрявича».
[2] Становой — становой пристав, в России с 1837 г. полицейское должностное лицо, заведовавшее округом из нескольких волостей.
[3] Провесная — о рыбе, мясе: сушеная на солнце, вяленая.
[4] Ботвинька — уменьшительное от ботвиньи: свекольник, холодная похлебка на квасу из отварной ботвы, лука, огурцов, рыбы.
[5] Рамена́ (стар.) — плечи.
[6] Подожок — уменьшительное от подог: батог, трость.
[7] Обра́зить — обиходить, привести в порядок.
[8] Пар па́рить — пахать отдохнувшую в течение года землю (пар) под озимь.
[9] Синенькая — пятирублевая ассигнация.
[10] Рекреация (лат.) — перемена, промежуток времени между занятиями в школе.
[11] Жнитво — жатва.
[12] Кондиция — уроки учителя в частных домах.
[13] Консистория — в дореволюционной России церковное учреждение с административными и судебными функциями.
[14] Фуляровый платок — платок из фуляра, шелковой мягкой ткани полотняного переплетения.
[15] Архиерей — общее название высших православных священников (епископ, архиепископ, митрополит).
[16] Кутейник — шуточное прозвище церковников.
[17] Платить гильдию — платить пошлину за принадлежность к одному из разрядов (гильдий), на которые делилось купечество в зависимости от имущественного положения.
[18] Крупчатка — мельница для помола пшеницы.
[19] Торбан — щипковый музыкальный инструмент, родствен бандуре.
[20] Калухан — еретик, отщепенец, отступник от православия; здесь: неодобрительное по отношению к православному попу.
[21] Охулка — действие по глаголу хулить. Охулки на руки не класть, не положить — не упустить своей выгоды.

Николай Суетной

Впервые — Отечественные записки, 1881, № 10, с. 543—612. Печатается по: Салов И. А. Повести и рассказы. Саратов, 1956, с. 196—260.

[1] Как молод был, ждал лучшего... ничем или бедой. — Цитата из поэмы Н. А Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» («Пир на весь мир»). — Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем в 15-ти т. Л., 1982., т. 5, с. 191.

[2] Поняться — спариться.

[3] Жерлика — удочка на щук, удилище которой втыкается в берег.

[4] Куга — водяное растение семейства осоковых, озерный камыш.

[5] Молокане — одна из сект «духовных христиан». Возникла в России во второй половине 18 в. Молокане отвергают священников, иконы, церкви, совершают моления в обычных домах. Преследовались царским правительством.

[6] Манчестер — хлопчатобумажная атласная ткань. Название употреблялось также по отношению к бархату.

[7] Панагия — нагрудный знак с украшением у православных епископов, носимый на цепи.

[8] Ротонда — длинная женская накидка без рукавов.

[9] Конник — ящик-лавка для сидения и сна с подъемной крышкой; обычно находился у дверей в передней.

[10] Вереи — столбы, на которые навешиваются створки ворот.

[11] Кондрак — искаженное: контракт.

[12] ...слухи о предстоящей будто бы войне — речь идет о русско-турецкой войне 1877—1878 гг., в которой Россия выступила в поддержку национально-освободительной борьбы балканских народов против турецкого господства.

[13] Билетные — солдаты, временноотпускные, небессрочные.

[14] Кичка — старинный женский головной убор, род повойника, с рогами.

Умчавшиеся годы

Впервые — «Русская мысль», 1897, № 7-10.

[1] Бибиков Юрий Богданович (?—1812) — генерал-поручик, командир Кавказского корпуса.

[2] Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792—1870) — русский государственный деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, сенатор. С 1837 г.— генерал-губернатор Юго-Западных губерний. В 1852—1855 гг.— министр внутренних дел.

[3] Бибиков Илья Гаврилович (1794—1867) — виленский военный генерал-губернатор в 1850—1855 гг.

[4] Цитируется стихотворение Н. П. Огарева «Обыкновенная повесть».

[5] Сатин Николай Михайлович (1814—1873) — поэт, переводчик. Был знаком с Герценом, Огаревым, Белинским.

[6] Грёз Жан Батист (1725—1805) — французский живописец, представитель сентиментализма.

[7] Макаров Иван Кузьмич — (1822—?) — живописец-портретист, академик.

[8] Asinus et bos (лат.) — «Осел и корова».

[9] Brebis et pastor (лат.) — «Ягненок и пастух».

[10] Загоскин Михаил Николаевич (1789—1852) — писатель, исторический романист («Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», «Рославлев, или Русские в 1812 году» и др.).

[11] Тур Евгения (псевдоним, настоящее имя Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир; 1815—1892) — писательница и литературный критик. Первые произведения — повесть «Ошибка» (1849) и роман «Племянница» были одобрены А. Н. Островским, И. С. Тургеневым, А. А. Григорьевым. Автор книг для детей.

[12] Марлинский (псевдоним, настоящее имя — Бестужев Александр Александрович; 1797—1837) — писатель-романтик, литературный критик, декабрист, создатель альманаха «Полярная звезда» (1823—1825 гг.). Приговорен к 20 годам каторги, с 1829 г. — рядовой в армии на Кавказе. Убит в сражении. Романтические повести, созданные в ссылке, пользовались огромным успехом у читателей.

[13] Лейденская банка — электрический конденсатор, в котором диэлектриком, разделяющим обкладки конденсатора, является стеклянная стенка банки, а роль обкладок играет металлическая фольга, которой банка оклеена с обеих сторон.

[14] Верхняя Пешая улица.

[15] Вигель Филипп Филиппович (1786—1856) — писатель-мемуарист, автор «Записок» («Русский вестник» за 1864—1865 гг., дополнения в Приложении к «Русскому архиву», 1891—1893 гг.).

[16] ...Нынешняя медицинская знаменитость... — Григорий Александрович Захарьин (1829—1897) — врач-терапевт, основатель московской клинической школы.

[17] Первое представление «Грозы» А. Н. Островского состоялось еще до появления в печати, 16 ноября 1859 г., на сцене Московского Малого театра; 2 декабря 1859 г. — в Петербурге, на сцене Александринского театра.

[18] Цитируется фрагмент стихотворения Д. В. Давыдова «Современная песня».

[19] Ma chere (франц.) — дорогая, милая.

[20] Ч. П. — здесь «чистопородный».

[21] Этот знакомый И. А. Салова послужил одним из прототипов персонажа повести «Грачевский крокодил» отца Ивана.

[22] Опекунский совет — опекунские советы основывались для управления воспитательными домами.

[23] Цитируется фрагмент стихотворения Д. В. Давыдова «Современная песня».

[24] Квартальный — квартальный надзиратель, в России с 1782 г. до середины XIX в. должностное лицо в городской полиции, следившее за порядком в определенном квартале.

[25] Un petit pied a terre (франц.) — маленький клочок земли.

[26] Крымская кампания — Крымская война 1853—1856 гг., когда Россия вела боевые действия против Турции, Англии, Франции. Закончилась Парижским миром.

[24] Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — русский писатель, драматург. К стихам Кукольника писал музыку Глинка.

[28] Beau mond (франц.) — высший свет.

[29] Родиславский Владимир Иванович (1828—1885) — писатель, основатель и первый секретарь «Общества русских драматических писателей».

[30] Живокини — Живокини Василий Игнатьевич (1805—1874), русский актер, широко использовал традиции русского народного театра. Известен своими комедийными ролями.

[31] Самарин Иван Васильевич (1817—1885) — выдающийся русский актéр, педагог. С 1837 г.— в труппе Малого театра. Прославился в ролях Чацкого, Фамусова («Горе от ума» Грибоедова).

[32] Шумский (настоящая фамилия Чесноков) Сергей Васильевич (1820—1878) — выдающийся русский актер, педагог. С 1841 г.— в труппе Малого театра.

[33] «Téâtre contemporain» (франц.) — «Современный театр».

[34] «L'Aveugle» (франц.) — «Слепой».

[35] Максимов 1-й — Максимов Алексей Михайлович (1813—1861), русский актер, исполнял роли молодых людей в драмах, комедиях, водевилях.

[36] Самойлов Василий Васильевич (1813—1887) — драматический актер, блестящий мастер внешнего перевоплощения.

[37] Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — актер, основоположник реализма в русском сценическом искусстве, реформатор русского театра. Прославился в ролях Фамусова («Горе от ума» А. С. Грибоедова), городничего («Ревизор» Н. В. Гоголя) и др.

[38] Садовский Пров Михайлович (1818—1872) — актер, с 1839 г.— в Малом театре; родоначальник актерской династии Садовских, основатель актерской школы, связанной с творчеством А. Н. Островского.

[39] Верстовский Алексей Николаевич (1799—1862) — композитор и театральный деятель (35 лет работал в московских театрах). Автор оперы «Аскольдова могила» и др., опер-водевилей.

[40] Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881) — пианист, дирижер, музыкально-общественный деятель. Организатор Московской консерватории (1866), ее профессор и директор.

[41] Бозио Анджолина (1830—1859); Гризи Джудитта (1805—1840); Тамберлик Энрико (1820—1889); Марио Джованни (1810—1883); Кальцолари Энрико (1823—1887); Лаблаш Луиджи (1794—1858) — итальянские оперные исполнители.

[42] Кулиш Пантелей Александрович (1819—1897) — украинский писатель, историк, этнограф.

Славутинский Степан Тимофеевич — писатель, автор повестей из народного быта.

[43] Косицкая (Никулина-Косицкая) Любовь Павловна (1827—1868) — русская актриса, с 1847 г.— в Малом театре. Прославилась в пьесах А. Н. Островского.

[44] По насердкам — рассердившись.

[45] Верзилина — имеется в виду одна из дочерей генерала П. С. Верзилина: Аграфена Петровна (1822—1901) или Надежда Петровна (1826—1863).

[46] Шан-Гирей — предположительно, Шан-Гирей Екатерина Павловна, родственница М. Ю. Лермонтова со стороны матери

[47] Шамиль (1799—1871) — 3-й имам Дагестана и Чечни, руководитель борьбы кавказских горцев против политики царизма и местных феодалов. 26 августа 1859 г. взят в плен русскими войсками.

[48] Фордек — передний навес коляски или брички.

Продолжение воспоминаний

Впервые — «Исторический вестник», 1906, №10-11. Название 2-й части «Воспоминаний» дано издательством.

[1] Ермолов Алексей Петрович (1777—1861) — генерал от инфантерии. Участник войны с Францией в 1805—1807 гг.; в Отечественную войну 1812 г. — начальник штаба 1-й армии, 1813—1814 гг. — командир дивизии и корпуса. В 1816—1827 гг. — командир Кавказского корпуса и главнокомандующий в Грузии. Способствовал присоединению Кавказа к России в Кавказской войне 1817—1864 гг. Автор «Записок».

[2] Теперь село Ивановка Аркадакского района Саратовской области.

[3] Мировой судья — в России в 1864—1889, 1912—1917 гг. избиравшееся земским собранием или городской думой должностное лицо, единолично рассматривавшее дела в мировом суде (низшем звене судебной системы).

[4] «Время» — ежемесячный литературный и политический журнал. Издавался в Петербурге в 1861—1863 гг. М. М. Достоевским, фактическим редактором был Ф. М. Достоевский. Орган почвенников.

[5] Прототипом Асклипиодота Психологова в повести «Грачевский крокодил» писателю послужил крестьянин села Ивановки потомственный гражданин А. П. Филологов, сеявший смуту среди простого народа и призывавший крестьян не платить долгов за арендуемую землю.

[6] В описываемой местности протекает река Аркадак, речка Грачевка находилась приблизительно в 30 километрах от имения И. А. Салова.

[7] Шабер — сосед (обл.).

[8] Колупаевы, Разуваевы — персонажи цикла очерков М. Е. Салтыкова-Щедрина «Благонамеренные речи».

[9] Ге Иван Николаевич (1841—1893) — драматический писатель.

[10] Савина Мария Гавриловна (1854—1915) — актриса, с 1874 г. — в Александринском театре. Прославилась в пьесах Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, А. Н. Островского.

[11] Потехин Алексей Антипович (1829—1908) — писатель, автор драм, повестей, рассказов из крестьянской жизни.

[12] Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — публицист, журналист, крупный издатель, театральный деятель. Издавал в Петербурге газету «Новое время» (с 1876 г.), журнал «Исторический вестник» (с 1880 г.), сочинения русских и иностранных писателей (в т. ч. «Дешевую библиотеку»), научную литературу и другие.

[13] Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — поэт,

драматург, прозаик, публицист. В 1860-е — начало 1870 гг. сотрудничал в изданиях революционеров-демократов («Современник», «Отечественные записки»), с середины 1870-х — публицист консервативного «Нового времени».

[14] Гнедич Петр Петрович (1855—1925) — писатель, переводчик, драматург, театровед, историк искусства.

[15] Театр Корша — основан в Москве в 1882 г. театральным предпринимателем Ф. А. Коршем.

[16] Лентовский Михаил Васильевич (1843—1906) — театральный деятель, актер.

[17] En deux (лат.) — вдвоем.

[18] Андреев-Бурлак Василий Николаевич (1843—1888) — популярный актер, один из организаторов Первого товарищества русских актеров.

[19] «Отечественные записки» были закрыты специальным распоряжением правительства в 1884 году.

[20] «Новь» — иллюстрированный двухнедельный вестник по вопросам литературы, науки и искусства. Издавался в 1884—1894 гг. в Петербурге.

[21] Этот домик находился в самом конце улицы, называемой местными жителями «Семаки». Впоследствии писатель проживал в имении Петушки, расположенном в возвышенной части села.

[22] Niruit (обратное от Тюрин) — использовано для имени одного из персонажей «Грачевского крокодила», фельдшера Нирьюта.

[23] «Русская мысль» — ежемесячный научный, литературный и политический журнал, издаваемый в Москве. До 1885 г. — славянофильского направления, затем умеренно-литературной ориентации.

[24] «Dentelles espagnoles» (франц.) — «Испанские кружева».

[25] Земский начальник — в России с 1889 г. должностное лицо из дворян. Контролировал деятельность органов крестьянского общественного управления, являлся первой судебной инстанцией для крестьян.

[26] Дворянский земельный банк был основан в 1885 г., выдавал долгосрочные ссуды дворянам-землевладельцам под залог земли.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

Илья Александрович Салов

УМЧАВШИЕСЯ ГОДЫ

Рассказы
Повесть
Воспоминания

Редактор А. П. Гнутов
Художник Б. А. Лавров
Художественный редактор В. К. Бутенко
Технический редактор Л. А. Долгова
Корректор И. Д. Дудуева

ИБ № 1706. Сдано в набор 11.07.89. Подписано в печать 28.09.90. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,74. Уч.-изд. л. 20,44. Тираж 10 000. Заказ 1201. Цена 1р. 90 к. Приволжское книжное издательство. 410071, Саратов, пл. Революции, 15. Производственное объединение «Полиграфист» управления издательств, полиграфии и книжной торговли Саратовского облисполкома. 410730. Саратов, пр. Кирова, 27.

В 1991 году
Приволжским книжным издательством
будет издана книга
писателя Битюкова В. Н.
«КОЛДОВСТВО»

В книгу включены новый роман о современной жизни и рассказы. Встающая во весь рост проблема разлада между деятельностью человека, состоянием его души и природы, стремление к нравственной чистоте, которой противостоят некоторые жизненные тенденции, — вот что тревожит автора.

